РОМАН-ГАЗЕТА

№№ 23 (909) - 24 (910)
1980

ISSN 0131-6044

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

КОГДА ЖЕ МЫ ВСТРЕТИМСЯ?

ДОБРОЕ, ЧИСТОЕ, ВЕЧНОЕ...

Писателя Виктора Лихоносова открыл А. Т. Твардовский. Он напечатал его первые рассказы в журнале «Новый мир» в 1963 году (автору их было тогда 27 лет) и до последних дней следил за творчеством молодого прозаика, часто встречался с ним, радовался его литературным удачам.

Уроки Твардовского — уроки великого мастера. Для Виктора Лихоносова они были как подарок судьбы, как награда. И они — надолго, на всю жизнь...

А вначале были рассказы: «Марея», «Брянские», «Таня, Таня», «И хорошо и грустно...» Виктор Лихоносов писал самое простое, будничное, незаметное, но за его словом вставала боль за человека, огромная искренность, поэтичность. Читателя волновала в этих рассказах выразительность и сила самого ритма письма, ритма фразы, который был сродни песне — высокой, чистой, идущей из самых глубин души. В этих рассказах было много музыки русской природы, созвучной сердцу, и она вызывала к жизни такое светлое чувство, от которого человек делается лучше, чище, добрее.

А потом появились повести «Чалдонки», «Тоска-кручина», «Родные», «На долгую память». Их пронизывало сыновнее чувство к родной земле, постоянная мысль о России, о русской истории, о человеке.

Последующие повести: «Люблю тебя светло», «Осень в Тамани», «Элегия» — это повести-размышления, повести-монологи, где автор-рассказчик становится порой главным действующим лицом, прямым участником описываемых событий. Многие критики называли их поэмами, имея в виду их высокую эмоциональность, их лирико-философское начало. Проникая в прошлое России, во вчерашний день русской истории, автор пишет и сегодняшнюю жизнь своих современников, ибо без прошлого нет настоящего. Он воссоздает в этих повестях интересные судьбы и характеры, обращаясь к огромным и святым пластам русской культуры. Его влекут к себе и прекрасные дали пушкинского Тригорского, и просторы Оки возле дорогого для всех нас есенинского села Константиново, и шолоховская Вёшенка, и древние русские соборы. И над всем этим — авторский гимн человеку!..

Горький сказал однажды мудро и убежденно: «Все мы голодны любовью к человеку». Это относится в полной мере к таким писателям, как Виктор Лихоносов, являющим в своей прозе образцы человечности, возвышенности и нравственной чистоты.

Творчество большого художника часто представляет собою своеобразную жанровую лесенку: рассказ, повесть, роман. Так случилось и с Виктором Лихоносовым, новой ступенькой в творчестве которого стал роман «Когда же мы встретимся?».

Заголовок произведения глубоко символичен. Автор вложил в него свои размышления о настоящей дружбе, о любви, о призвании человека. Роман этот — не только повествование, это скорее исповедь, сказанная пронзительным, сильным голосом души, поражающим своей откровенностью и чистотой. В романе много любви, много страдания и много радости, той светлой, пронизанной солнцем радости, которая сопутствует только сильному человеку.

Главный герой романа Егор Телепнев приезжает из сибирского города вместе со своими друзьями Димкой и Никитой в Москву, чтобы поступить в театральное училище. Фортуна улыбается ему, и шаг за шагом он постигает мудрый смысл «великой и простой» книги жизни. А жизнь распахивается перед ним во всю ширь: это и студенческая аудитория, и умные книги, и Москва с ее великим прошлым и настоящим; это и первая влюбленность, а потом — вечная, неразгаданная тайна любви, с которой соприкасаются Егор и Наташа, Дмитрий и Лиля...

В романе жизнь дается в больших измерениях, протяженна во времени и пространстве, а сама история становится полноправным героем произведения. Писателя, как и раньше, волнует прежде всего сам человек как самая огромная и глубокая тайна, все самое доброе, чистое в человеке. И сердечные исповеди и признания, и тайные строки писем, которые пишут друг другу друзья—герои романа, и их встречи, их «бессонные ночи за разговорами», и взволнованное повествование самого автора — все это убеждает нас в том, что нравственные вопросы для Виктора Лихоносова превыше всего. Это сближает роман с лучшими традициями нашей классической прозы, помогает воссоздать историю души современного советского интеллигента, молодого человека из провинции, от века питавшей нашу культуру деятельными самоотверженными служителями.

Как часто недоволен своей удачно складывающейся судьбой Егорка: уже и во многих фильмах снялся, и по стране поездил, и за границей побывал, видел многое и многое пережил, но как часто хочется оставить ему свой уютный московский дом и хоть на денек-другой оказаться опять в родном Кривощекове: «где родился, там и дом...».

(Окончание на третьей полосе обложки)



№ 23 (909)
№ 24 (910)
1980



ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

КОГДА ЖЕ МЫ ВСТРЕТИМСЯ?

РОМАН

Храни свое неопасенье,
Свою неопытность лелей:
Перед тобою много дней,
Еще уловишь размышленье.

Е. А. Баратынский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧИСТЫЕ ГЛАЗА

Глава первая
КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ

1

Нет уже того дня, того далекого, самого первого дня в Москве, когда они шли к Малому театру за престарелой актрисой Рыжовой. Исчезли прежние афиши и портреты, много воды утекло. И того Егорки, того наивного Димки тоже нет.

Теперь изредка наведывался Димка к другу в Москву, и привозил его поезд на тот же Казанский вокзал в шесть утра. Так же были тесны скамейки в большом зале, висела над головами люстра, и только-только раскладывали в газетном киоске у входа книжки, открытки и журналы. Вроде бы те же люди сидели и ждали поезда десять лет. Вот сюда прибыли они когда-то втроем из Сибири: Егорка, Никита, Димка.

У стойки Димка выпивал стакан кофе, курил в уголке и неизменно вспоминал то первое летнее утро. С Казанского вокзала да с памятника Островскому возле Малого театра начиналась для них Москва.

Они четверо суток добирались к столице, ехали через Урал, мимо столба «Азия—Европа». Шумной и бойкой предстала вековая Москва, город Юрия Долгорукого и самых знаменитых людей, и будто только из них и состояла она. Примет ли она их? Надо быть очень талантливым, словно шептал кто-то Димке, чтобы выстоять и отвоевать счастье.

В двенадцать они шли в студию сдавать документы.

— Рыжова-то, а? — говорил Димка у Малого театра.— Наверно, на репетицию. И похожа! Зря мы ей письмо не отправили. Сейчас бы подошли.

— Так тебе она помнит всех. Сколько ей пишут. Да и не надо, Димок. Сами пройдем, всех увидишь.

Егорка был крепок, высок, с ладными, чуть сутуловатыми плечами, на которых тесно сидел школьный пиджачок. Волосы ручьем лились с красивой большой головы. Голубоглазый, тонкий в кости Димок казался младше, хотя почти на год опережал

друга. Да и в робости своей, в постоянном восторге перед знаменитыми был он моложе, суетливей.

— Эх, вместе бы! — говорил Димка.— Никиту-то в университет сразу возьмут. С медалью. Он, считай, уже москвич.

— И мы будем. Смотри, какая пошла. Да не туда. Вон...

— Ага.

Москва, Москва!

2

В коридоре театральной студии Лиза стояла у окна и была точно зеленое деревце. Радостное на ней светло-зеленое платье, зеленым светились ее глаза, сама неспокойна, тонка, в лице столько жизни, что друзья стали без смущения поглядывать на нее.

— Да? — толкал Димка друга.

— Очень! Подойдем?

— Документы сдадим, после.

Вертлявый смуглый студент третьего курса в ковбойке складывал бумажки в папочку, подбадривал тихих юнцов и делал вид, что все в эти дни зависит от него. Он помогал приемной комиссии и уже искал ребят подобрее, кого бы к вечеру можно было расколоть на выпивку. Звали его Владька.

— Из Сибири? — удивился он. — Такую даль ехали? Послушайте, мальчики, а если не пройдете? От нас прямая дорога в сапожники. В будку, чистить туфли. У нас по тридцать человек на место, вам не страшно?

— Нет,— сказал Егорка.

— Но учтите: за наглость не берут.

— Пройдут,— помог парень сзади, — фактура хорошая.

— Не вопи, чадо, зде,— отозвался Владька.— С хорошей фактурой пусть в кино лезут, у нас за нутро берут. Возраст, пол, отношение к воинской службе... Как относитесь к воинской службе?

— Хорошо,— сказал Димка.

— Хо! Петухи. В армию не хотите?

— Пока нет.

— Напрасно, мальчики. Там есть художественная самодеятельность, свои мастера сцены. Споете «На нем защитна гимнастерка», и офицеры заплачут, в увольнение пустят. А?

— Эта песня не для них,— сказала Лиза.

— Миледи, я вас на первом туре попрошу ее спеть. Вы, сибиряки, чудаки. Вы в валенках приехали? Без валенок не принимаем.

Он играл, баловался. Хорошо ему было баловаться: его оценили, учат народные артисты, а эти вчерашние школьники были никем.

— Ой, комики, комики. У вас нет в Москве бабушки, тетеньки, кумы? — Взгляд его был насмешлив. — Ну, я вас устрою в общежитие, к Меланье Тихоновне. Сейчас, мальчики, сейчас устрою, только потом не плачьте. Это вам не сочинение сдувать. А вообще советую вам подавать заявления во все училища. Киньте копии во мхатовское, в Институт кинематографии. Где-нибудь да пройдете. На всякий случай надо соваться везде. Станиславский когда-то прогнал Москвина, знаете? И я всюду лез. Правда, меня сразу взяли, я же актер, верно, сибиряки? Никак теперь не выгонят.

— Ха-ха!

— Мне нравится твой смех,— нарочито похвалил Владька. — Встретимся в общежитии. Отчаянней, не зажимайтесь, все мы народные. Вообще в вас что-то есть. Кыш-кыш, мальчики, до вечера в общежитии. В моей комнате будете жить, скажите, я просил.

Стало легко, и как-то незаметно они вышли с Лизой, ждали ее сначала внизу, и она не удивилась.

— Значит, вы не москвичи? — сказала она.

— А что, видно?

— Так, что-то есть непохожее. Какие у вас волосы,— взглянула она на Димку.

А у нее были глазки: чистые, светлые.

— Вы Кривощеково знаете? — спросил Егорка.

— Нет,— улыбнулась Лиза.

— Не знаете Кривощекова? На левом берегу Оби, мост Гарин-Михайловский строил. На правом берегу оперный, в драме у нас Василий Ямщиков играл.

— Василий Ямщиков, правда? Ой, какой прекрасный актер! Он у нас в Москве Егора Булычова играет.

— Вот видите,— сказал Егорка тем шутливым тоном, на который их настроил Владька. — А Кривощекова не знаете. Димка тоже вот будет греметь, за славой приехал.

Лиза посмотрела на Димку, потом на Егорку, и у одного ей нравились волосы, у другого нос, губы, глаза.

— Отдайте их мне,— сказала Лиза Димке. — Зачем они вам? Так хочется потрогать. Можно?

— Пожалуйста! — склонился Димка.

— Надо же быть таким счастливым. Вам говорили?

— Нет вроде.

— Он, знаете, скромный, — сказал Егорка. — Только от зеркала не отходит. Скоро будем его открытки покупать.

— Вы пройдете. А я уже и не рада, что связалась. Бросила первый курс Института восточных языков, дома скрываю. Так боюсь, умереть можно. Вы пройдете,— сказала она еще раз и опять взглянула на волосы Димки. Димка подумал, что она влюбилась. — Давайте поступать вместе. Что вы читаете?

— Все знакомое. Я лирическое. Димка смешное взял.

— Смешное? — удивилась Лиза. — Разве вы смешной?

— Комик! — сказал Егорка, и Димка осудил его злым взглядом.

— Он тупой, вы его не слушайте.

— Вот вы забавные. Я за вами наблюдала. Вы все время пререкались. Завидую мужчинам, они умеют дружить.

— У нас еще один друг. Никита. Но он в университет.

— Вы меня познакомите с ним?

— Опасно! Опасно, однако, Димок, да?

— Что ты, ни в коем случае. Нам конец.

Лиза не понимала, о чем они, и расширяла свои светлые глазки.

— Не-ет! — сказал Егорка. — Никиту показывать нельзя. Очень хорошо играет.

— Актер!

— Милый друг...

— Очень застенчив и туп! — сказал Димка и залился.

Лиза слушала. Был теплый день, с ней два симпатичных друга, и где-то еще один, и она понимает, что нравится, бродить бы с ними, но надо думать о поступлении, закрываться в комнате и читать вслух отрывок, то надеяться, то хныкать.

— У вас не бывает ощущения, что от этого зависит вся жизнь?

— У меня какое-то странное настроение,— признался Егорка. — Вот Димок уже весь там, а я не попаду — страдать не буду. Я в моряки хотел, это он меня сманил.

— Не задавайтесь.

— Да точно. А то давайте попадем все вместе. Этюды будем делать.

«В гости ходить, целоваться...»— продолжал он, глядя на нее.

— Я согласна, мальчики. И я буду учиться у вас лениво тянуть слова. В Сибири все так?

— Мы не замечали,— сказал Димка. — Плохо, да?

— Интересно.

— Как вас зовут? — спросил Егорка.

— Лиза. А вы Дима... А вы...

— А он Егор.

— Вот и чудесно. — Она посмотрела на обоих, сравнила. Каждому из них хотелось понравиться ей. — Чудесно. Будем поступать втроем.

3

Они поселились на Трифоновке, неподалеку от Рижского вокзала. В низенькой комнате перекошенные окна впускали тусклый свет, полы были продавлены, стены с улицы подпирались бревнами. Общежитие дотягивало последний срок. Друзья не обратили внимания на его бедность. Ведь здесь росли знаменитости, все они спали на этих койках, складывали книжки и снадобья в эти тумбочки. Димок сел на постель и притих. Кто из новых юнцов, приехавших со всех сторон, будет покорять публику, кланяться, давать интервью? Кому повезет? Стол, тумбочки, репродуктор, дорога к трамваю, вся Трифоновка, вся Москва — твои на целые четыре года! Егорка будет спать у стены, он у окна. Четыре неразлучных года, пока четыре, а потом тоже вместе. Только бы пройти по конкурсу.

Что будет завтра? Если завтра не повезет, то и вся жизнь не удастся. Димка решил, что он тайно перекрестится, когда вызовут читать отрывок, и произнесет про себя несколько слов: «Господи, помоги, спаси, не дай в обиду». Так всегда поступала в трудные минуты его мать.

С утра не хотелось ни есть, ни пить. Никита приехал в восемь из своего общежития, разбудил и уселся читать свежие газеты. Он не боялся за друзей: талантливее своих нет ведь никого на свете. Через часок они станут перед комиссией и блеснут. В кульке он привез им пяток сырых яиц.

— Выпейте натощак, чушки! — сказал Никита. — Чтобы голос звенел.

Весело бежали они к трамваю. У студии Никита отвел их в сторонку, поправил им галстуки, нахваливал. Было одиннадцать часов. На этом островке Москвы их еще никто-никто не знал.

— Вы потопали,— сказал Никита серьезно,— и я вот о чем думаю. Сегодня наступил день, который может решить все: будем мы пять лет жить вместе или нет; такие ли мы, как о себе намечтали, или нам в школе закружили головы; останемся мы, как сейчас вот стоим, или согнемся, заноем. С этого дня покатится снежный ком. Я верю в вас, чушки, не бросьте меня одного в прекрасной Москве. Так хочется быть вместе. Идите, а я пристроюсь в уголке с Мопассаном.

Он смотрел им вслед. Он воображал, как их вызовут, и Егорка понравится в героическом, Димка возьмет юмором. Они попадут.

Но едва друзья вошли в фойе, заполненное сверстниками, все показались Димке одареннее и веселее, и мгновения веры в себя, еще недавно кружившие голову дома и в поезде, забылись им. Ты пока чужой и обыкновенный, и ты должен доказать легко и свободно, что природа наградила тебя чудным даром. Но ты уже чувствуешь себя пропащим и готов повернуть назад.

Лиза их встретила радостно, заворковала, обнадеживала своей верой, взглядами, прикосновением руки. Они стали изучать поступающих. Такого разнообразия одежд, причесок, поз, жестов, характеров им будто не доводилось еще созерцать в одном месте; такую жажду проявить себя, вынуть из души сокровенное тоже не всюду заметишь. Некоторые уже немного играли, старались быть кем-то, и потому глядеть на Лизу, живую, натуральную, было отрадно. Димка подступал к двери, она часто открывалась, видна была комиссия за столом. Сидели народные артисты, самые счастливые люди, казалось. Егорку они не смущали.

— Они тоже когда-то дрожали,— сказал он. — Да подумаешь! У нас вся жизнь впереди, мы еще где только не побываем! Как эти ребята, слышишь?

Рядом болтали несколько человек, смеялись, рассказывали про себя интересное. Они поступали несколько лет подряд и знали, кто как принимает, какой отрывок звучит, какой нет, кто лучше слушает. Среди них были одержимые, или просто

упрямые, или полагавшиеся только на свою внешность. Красавицы медленно ходили по залу и на середине непременно оборачивались, любуясь собой в зеркале. Красавиц Димка тоже стыдился, хотя не был дурен. Он все смотрел, слушал, сравнивал. Кто-то снимался в детстве в кино, кого-то привел знаменитый папа... Все пугало.

Ожидание превращалось в казнь. Только через два часа вызвали Лизу.

— Ой! — взмолилась она. — Я не пойду. Мальчики, идите вместо меня.

— Иди, понравишься,— подтолкнул ее Егорка. В беспомощности она так глядела на него, что стала родной.— Главное, не подлаживайся, читай от себя, хоть плохо, но по-своему. Иди. Иди.

Димка приоткрыл дверь, чтобы подслушивать.

— «Огоньки» Короленко,— объявила Лиза. Она стояла далеко от стола и была нежно возбуждена.

— «Свойство этих ночных огней,— читала она,— приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и манить близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом,— и путь кончен... А между тем далеко!..»

«Примут»,— сказал себе Димка, и теперь самому хотелось блеснуть тоже.

— По-моему, отлично,— шептал сзади Егорка. — Слушают. Не скучно.

— Хорошо, здорово...

Когда кто-то живет в роли и захватывает твое сердце, верится, что и ты смог бы так же на его месте, нет ничего проще, чем приблизить других словом, улыбкой, душой, ты такой же талантливый, как он.

— Пропала! — выскочила Лиза. — Все перепутала! Последние слова совсем забыла.

— Тебя очень хорошо слушали,— сказал Егорка.

— Да? Поражаюсь! Я ничего не видела. Кошмар какой-то.

— Я поехал,— сказал Егорка. — Прощайте.

— Мы будем с тобой,— проводила его Лиза. — Счастливо.

— К сожалению,— подскочил и Никита,— не могу кинуть шпаргалку, но я в тебя верю, давай!

Егорка скрылся. Лиза и Димка приткнулись к щелке. Его расспрашивали. Члены комиссии вытянулись вперед, едва Егорка стал говорить. Чему-то улыбались. Славная такая актриса-старушка нетерпеливо ждала, что скажет этот мальчик еще. Глаза членов комиссии открывали Димке все секреты, и не было сомнения, что друг уже чем-то понравился. Теперь бы самому так. Ах, как он стремился туда! Строки тургеневских «Певцов» повлекли устами друга в полевые просторы Средней России, и хорошо было уже не только жить, ловить душой ее разнообразие и поэзию, но во сто крат лучше и желаннее было от потребности передавать другим неясное, смутное колдовство жизни, еще тоже неясной.

«Хорошо,— шептал Димка, зажигаясь чужим успехом,— сейчас я...»

Но минуты эти были последними счастливыми минутами Димки в Москве.

На басне, с которой он начал, никто не смеялся. Улыбался лишь Владька, старательно и нарочно, а Панин, красивый и холодный, хмуро дожидался конца.

— Достаточно,— сказал он. — Прозу.

— Сейчас прочту,— поторопился Димка. Он кашлянул. Он ничего не чувствовал, слова вылетали пустыми. Он старался изо всех сил, брал не свои интонации. Хотелось понравиться, и больше ничего. Димка понимал, что погибает, прощается с этим царством в самом начале, едва ступив на порог.

— Вы свободны,— сказал Панин.

Владька вышел за Димкой:

— Чего ж ты? Куда ты поскакал? Все слова проглотил. И зачем ты выбрал этот отрывок, он совсем не в твоем плане? Себя надо знать, чадо. Лучше, чем есть, не будешь. Они соображают.

— Разве он плохо читал? — спросила жалостно Лиза.

— Видно, что в нем что-то есть,— сказал Владька. — Но надо же выдать. Я, может, Шаляпин, Москвин, да кто об этом знает? Не лезь из кожи, актером становятся после, сейчас в тебе человек важен, натура, сырье, четыре года из тебя лепить будут актера. Ты меня убил, мальчик, я надеялся на тебя. У тебя все хорошо,— подмигнул он Егорке,— будешь поить все общежитие.

— А я? — Лиза посмотрела на Владьку умоляюще, как будто он решал все.

— Милое чадо, я рыдал, когда вы читали.

Дверь закрылась. Егорка сочувственно обнял Димку.

— Что они хоть тебе говорили?

— Ничего.

— И Теркина не читал?

— Не дали.

— Ну-у... Что ж они! Что ж они!

И Егорка и Лиза пустились искать виноватых. Поддаваясь, Димка радовался их защите, не верил комиссии, она была неправа, невнимательна, он даже стал злиться, подозрительно думать о детях знаменитостей, которым уж дадут прочитать все от начала до конца.

— Что ж это такое?—обижался Егорка на всех. Они отошли к окну. — Ты, да что там, я же тебя знаю, ты талантливее нас всех, они просто ни черта не увидели своими мудрыми очами. Но ничего, Димок. Раскроешься, ей-богу, раскроешься.

— Я попью,— сказал Димка и от стыда удалился.

— Ему в кино надо,— посоветовала Лиза. — У него очень живые глаза.

— Что глаза... У него другое есть. Он зажался, все спрятал, а я же его знаю, знаю, как он может. Ах, черт, кто бы подумал! Димок,— обратился он к другу, когда тот вернулся,— а ты попробуй прочесть кому-нибудь наедине. Вот скоро кончат, лови кого-нибудь из комиссии. Пусть Владька устроит. С тем же Паниным.

До семи часов они ждали результатов. Егорку приметила дама с «Мосфильма», записала его, сказав: «Вы нам, думаю, понадобитесь».

Наконец вышел с листами Владька. Димка в списках не значился.

Из-за Димки Лиза и Егорка не знали даже, как им радоваться, не обидеть бы.

Димка стоял бледный. Нет таланта. Кажется, стал ты убогим, никчемным. Идти никуда не хотелось. Да и куда? Он еще не верил, сопротивлялся всем существом, но маленький гномик внутри уже шептал ему: все правильно. И было, однако, обидно. Его здесь не будет, не ему радоваться. Куда делась веселая дорога через всю страну?

Все-таки хотелось испытать себя перед Паниным еще раз.

В шесть часов прощались и благодарили друг друга члены комиссии.

Высокий, уже седоватый Панин открыл свой кабинет.

Через несколько минут Димка стоял перед ним. Тонкой рукой Панин снял со стола стакан с чаем, помешал и отпил глоток.

— Слушаю.

Он наперед знал, что скажет юноша. Димка посмотрел на него и путано объяснил.

— Что ж, прочтите другое. — Панин откинулся, задерживая тонкую руку на краешке стола. — Пожалуйста,— повторил холодный Панин.

Не было сил читать смешное. Димка выжимал из себя каждое слово, и одна мысль сжигала его: понравиться, понравиться! Панин то опускал глаза, то поворачивался к окну, и Димка опять чувствовал, как погибает.

— У меня еще есть стихи.

— Нет, достаточно,— прервал Панин. — Благодарю вас.

Молчание обвиняло Димку в бездарности. Он был жалок и, странно, выпрашивал жалости к себе.

Панин встал, прошелся к окну, долго-долго смотрел вниз на людей, точно забыл о Димке, и сказал наконец, повернувшись:

— Вы видите то, что читаете? Садитесь.

— Вижу,— солгал Димка. Он видел портрет великого артиста на стене, длинные пальцы Панина, его чужой неинтересный взгляд, лимон в стакане, ощущал боязнь, тупое рвение. Он видел одно, а читал про другое, и выходила неправда, потому что ту жизнь, о которой он читал, он не мог почувствовать из-за желания угодить. Он и сейчас солгал, ложь была зацепкой, он еще надеялся, что его полюбят, и лгать почему-то было не стыдно, он просил помощи якобы ради святого дела, которому не терпелось служить.

Панин нехорошо помолчал, потом спросил о семье. Какая-то ниточка спасения протянулась к Димке, он рад был ухватиться за нее и снова готов был солгать. Все равно никто не узнает, и он даже Егорке не скажет, и Лизе тоже, и когда он вспомнил их, ему подумалось, что они бы не укорили его.

Но Панин все видел.

— Таких, как вы, много,— сказал он. — Комиссия не ошиблась. — Он сел, потрогал стакан с остывшим чаем. — Мы вас не возьмем.

У Димки стыдливо блестели глаза. Его не признавали твердо. Ужасно, когда в тебе не находят искры божьей. Он тонул совсем.

— Мне без института не жить...— сказал Димка, дрожа губами.

— Зачем вы так...— мягко успокоил его Панин и сразу подобрел глазами. — Вы еще совсем молоды. Никакой трагедии не случится, если вы займетесь другим.

— Не представляю, что теперь делать...

— Поймите, при такой же затрате сил вы в другой области, там, где вы будете самим собой, добьетесь блестящих результатов, тогда как у нас вы испортите себе жизнь. Я уже не говорю о том, что на своем месте вы будете гораздо полезнее. Ведь вы живете в обществе.

— Другого не хочу.

— Вас очень много приходит сюда,— сказал Панин сурово. — Нам потом досадно, мы принимаем, а из этого ничего настоящего не выходит.

Димка молчал. Нотации ничего приятного ему не сулили. Чем поучительнее были речи Панина, тем тошнее становилось у Димки на душе. Уж лучше бы Панин солгал на сегодня, правда отталкивала Димку, и он злился на Панина.

— Важно, чтобы вы поняли,— совсем не то, чего хотелось бы Димке, твердил Панин,— что, не обладая высокими данными, вы, однажды устроившись так-сяк, невольно будете обманывать людей... Сначала невольно, а после... Кто его знает. «Ужом проползти» — так говорят.

«Я бы голодал, жертвовал, не изменил»,— упорствовал Димка.

— Я не виноват, что тянет...

— Никто не виноват, если нет таланта,— сказал Панин. — Вы другой. Поищите. Виноваты же те, кто не имеет мужества признаться в своей слабости и лезет на место, ему не предназначенное. Ни-че-го, кроме позы, не останется. И потребности хитрить, лгать. Все время одна, одна и та же мысль: как выкрутиться, пролезть, доиграть ту роль, с которой по глупости начал свою жизнь. Это неизбежно.

Димка задумался. Умные темные глаза Панина говорили, что просить о снисхождении бесполезно, и вот странно: сердце не сдавалось.

— Не расстраивайтесь,— улыбнулся Панин и встал.— Коне-еч-но, если уж вас так тянет, попытайтесь еще, вам не запрещено. Но зачем? Всякий есть то, что он есть. Сами себя не обманывайте.

— Да я не обманываю,— сказал Димка.— Но я не знаю, куда деться.

— Найдете. Будете нужны.

Он распрямился и светло, ободряюще улыбнулся, показывая ровные белые зубы.

— Было бы только что за душой. Не падайте духом, до свидания, подумайте хорошенько. Изба-

ви вас бог обвинять в своей неудаче весь мир! До свидания, подумайте.

— Спасибо, я подумаю,— сказал Димка и вышел.

4

Вспомним же первое расставание с друзьями в те ранние годы, когда мы свято надеялись, что будем жить вместе всегда. Ничто, казалось, не разобьет нас, мы вечно будем юны в своей верности. Если жизнь оскорбит нас, то придет друг и спасет, потому что в нем больше правды. Если женщина тебя не полюбит, друг успокоит и скажет, какой любви ты достоин.

Димка уезжал. Чемодан стоял на полу.

Всего каких-то двадцать пять дней прошло. А что-то случилось. Вроде бы всем еще хватало счастья, кроме него, Димки. Самым же счастливым в его глазах был, конечно, Егорка. Успех достался ему без усилий, на Егорку поспешно обращали внимание, чем-то притягивал он и при этом сохранялся простым и забавным, как дома в Кривощекове. Тетушки с киностудии звали его на пробу в эпизоды, Лиза ворковала, Панин улыбался. А Димка уезжал непризнанный, и эта роль лишнего убивала его.

И ничегошеньки не изменилось в Москве. Расклеивали афиши с именами звезд, золотились купола Кремля, красивых глаз не убавилось. Владька попивал за чужой счет и каждый день грозился удрать в Чухлому на характерные роли. Он был на своем месте, как и дежурная на проходной в общежитии, Меланья Тихоновна, которая тоже ласково выделяла Егорку. Изменился лишь Димка, повернулась судьба его. Ничто не мило ему, появилась вдруг ревность ко всем, и отныне чувствовал он какое-то неравенство. Еще вчера они бегали в школу, и не было никакой разницы в их положении. Сегодня уже другое. Уже не просто среди людей будет устраивать Димка свои дни, но среди определенного круга, и, казалось, помельче, потускней. Мир волшебный его оттолкнул.

Чемодан стоял на полу. Димка не поддавался уговорам Егорки. Остаться в Москве значило бы каждую минуту ощущать себя неудачником. Но и домой возвращаться позорно. Там махали тебе вслед как победителю. Он тоже прощался. Уезжали навсегда, то есть не навсегда уж, но как будто бы так. И вот...

— Держаться друг друга,— говорил Никита.— Не киснуть. Главное, не засыхать, не засыхать. Что-нибудь, где-нибудь, как-нибудь, но не засыхать.

— Разливаю,— сказал Егорка.— Вы меня на грех наводите, я невинный.

Налили, посмотрели друг другу в глаза, чувство поднялось. Потом Никита взял гитару, загундел в нос, и Димка стал смеяться над ним.

И простились они весело, говорили громко. «Хорошо дружите, — сказал мужчина, прикуривая.— Молодцы». Он согрел их словами, и сожаление о разлуке уменьшилось, поверилось, что они не пропадут.

Но пора обниматься.

— Ну...— вздохнул Димка.

— Ну! — изменился лицом Егорка.— Не переживай. Ничего умного я тебе не сказал, напишу, а ты держись. Держись, Димок!

Никита сгреб друга.

— Запомни,— сказал Никита,— Наполеон спал пять часов, в Кенигсберге по Канту проверяли время. Дисциплина!

— Пока, Димок,— подступал Егорка,— пиши и приезжай. Когда встретимся?

И вагон пошел, друзья побежали. Егорка бежал до конца платформы, махал, кричал, подбадривал.

— Э-эх! — сказал он, когда пошли втроем к часам на здании Казанского.— Уехал. Уехал наш друг. Будем теперь вдвоем чай пить.

Глава вторая

ЧИСТЫЕ ГЛАЗА

1

Полетели дни, недели в Москве. Егорка не забывал друга. «Безумно интересно все! — писал он в Сибирь Димке в октябре.— Интересна Москва, а на лекциях — древность! Греки, римляне, эпоха Возрождения. Какие судьбы! Так бы и пошел за художниками без оглядки, падал бы, разбивался вдрызг, вставал и снова цеплялся за них, не жалел себя. С ума схожу на лекциях».

В общежитии у Никиты он бесконечно трещал о том же. Никита умел слушать между делом.

— И заметь, Никит,— лежал он на кровати и говорил,— у гениев все красиво, прилично. Все! Что пошловато, грязно будет у меня, у тебя — у них *красиво*, подражать хочется! Он волочится — тебе бы так. Он пьет, дерется, льстит, изменяет, черт знает что еще — не по-нашему. Какая-то грация во всем. Или так кажется?

— О мой Урбино, ты прекрасен, но на кухне кипит чайник, принеси-ка.

— Рад стараться, маэстро.

Егорка выскакивал на кухню, продолжал беседовать издалека, речь текла без запинки, так что самому было дивно, откуда это? И не думалось, что слова не всегда свои, не столь уж умны и новы.

— Рафаэлю пели о его гениальности,— вернулся он с чайником,— а он понимал, что еще не умеет писать. Жил широко, гулял, влюблялся страстно, благородно...

— Как ты!

— Если бы! Мадонны были его подругами,— мешал Егорка Никите сочинять записку знакомой.— Они вдохновляли. И умер-то в тридцать семь лет, как и Пушкин. Не надо было кровь пускать — жил бы, картин наворочал.— Егорка в сожалении молчал минуту, другую.— А на могиле написали: «Здесь покоится Рафаэль; при его жиз-

ни великая матерь сущего боялась быть побежденной, а с его смертью боялась умереть». Говорили-то как!

— Урбино, помешайте в моем стакане ложечкой.

— Практичный журналист, бережешь силы. Надо. Свидание.

— Лизу свою видишь?

— Сидит на лекциях наискосок. Страдаю.

— Ничего, художнику полезно.

— Да я там сплошь влюблен.

— У вас есть где развернуться богатырю.

— Ну! Особенно такому телку, как я. Дивные есть! Они же все артистки будущие, впечатлительные до дури, большинство пролетает уже на первом курсе. Там у нас сюжет на сюжете. А я ведь как воспитан в школе, знаешь. Мне их жалко, я спасать лезу. Дивные, говорю, есть. Одна в меня влюблена там. Стихи мне написала, а я ей одну строчку выдумал: «Лишь запах твоих перчаток остался в моей руке».

— Мга-га-а! Декадент!

— Смешно... А я-то думал, что гениально. Я ее даже и не провожал, и перчаток-то никаких не видел. Вымысел,— с иронией говорил он о себе.— Этюд на творческое воображение. Если все нормально будет, на третьем курсе отрывок с Лизой сделаем. Из «Обрыва» Гончарова, как Райский в саду Вере в любви объясняется... Роскошный кусок! Или из «Тихого Дона». Встречу бы Степана с Аксиньей сделать! Гениальный роман! Все сказано. Реву по ночам, когда читаю, в Мелехова по уши влопался. Нарядить Лизу казачкой, кухаркой... И если ума хватит доучиться, знаешь, о чем помечтать можно? Самозванца, тоже с Лизой можно сыграть сцену у фонтана. Мечтаю, Никит, одни мечты...

— Моя врожденная молчаливость мешает быть хорошим собеседником.

— Читаю и вижу, что все великие писали про меня. Я и Ахилл, и Гектор, и Андромаха.

— Мга-га-а, о да, дурочка, я верю — ты гений.

— В мемуарах, дай бог доживу, всего тебя опишу. Отомщу!

Легко им было вдвоем. Можно пускаться в любые глупости, забавляться ими. Можно жаловаться, постонать или доверчиво признаться другу, как ты влюблен.

— Как я полюбил лица, голос,— говорил Егорка.— В человеческом голосе все. У нее грудной, музыкальный. И порода в ней, стать, колорит. Вот увидишь, будет кинозвездой. Отрывок с ней поставить! Третий курс недавно показывал свои работы. Никита! Что они творили! Ты напрасно не пошел... Море всего.

— Некогда!

— По два свидания в вечер! Опишу, все опишу в мемуарах.

Тоску своего сердца он поверял любви нескольких первокурсниц. С удивительным мастерством и ловкостью венецианского интригана времен Возрождения балансировал на скользкой стезе, удерживая весь этот груз привязанностей. Какая сильная, здоровая натура!

— Вы невыносимы, Телепнев. Я очень мечтаю о чистой любви.

— Некогда?

— Терпения не хватает!

— Чу-удная! — вспомнил Егорка Лизу. У нее такие чистые глаза! Не может же она...

— Может, Егор, все может. Так ли уж она нуждается в твоей защите? С чего ты взял? А я уверен: ей хорошо! Раз ей хорошо еще где-то, что делать? Ты тоже не теряйся. Она узнала новых, всем нравится, и ей инстинктивно жаль посвящать себя одному. В таком возрасте! Она летит в огонь, и кажется, что сгореть чем скорей, тем лучше. У нее тысяча впечатлений в минуту!

— Я слушаю, давай дальше.

— Мы вот в турпоходе были, с ночевкой. Выпивки мало, но воздух на озере, куда мы дошли, молодость и глаза пьянили сильнее. Литературщина, да, прости, пожалуйста! Прощаешь?

— Конечно! Я слабохарактерный, не спрашивай!

Никита засмеялся.

— Ну вот... Уже просто? Вот. К ночи сели в домишке, устроили маленький пир. Возле меня сидел идеал, мы пели песни, правильнее будет сказать — орали. Было весело. Не хватало, между прочим, тебя. В половине двенадцатого в домишке погас свет. И тут в темноте, когда поднялся вой, потом стали петь частушки, хохотать, мы нашли руки друг друга, с обоюдным согласием сцепили их, и я не знаю, что слаще: последнее наслаждение или это первое, обещающее, внезапное признание, выделение тебя из толпы, желание с тобой разделить тайну. Красиво?

— Ну дак!

— Но это правда, правда! — перевернулся Никита на бок, свис с койки, поближе к Егорке.— Затмение в глазах.

— Ага,— поддакивал Егорка.

— Потом мы пошли по лесу. Она ушла раньше, я ей успел за столом шепнуть. Со мной был парень, хороший, ему ничего не нужно было. Мы пошли к роднику, я был веселый, глаза у меня нехорошо блестели, было темно, темно. Присели. Парень тут же уснул. Во сне ему,— потом рассказывал,— казалось, что турпоход продолжается и он лезет к вершине Эверест. Я потянулся к моему идеалу, страсть моя находила отклик, и еще какой! Руки! Быстрые, тонкие, теплые, нежные! Еще пять минут назад не было чувства, одни грешные мысли, и вдруг возникло чувство любви. Не жалко слов, клятв, кажется, что любишь воистину, и ничего, кроме этих ласковых минут, на свете не существует и не будет. Только миг, и о том, что за ним последует, невозможно думать. Ну, я, конечно, читал достаточно книг, чтобы знать, что говорить и как и куда приятнее целовать...

— Всегда был грешен у нас, всегда.

— Но я, представь себе, не лгал.

— Ну конечно, Никита, ты говорил правду, кто же сомневается.

— И вот... гляжу в ее глаза. Тревожные. Счастливые. Безотказные и молящие... И они меня образумили. Жалко. Ночь пролетела. Утро. Как быстро! Мы так и просидели. Парень все взбирался на Эверест, а мы замерзли. Я ее укутал, тоже, между прочим, приятная обязанность! Она меня поблагодарила поцелуем за нравственное поведение, и мы пошли назад. Но оттого, что мы были у бездны, мы сроднились в то утро. И все. Потом я узнал, что она тогда поругалась с парнем, которого любит. Вот тебе женщина.

— Пойду. «Ой-ё-ей! — взял Егорка гитару и запел.— А ты замки на дверь накладывал, ой-ё-ей, а ты наряды мои рвал, ой-ё-ей, а я, такая... да-да-дая, ой-ё-ей, а меня милый подбирал!» Позвонить хочется. Пойду. Прощай, до субботы.

Вечерняя Москва наполнялась людьми. Егорка спешил в общежитие. Он шел, сокращая дорогу, меж тихих подъездов и желтых окон. Иногда улочка внезапно рвалась, и перед глазами, подобно странной горе, вставало высотное здание с длинными окнами.

У входа в метро были заняты телефонные будки. Кто-то кому-то звонил, у кого-то есть тайна. Мелькали девичьи лица.

У Ботанического сада он захотел позвонить Лизе. «Звони, приходи в гости»,— вспомнил он ее тоскливо-ласковые слова. «Проводи меня, Егорка. Я тебе что-то скажу». И ничего не говорила.

Одно удовольствие было слушать ее по телефону. Она умела лопотать о простом и скучном до того легко и медово, будто пела, а в трубке ее голос становился совсем интимным, родным, дразнившим сердце Егорки, и казалось, что она совсем рядом и любит его. Он часто думал, откуда у нее такая власть обыкновенной речи, этой самой-самой простенькой болтовни, которую бы слушал часами.

«Ах, это ты, это ты, Егорка? — начинала она обычно по телефону.— Ну какой ты молодец! Позвонил. Слышу и почти... вижу. А я только что искупалась и стою, знаешь, такая растрепанно-лохматая. И чувствовала, что кто-нибудь позвонит. Умница. Это ты? А это я. Вот...— Пауза эта его с ума сводила.— Ужасно красивый у тебя голос, ты, наверное, выспался, побрит, идешь на свидание. Нет? Опиши, как ты одет, так же, как в студии утром? Та же фуражка? Ты в ней забавный. Я ужасно давно не видела Никиту, скоро приглашу вас к себе в гости, сначала тебя, а затем вместе— хорошо?»

В последних словах всегда обещание. Всю осень так. Он шел, говорил ей что-нибудь и видел ее зачарованной своими словами. Он читал ей стихи, порой вылетала из головы одна, другая строчка, и тогда вдруг начинал ругать себя, что мало прочел книг, носит какой-нибудь томик месяцами под мышкой, колдует над каждой страницей. В тот теплый сентябрьский вечер он вспомнил «Желанье славы» Пушкина, которое кто-то выбрал на третьем туре, и они, он и Лиза, слушали, приблизив головы.

— «...Чтоб именем моим твой слух был поражен...» — появился он на пороге общежития перед дежурной Меланьей Тихоновной, осекся и крикнул: — Здрасьте! Чайком балуетесь?

Он прошел по шатким доскам пасмурного коридора, снял плащ и вернулся, полез к полочкам на стене, где лежали письма. Он каждый день ждал писем и отвечал длинно, в уединении находила на него слабость, недовольство собой.

— Егорка,— сказала дежурная,— опять ты мне поллитровочку должен. Друг твой Погодаев прислал.

— В разор меня введете. Матушка, ты одна меня любишь, да я тебе не только поллитру, ноль восемь поставлю!

— Иди-ка спать, Егорка, не встанешь. Будить?

В низенькой комнатке редко засыпали вовремя. Егорка приходил позже всех, тихо пил чай, читал в постели, писал письма или в дневник. В дневнике он обычно жаловался, писал, когда было грустно или что-нибудь поражало. Кто уже знал его, веселого и болтливого в студии, в комнате, очень бы удивился, заглянув в дневник. Он накрывал полотенцем лампу на тумбочке, ставил число и предавался анализу. «Я только восхищаюсь,— записывал он в тот вечер,— и всю жизнь буду только восхищаться другими, сам ничего не умея. Я никому не нужен, я никому ничего не могу дать, мне нечего дать, в моей помощи не нуждается и Лиза. Хотел поговорить с *ней*. Сказать ей. Так что сказать было? Мол, Лизонька, не веселись, не прыгай, а давай страдать вместе со мной? Что я, такой хороший, умный и положительный, вижу, как котами ходят вокруг нее сокурсники, раздавая блестящие каламбуры, облизываясь и потом оценивая ее меж собой? И уже кажется мне, что я напрасно, рано попал сюда и совсем-совсем не знаю жизни, скучаю по какой-то другой дороге. Ненавижу себя за слабость, за разгильдяйство, за желание какой-то чистоты, за созерцание и т. п. Через 5 месяцев мне 19 лет будет. А я еще не человек».

Потом он долго лежал и, поостыв от мечтаний, принимался за древних греков, не спал до четырех утра.

2

«В искусстве, на сцене,— учил их режиссер-педагог,— как и в жизни, главное — не переживание, не чувство, а действие!» Егорка записал слова в блокнот и поставил несколько восклицательных знаков. Знаки были выразительны, кричали, и сам он кричал ежедневно: не живу, не живу! Книги тоже упрекали его. Он приходил раза два в неделю

в Каляевскую библиотеку, брал что-нибудь античное, читал медленно и разговаривал сам с собой. Но зачастую жалко было времени и на чтение; давно угасшие страсти, чужие судьбы непременно обращали к собственной жизни, и тогда думалось, что в эти минуты все летит мимо него, у кого-то, где-то.

Десятого октября он читал трагедию Еврипида «Медея».

«Девчонка напротив меня,— увидел он и позабыл о подвигах, о Еврипиде.— Ах, какая чудная! И это она, та самая, я видел ее у вешалки. Глазищи серые, в пушистых ресницах, а сама светлая, не полная, а всего хорошо в меру, волосы волнистые, собраны сзади в узел. Нос не курносый, но и не римский, это не Медея, во всяком случае, наша, родная, русская мордочка, нос в самый-самый раз. И нижняя губка, именно губка, а не губа, маленькая, влажная, детская — не детская, но чудесная. Профиль с носом, глазищами чудесен. Ну, читай, дурак, Еврипида, век тебе не кончить. «О да не будет ошибкой сказать, что ума и искусства немного те люди явили, которые некогда гимны слагали, чтоб петь за столами на пире священном иль просто во время обеда, балуя мелодией уши счастливых...» Хорошо!.. С ней бы почитать... «Лечиться мелодией людям полезно бы было, на пире напрасны труды музыканта: уставленный яствами стол без музыки радует сердце». Смотрит, взглядами встречаемся. И не встречаемся. Так, в общем. Предложить на «Гамлета» пойти? Лампочка мешает, она для меня выключила ее. А я включил — для нее. Глупо вышло. Сейчас буду еврипидовским слогом говорить... Ну что еще тут скажешь, какое тут чтение! Чудесная! И она читает не читает. И я. Ногти светлые, не пойму — с маникюром или без. А смелости нет, не могу долго смотреть. Дурак, господи прости, телок. И прекрасно! Пусть дурак, но прекрасно все! Прекрасна природа человеческая! Прекрасно все человеческое! Ей-богу! Под влиянием девчонки и Еврипида. «Денно и нощно, не выпуская из рук, изучайте творения греков!» Гораций сказал, почти мои слова, дурак, дурак, а соображаю. Будет ли у меня когда-то в жизни счастье, небо, омут или так и умру никчемным? Пригласить ее на вечер первокурсников, а? У меня и костюма-то нет, да ладно, хочется показать девчонке курс, концерт будет, остроты будут, актеры будут! Правда, хочется доставить девчонке удовольствие — так вот, ни за что, за то, что она такая... С чего начать? Самое трудное. Легкости нет. Никитина легкость нужна для начала...»

Глаза слипались, в голове плыл туман. Последнее время он совсем мало спал. Пока он мечтал, милая девушка с пушистыми ресницами собрала книжки и ушла.

Он сдал Еврипида, вышел на улицу, ее не было. «Где я ее еще увижу? — думал он.— Сюда она может не прийти, а Москва большая». Он высмотрел кабину, достал 15 копеек, обождал, пока освободится. Звонила девушка. «Какие они разные,— думал Егорка, любуясь ее профилем,— вот ведь опять не красавица, но чудесна». Она, выбираясь, взглянула на него, в первую секунду Егорка нашел в ее глазах все, что льстило ему, но тут же наступил черед строгости, обыкновенной женской защиты. Она пошла, и один бог знает, о чем она думала. Она шла и смотрела как бы в сторону, но краешком глаза могла замечать, следят за ней или нет. Потом, переходя улицу, будто пропуская машину, она посмотрела туда, где стоял дураком Егорка и мечтал о ней. Зачем она оглядывалась, если ей все равно? Догнать? «Простите, я пойду с вами!» Нет, не то. Нужна легкость, что-то постороннее, далекое от первого чувства. А никакой легкости нет. Егорка приуныл.

«Я не мужчина»,— сказал он себе и набрал знакомый номер.

— Да...— послышался ее усталый и недовольный голос.— Что молчите? Да, я слушаю! А-ах, это ты-ы... Как чудесно, что ты позвонил, Егорка.

— Лиза! Что делаешь?

— Я сижу одна, и у меня очень скверное настроение. Стала читать «Одиссею», прочту страницу и снова возвращаюсь. А сама думаю. Вот тебе и «денно и нощно, не выпуская из рук...». Я так рада, что ты позвонил. Откуда? Ходишь по улице. Знаешь, как только о тебе подумаю, и ты звонишь...

— Я звоню редко.

— Напрасно. В моем доме хотят быть многие, но я не всем разрешаю. А для тебя двери открыты. Всегда. Ты понял?

Голос, лицо, глаза — все было очень близко.

— Как-нибудь мы посидим с тобой, хорошо? Купим бутылочку вина, у меня есть чудесные пластинки, и мы посидим, поговорим, хорошо? Что ты молчишь? Я тебе завтра утром что-то скажу, ладно? Что-то, что-то... ладно?

Но утром она ему ничего не сказала, словно забыла. Он как-то не пошел на занятия и позвонил ей часа в четыре.

— Приезжай обязательно. А в чем ты одет? Все та же фуражка? Ужасно хочу тебя видеть!

Воображение нарисовало ее невеселой, и Егорка всем сердцем спешил ее успокоить. Спасти, спасти и вытащить ее из удалой компании, где она, думалось, пропадает ни за что.

Она открыла ему дверь, протянула молча руку и провела к вешалке.

— Я одна-одинешенька,— певуче сказала она, как бы настраиваясь на что-то очень интимное, позволительное только с Егоркой.— Наши уехали в Болгарию, бабушка в Ленинграде у сестры. Можешь валяться на диване, читать журналы, включать телевизор, вот пластинки. Все три комнаты — твои. Твои, да, Егорка? Ой, ты сегодня какой хороший и волосы вымыл, да? Для меня?

Она стояла посреди комнаты на ковре, точно дразня его: вот я какая, в красных брючках, посмотри на мои ноги, вот я в быту, не наряжалась, не подводила водяные глаза, я всегда хороша, правда?

Везде царила она. Со стены, с полочки секретера смотрели на пришедшего ее глаза. На столе цветные немецкие свечи, привезенные ее отцом. Английские пластинки подарены каким-то молодым человеком. Художник, мечтавший о ней, написал ее во весь рост, она встречала лукавой улыбкой каждого, кто входил. Роскошные календари, итальянские репродукции издательства «Фрателли фабри», сердолики, агаты, яшмы с крымского побережья, тяжелые тома живописи из галереи Сукарно, стекло, уральские чашечки, находки русской старины — все поднесли ей поклонники, и думалось Егорке, что людям было приятно оставить что-то на память о себе, написать в ее изящную парижскую тетрадь, тоже кем-то подаренную, что-нибудь признательное, что-нибудь вроде: «Будь всегда со мной» и т. п.

Так вот с кем он познакомился летом! Провинциал, он-то думал, что она одинока. Нет же. У него были соперники-невидимки. Они набирали тот же номер телефона, они, наверное, в сто раз находчивее, умнее и красивее Егорки.

— Подарить тебе это фото? — спросила она, наклонясь к нему.— Я позже тебе что-то напишу. Только ты прочтешь не сразу, а когда-нибудь, хорошо?

Егорка был пленником. Она создавала ситуации, в которых ему поневоле доставалась роль пленника. Он зависел от ее глаз, голоса, слов.

— Ты голоден? — спрашивала она.

— Нет,— отвечал Егорка.

— Мне к семи часам в театр, нас в массовку поставили, а пока мы посидим, я приготовлю вкусное-вкусное и буду кормить тебя, и даже могу чокнуться с тобой. Чокнуться, но не выпью, хорошо? А потом мы выпьем по-настоящему, и у нас будет тайна... Сиди, лежи, вот тебе подушка, вот польский «Экран», греки твои любимые — Еврипид, Софокл, Аристофан,— вот шнур к телефону, если хочешь, звони Никите. А я ушла мыть волосы, мне надо быть собранной...— отступала она, убирая руку с его головы, и Егорка придержал ее.— Подожди,— мягко сказала она...— По-до-жди-и...

Никогда он не глупел при девчонках.

Наконец они сели за белый гладкий столик у окна, и было свободно, нескучно, они говорили о театре, о Рафаэле.

— Только ешь,— сказала она,— не забывай. А то умрешь, как Рафаэль: случайно. Как много она значит в жизни, случайность, да? Мы ведь тоже тогда встретились совершенно случайно. Правда? Может, мы и по конкурсу прошли случайно?

— Все может быть.

— Случайно, случайно... Может, это хорошо, Егорка? — поглядела она на него серьезно. — К лучшему? Ты не знаешь? А кто знает? Мне с тобой легко, светло и весело. Спасибо, что пришел. Только ты не сердись на меня, я знаю, что ты сердишься. Мне нельзя, но я хочу с тобой выпить. Чокнуться и выпить. Вот так...

Он поцеловал ее. Они встали, зашли в комнату, и она, позволив обнять себя, тут же освободилась, приложила ладошку к его губам, закрыла ему глаза другой.

— Я ушла... Меня нет... Меня нет... Мы разбалуемся... Ой, а хорошо как... Правда, хорошо, да? И так неожиданно. Я боюсь твоих рук. Я ушла... Меня нет... А ты сиди жди меня.

Он поцеловал ее еще, еще и еще.

— Я ушла... Меня нет.

Он тихо ступал вслед за ней и целовал много раз.

«Меня нет...» — одевалась она, избегая Егоркиных ласковых рук,— «меня нет»,— искала ключи,— «меня нет»,— поцеловала его сама и привела за палец на кухню.

— Вот,— открыла холодильник,— возьмешь, что захочешь. Ужинай. Без меня.— Он целовал ее, не пускал.— Без меня, да? А когда-нибудь со мной.— Она приложила свою ладонь к его губам.— «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». Месяц — это я, а во лбу звезда — это про тебя. И еще я люблю мальчиков с тайной. И эта тайна в тебе есть. Я ушла, у-шла-а...

Егорка смотрел на дверь.

Она позвонила из театра.

— Ты ел, Егорка? Я проверю. И если нет, то накажу тебя. На-ка-жу, понял? Ты скучаешь без меня? Возьми в столе тетрадку, напиши что-нибудь мне. Что-нибудь такое... Что-нибудь вообще. Если захочешь, можешь приятное. Я очень люблю приятное, ты хорошо говоришь, так и пиши, ты слышишь меня? Я рядом с тобой. И ты. Только не читай, что писали другие. В общем, ты чувствуешь себя удобно, да? Жалко, что без меня. Жалко, правда? Вот видишь. Я буду рядом в следующий раз. Да? Вот. Но все равно это рядом, совсем-совсем-совсем рядом, я вижу тебя возле. Я сижу в актерской комнате, у меня кончился выход, и я одна. Сказать тебе, что я делала? Нас десять человек, и мы изображаем девушек из бригады. На мне косынка, бабское платье, поясок, широкий такой, с блеском клеенки, и я кричала, когда герой-передовик сидел на бугре с любимой: «Возьми меня к себе!» Реплика, достойная остроумия всей пьесы. Видишь, какая я еще маленькая актриса и согласилась стоять за спинами маститых. Им ужасно не хочется играть в ней, пьеса бездарная, они плюются, но играть надо. А ты не пошел в массовку, потому что уже большой и серьезный, да? С гамлетовскими ногами, да? Ха-ха. Ужасно хорошо мне тебя слушать. Совсем рядом. Ты даже остришь. «Месяц под косой»,— ты запомнил? — Теперь уже и душа ее была близко.— Ты сидишь на тахте? И я тоже. Вот смотри, я сейчас кладу бутафорскую подушку, ложусь на тахту и говорю с тобой. А на тахте у меня знаешь что? На тахте книжка, и карандаш, и все такое. И уголок похож на тот, где ты сидишь, только в желтом... вот. Ты рад? И я. Только ты ешь и ложись спать, а увидимся мы с тобой утром, правда? Я обижусь, если ты не

останешься. А потом, когда ты придешь еще раз, мы с тобой немножко поозорничаем. Как правильно, поозорничать? или поозорничать? И мы по-о-зор-ни-ча-ем! А сейчас я положу трубку (ужасно неохота) и пойду на сцену, и никто меня не запомнит, потому что я буду в толпе. Я буду думать о тебе, хорошо? Напиши мне в тетрадку...»

Егорка вышел на балкон и поглядел за дома в ту сторону, где была она.

Да, он был ее пленником. Что ж, он попался как зверек в клетку? Он сидел и думал о ней. В воображении она все еще говорила ему что-то, потом стучала, бросалась от порога к нему, и... голова кружилась.

Он сидел, сидел, достал ее тетрадку и, не читая прежних посвящений, написал ей коротко: «Живи как нравится. Но...» Потом написал в Сибирь Димке, поглядел на фотографии по стенам, закрыл квартиру и пошел ночевать к Никите.

3

Так, наверное, суждено было, чтобы пришла тогда Наташа. Не странно ли: она где-то родилась, бегала маленькой, те же писала сочинения, но он ее не знал. Они могли бы и не встретиться, жить и жить в стороне до смерти, она мелькнула в библиотеке и пропала, казалось, навсегда. Разве мало на свете женщин, которые были бы первыми, с кем бы у него протекали московские дни, как и с ней, но отчего же те прошли дальней дорогой, а Наташа нет?

Наташа пришла не соперницей, она тихо и нечаянно заняла свое место среди друзей Егорки. Но Егорка не знал тогда, что одной дружбой это не кончится.

Была суббота, Никита получил стипендию и затевал пирушку. В назначенный час Егорка пришел в общежитие. Он бы пришел и так, без пирушки, с субботы на воскресенье он, по обыкновению, ночевал у друга. Никита доставал где-то матрас, бросал посреди комнаты, и Егорка, всегда в такие часы в настроении, веселил ребят до глубокой ночи. Его тут любили, он приносил всякие новости из другого мира и не ломался, был свой. Едва он толкал ногой дверь и видел тесный кружок журналистов, вечно спорívших о состоянии словесности или загибавших анекдоты, настроение мгновенно поднималось. «Егор, голубчик!» — кричали товарищи Никиты.

В тот раз Никита сидел на детском стульчике в одних трусах и бренчал на гитаре: «Луна-а... я твой... Мы двое в ночном просторе... И нежностью ночь полна, и где-то такое вое-ет: луна-а-а...» Огромным рабочим ботинком Никита отбивал такт. В ботинках он ходил разгружать бревна на товарную станцию. Возле его ног стояла миска с водой, там купалось несколько картошек. Рядом лежал «Генрих IV» Манна.

— Нахал! — сказал Никита. — С пустыми руками пришел. Он думает, что его будут даром поить за красивую игру. Дон-Жуан в нитяных перчатках, правильно говорил наш лысый директор. Хоть бы селедку принес, бесстыдник. Попьет, поест, покорит наших женщин, а потом скажет: «Я несчастен!»

По многочисленным рассказам, у пирушек этих всегда был один план, одни и те же приметы. Являются незнакомые девочки, кто приведет сам, кому-то приведут. Важно, чтобы сразу же стало весело, уютно, остроумно, поскорее хочется захмелеть, и, уж конечно, великая честь падает в этом смысле на чудесных дам. Кто-то будет особенно стараться подливать, и если дама станет вредничать, то пиши пропало. Потом начнутся танцы, кто-то нечаянно погасит свет, и раздастся недовольный ропот, и эта бесконечная волокита может тянуться часами, пока все устанут, разочаруются, и наступит неприятная тишина.

Когда комната освежилась ароматом духов, когда Егорка уже подал каждой руку, чувства излишней старательности перед девчонками, необходимости привлекать внимание он не заметил в себе, сел и, держа на коленях гитару, мурлыкал песенки.

Наташу ввел Никита позже всех. Она вошла и растерялась, все были незнакомые, и она пожалела в первую минуту, что согласилась пойти к чужим на пирушку, но Никита ее обманул, он обещал что-то не то, и она едва не повернула назад. Пальто она сняла неохотно и тут увидела Егорку. Ей все стало ясно и оттого как-то противно. Она представляла, как Егорка будет теперь подступаться, сядет рядом, будет внимательнее других и скажет много-много лишних слов, из которых ни одно не выразит того, что он будет думать на самом деле. Потом как бы случайно пригласит танцевать. Наташа надулась и стала оглядывать девчонок, искать в них порок, гадать, кто с кем пришел, но ничего такого не открыла и немножко успокоилась.

Все вышло неожиданно. Когда же Никита успел познакомиться с ней? Расторопный друг был на все руки мастер, не зря же он проповедовал энергичный западный стиль, сноровку устраивать жизнь с умом и блеском. Немножко стыдно было Егорке, никогда он не знакомился таким образом. Он сел напротив Наташи, как и в библиотеке на Каляевской. Те же глаза, серые, в пушистых ресницах, волнистые волосы с узелком сзади, и нижняя прелестная губка, яркая, без подмалевки, то же самое в ней, что и в читальном зале, когда он сидел над Еврипидом и хотел позвать на «Гамлета» или на вечер первокурсников. После третьей стопки Никита стал шептать на ухо Наташе о Егорке: «...а голос... а дикция... изумительная фамильная память, с первого раза запоминает Еврипида, Софокла и, конечно, Сафо... талант... в списке светил идет где-то седьмым за Качаловым и Рафаэлем...»

У Егорки, когда он смеялся, тряслись плечи.

— Трепло!

— Веселый парень,— косился друг в его сторону,— шутит так, что соль понимаешь на другое утро. Его беседы с великими можно, не меняя знаков препинания, перекладывать на музыку. Попробуйте.

Наташа смеялась, с Никитой ей было легче пока, но рождалось первое сближение с Егоркой, которое украдкой бережется от посторонних. Наташа и Егорка уже объяснились какими-то знаками, уже суеверно знали, что пойдут домой вместе. Егорка не мешал ему прыгать возле Наташи. Она же берегла себя уже для него, для Егорки. Когда стали разбирать плащи, Наташа повернулась, отставила руки, и Егорка накинул на ее круглые плечи легонькое пальто.

Он поехал провожать ее. Жила она на окраине, неподалеку от старинного села Коломенского. К воротам, за которыми были приказные палаты, пустые церкви, и к берегу Москвы-реки они не пошли. Но к расставанию Егорка уже верил, что уголок этот увидит вскорости, придет сюда не раз, и Наташа ему все покажет. Пройдут перед ним ее дорожки детства, скамейки, деревья и ступеньки церквей, на которых она сидела с книжкой. Время пролетит так же быстро, и будет интересно вдвоем говорить о том, что они впервые открывают для себя сами, например о концерте Рахманинова, в котором ему чудится летняя ранняя гроза, радость, сладкое предвкушение чего-то огромного, неохватного. И она, Наташа, будет кивать головой, соглашаясь. Расскажет она ему, что болтал о Егорке Никита.

Попрощались они через час.

Ночь покрывала станцию. Рельсы сверкающими полосками вытягивались в темноту, к столице, и оттуда, с навечно теперь памятного Казанского вокзала, где они стояли летним утром втроем, текли железные линии на восток, в Сибирский край. Егорка помаленьку размечтался, как всегда, долго еще разговаривал с тем, кого оставил, и наедине свободней шли слова, сначала для Наташи, потом для Димки в Сибирь. «О чем бы мы сейчас ни писали,— обращался он к другу, уже спавшему на своей улице,— мы говорим и пишем о девчонках и о себе — такой возраст, все наши выводы и мечты непрочны, субъективны, стало быть, выражают больше нас самих, чем кого-то. Еще не поймешь, любишь ли человека взаправду или мечту, навеянную им. Часто погружаюсь в голубой омут, люблю и обнимаю всех на свете, а утром просыпаюсь как с похмелья. Ношусь со своими проклятыми благородными стремлениями, кое-кто двадцатисемилетних хватает, ей никакого вреда, кроме удовольствия, и ему «для познания жизни». Но мне скотская любовь противна, Димок, и потому я чаще всего один. Лиза летит в огонь, отдаляется. А сейчас еду с окраины, из села Коломенского, где цари любили отдыхать — Алексей Михайлович, Иван Грозный,— провожал девчонку, чистые разговоры вел. Почему в юности — ты заметил? — в пору самых возвышенных снов, очень иногда хочется уничтожить в себе естественно заложенное природой, стихами, воспитанием, скрыть от посторонних, чтобы не быть смешным и жалким в глазах разудалых сверстников? Замечал за собой? А девчонка прелесть, и еще не знает, что она прелесть, и я чувствую, что готов оберегать ее, учить жизни, в которой сам ни черта не понимаю. Дурак я, господи прости. Ехал бы к нам в Москву, вместе бы каждый день все обсуждали. Неизменно обращаюсь к тебе с монологами. Ты далеко. И все далеко от меня: далеко ручка с чернилами, бумага, все. Ну, ты чувствуешь по моим письмам, как тебя недостает в Москве? Завтра воскресенье, с Никитой без тебя болтать будем... А дел много скопилось...»

Егорка стал думать о том, что предстоит ему исполнить из намеченного на целый год. Он много рассуждал и пока почти ничего не выполнил. Уйму надо было прочесть, не пропускать выставок, облазить всю Третьяковку, не раз и не два осмотреть музеи Толстого, Чехова, Достоевского, а что уж сказать про спектакли и закрытые просмотры западных фильмов — жалко пропустить! Этому проворству и собранности придется учиться у Никиты. После Наташи, которая подарила ему чудесный вечер, в мечтах стало казаться, что он все успеет. Труд, труд и труд, так думали даже самые-самые великие, а ему уж и бог велел. Но где-то он понимал, что долго-долго будет называть себя лоботрясом и каяться в дневнике за грехи свои и растрепанность. Однако! Вперед, вперед, все в твоих руках, все в тебе самом, и подталкивать себя надо надеждами. Столица великолепна разнообразием, соблазнами и средой, в которой тебе можно вырасти и раскрыться. Димка бы захлебнулся от впечатлений и работы. Уже перед общежитием он снова его вспомнил и решил, что сейчас же посреди ночи пристроится у лампы и напишет в кровати длинное послание обо всем: о сомнениях, восторгах, о Никите и, конечно же, о Наташе. Но и Лиза хоть строчку займет, подумал Егорка. А может, и гораздо больше, неизвестно, мысли приходят нечаянно, когда разогреешься и перо летит по бумаге...

Прошла неделя, другая. Она бегала к почтовому ящику, почему-то рассчитывала на письмо. Прежде чем поднять крышку и заглянуть, она уверяла себя, что ничего не ждет (если не ждать — обязательно будет). Ящик был оскорбительно пуст, и тогда она обижалась, легче было сердиться и думать, что Егорка не нравится ей, просто она впечатлительна. Но пришла суббота! С утра звучали песни о глазах, о причалах, солнечный осенний свет звал на простор, к Москве-реке, и там, меж немых церквей царского поместья Коломенского, совсем было обидно ходить одной.

Она приехала в город. В автобусе девушка читала письмо. Рассматривая ее крашеные пальчики, Наташа невольно пробежала глазами и не-

сколько строк: «Ты ему веришь, а он в Харькове был с...» Наташа отвернулась и, как ни наивна она была, стала думать о том, что случается, по рассказам, в первой любви, и вспоминала, как иногда взрослые женщины зло говорят о мужчинах. Всегда при этом думалось, что с тобой такого не будет.

В общежитие идти было стыдно, она покружила возле, почитала газеты на стендах. Ее увидел Владька. Не успела она опомниться, как уже шла с ним к ветхому корпусу. Владька проявил о ней большую заботу, тем более что Егорки в комнате не было. Дежурная Меланья Тихоновна на проходной берегла для Егорки письмо от друга. Она внимательно осмотрела Наташу и пошла на крыльцо. Егорка не являлся. Наташа загрустила и пыталась уйти из комнаты, но Владька не пускал.

— Я буду виноват перед ним,— сказал он.— Не удержал такую прелесть.

Невысокий, смуглый, тщательно выбритый и аккуратный, он держался вольно и так, будто все знал о Наташе. Наташа перестала смущаться и на все, что он говорил, отвечала то смехом, то вопросами: «Правда?» Владьке это нравилось. Она была хороша, и только она не понимала, чему Владька завидует и что о ней думает. Губки ее горели; волосы, ресницы от матери, никакой косметики. И была она живая, глупенькая из-за доверчивости, так что Владька позавидовал Егорке.

— В каком государстве он вас нашел? — спрашивал Владька.— Не в Чухломе?

— В Коломенском.

— Жалко, что я опоздал.

— Напрасно вы так думаете! — вспыхнула Наташа.

— Я ничего, Наташенька, не думаю, я рад за своего друга.

— А он мне не говорил про вас, я не знала, что вы друг,— сказала Наташа.

Владька ничуть не растерялся.

— Чадо! — сказал он.— Вы где учитесь?

— В музыкально-педагогическом.

— Тогда мы споем,— сказал он и взял гитару.

— Но у меня нет голоса.

— А мой на что? У такой девочки должен быть голос.

— Вы забавный! Вам надо в фильме сниматься.

— Пробуем. Как раз с Егоркой.

— На главную роль?

— Не-ет! — важно поморщился Владька.— Мы скромнее, мы выглядываем из-за чужой спины.

— Ужасно трудно быть актером...— пожалела Наташа.

— Ничего. Как-нибудь.

Ей было интересно, но хотелось уйти, потому что он слишком пристально глядел на нее. Ей вспомнился Егорка, и, казалось, даже этим невольным расположением к себе чужого парня она предавала его.

Владьку позвали к телефону. Наташа сидела и ждала. Подошла, сняла с Егоркиной тумбочки книжку, полистала ее. Потом открыла свою сумочку, вынула томик и сунула под подушку, на которой спал Егорка. Ей захотелось коснуться щекой подушки, взять книжку, которую он читал и подчеркивал, полистать его конспекты. Вдруг она увидела толстую тетрадку, открыла ее и узнала его почерк. Писал он понятно, мелькали свежие числа, она испугалась своего любопытства (вдруг про нее?) и заглянула в начало. Егорка вел дневник с четырнадцати лет. Эти детские невинные буквы! Что же он писал? Какой он был? С чувством, что это же Егоркино, почти ее, она прочла две страницы.

Мама достала из дивана свой дневник, который вела в пятнадцатилетнем возрасте, и читала его мне. Попробую и я. Вечером сегодня ходил в музыкальную школу и так давно не видел Валю Сурикову, что с грустью обернулся на дом, где она живет. Неожиданно она попалась мне навстречу с подружкой. Они молча приблизились, и я поздоровался, но ответа не получил. Я остановился и поглядел им вслед. Подружка обернулась, а Валя шла, не поворачивая головы. Тогда я быстро зашагал домой. Отойдя, я еще раз обернулся: Валя смотрела в мою сторону. Не знаю, что со мной случилось: я надвинул на глаза шапку и со всех ног бросился домой. Появилось какое-то неприятное сомнение. Кажется, я ничем не интересен ей.

Смотрели с Никитой в «Металлисте» кинокомедию. Вдруг перед нашим рядом я заметил Валю. Тогда мы с Никитой решили сесть на нашем же ряду, но напротив нее. Я пошел первый, запнулся и загремел. Валя обернулась, но, наверное, меня не узнала. После киножурнала включили свет. Валя снова обернулась и... вскрикнула от неожиданности. Картина рассказывала про любовь, и, когда секретарь райкома сказал герою Назару, что «если любишь, надо обязательно верить», Валя снова обернулась. Я хотел было сказать, что, наверное, так бывает только в кино, но смолчал. Когда картина кончилась, я вскочил и выбежал на улицу. Мы провожали их. Подружка отозвала меня в сторону, чтобы поговорить о чем-то, Никита пошел рядом с Валей, решив за меня выяснить... Как только мы с ними простились, я сразу же спросил Никиту, что он узнал. Он рассказал. Она сказала ему, что дружить со мной не может по какой-то причине, а сказала мне «да» только потому, что неудобно было ответить по-другому. Когда же Никита спросил, с кем она хотела бы дружить, она сказала, что с ним. И все-таки моя любовь к ней не ослабела ни на каплю, и, узнав все это, я больше уже ничего не слышал: я шел, и слезы сами собой текли из моих глаз. Тут же я решил не иметь дела ни с одной девчонкой до 20 лет, за исключением Вали, и то только тогда, если она сама предложит мне дружбу, что, пожалуй, не случится. До того тоска нашла, что ложусь спать, не выучив уроков.

«Валя Сурикова»... Кто она и где?

Вошел Владька, и Наташа встала, застегнула сумочку и попрощалась.

Вот сменилась ночь зарею,
Утра час настал златой,
Тройка мелкою рысцою
Возвращается домой... —

пел Владька, раскинув руки. — Наташенька, куда же вы? С вами так хорошо. Присядьте. Что сказать этому герою?

— Ничего,— тихо произнесла Наташа и ушла.

4

А Егорка был на даче у Василия Ямщикова. Когда Наташа уже спала, он шел по сосновой аллее, искал Лизу.

К Ямщикову они попали после концерта в подмосковном селе. За осень Лиза успела проникнуть ко многим. Владька сначала познакомил ее с дочерью Ямщикова.

Ямщиков прибаливал, но немножко выпил с молодыми. Почему-то вместо обычного среди актеров легкого разговора состоялся крикливый обмен мнениями: кто в наши дни подонок и кто праведник? Назывались имена, перебирались позиции режиссеров, писателей, директоров театров, выкапывались детали о драках литературных журналов, и постепенно Егорка выяснил, что подонок, оказывается, такой-то, а добродетельный тот-то. Он привык оценивать мастеров по их ролям и книгам, но теперь он уловил, что главным в характеристике было нечто другое, шла какая-то расстановка сил, о которой Егорка и понятия не имел. Он слушал.

Лиза судила горячо, и мало у нее было своего, чувствовалось, что вынесла она мнение откуда-то с посиделок, повторяла кого-то. «Зачем ей это? — думал Егорка. — Зачем она лезет в политику? Ей не идет. Да и что она понимает?»

Ямщиков тоже слушал. Молчание его вызывало уважение, он вроде бы знал нечто большее, чем эти милые юнцы. Он давал им высказаться.

— Вы не спешите,— сказал он наконец. — И смотрите, чтобы сами через десять — пятнадцать лет не оказались в положении людей, которых вы сейчас осуждаете.

— Общество надо лечить,— сказала Лиза, и опять слова были не ее собственные.

— Надо жить самому правильно. Надо жить так, чтобы в вас камень не бросили. Быть с теми или с этими легче всего. Тебя покроют, приголубят за угождение. Со своей собственной правдой жить труднее. А есть ли она у вас?

— Есть! — закричали.

Егорка любовался Ямщиковым. «Вот за кем бы я пошел!» — восклицал он, пока Лиза спорила и наводила порядок в родном искусстве. Что особенно покоряло Егорку, так это внимательность Ямщикова, с какою он слушал людей. Он слушал даже Лизу так, будто никогда не видал на нее похожих и будто она ему открывала в этой жизни нечто свежее. Получалось, когда глядел на их лица, что Лиза уже во всем разобралась, а Ямщиков едва народился. И если он прочел перед этим маленькую нотацию, то она не была в его устах абсолютной истиной, но только его мнением. «Вот к кому приезжать надо! — горячился Егорка. — Да не нужен я». Но Василий Ямщиков приласкал его в этот вечер. Сначала они пели с ним, Егорку выручала гитара, помаленьку смелел он, заводился, попивал винцо и начинал все любить еще острее: эти осенние сумерки, дачу, молодое веселье, даже споры, и, конечно, Ямщикова, и Лизу, конечно.

— Вот видишь,— вытащила она его на крыльцо,— ты везде свой. А кто тебя привез сюда? Скажи, кто?

— Ты,— смотрел на нее Егорка влюбленно. — Ваше величество.

— Вот видишь. И ты ко двору. «Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених», да? Я тебя познакомлю еще кое с кем. Ямщикову ты понравился.

— Он просто доброты великой,— сказал Егорка.

— А ты? — дразнила Лиза. — Ты у нас большой? Сибиряк. Сибиряк ты, Егорка, или нет?

— Пошто спрашиваешь? — дурачился Егорка. — Аль не видишь?

— Чудно. Я сейчас полечу. Как ты называешь валенки? Пимы? Пи-мы, пи-мы, пи-мы! — прыгала она. — Как смешно. А можно, я буду называть тебя Пим? Пим — глупо, смешно. Но в юности, если слишком умно, человек мертв, правда? Пим. Укуси меня за ушко. Чуть-чуть...

Он наклонился, нашел губами мочку. Лиза обняла его и так долго стояла, и это было лучше в сто раз того, что она болтала за столом, потому что там она *казалась*, а сейчас была сама собой.

— А теперь я тебя. Нет, а иначе потом. Потом, пото-ом...

— Ты качаешься.

— По мне заметно, что я выпила? Я безобразница, легкомысленная женщина, да? Ужасно приятно сейчас быть легкомысленной. С тобо-ой. И озорничать. Но мы не станем озорничать, мы потом, да? Мы с тобой умные-умные и... легкомысленные. Чуть-чуть. Только вот так,— она потянулась и укусила зубками ухо. — А ты хороший, чистый. И с тобой иногда скучно, потому что ты очень хороший. «И губы женщины поймай, ее глаза, ресницы, и руки разомкни, и выпусти, как птицу» — так у французов. Хочу с тобой в Париж. В Париж!

— А в Кривощеково не хочешь?

— Хочу!

— Лиза... Ли-иза... — потянулся он к ней, чувствуя головокружение.

Ямщиков пел у камина романс. Они стояли в темноте на ступеньках. Осенняя ночь помогала их

чувству. Она положила ему пальцы на губы. «Не спеши, Егорка...» Он ей нравился. Он видел, что нравился ей, что ей не скучно, но она шептала с улыбкой все те же в эту осень слова: «Я ушла... меня нет...»

Не пробуждай воспоминаний
Минувших дней, минувших дней —
Не возродишь былых желаний
В душе моей, в душе моей...

Сосны в дачном саду летели в небо. Там сверкало несколько звезд. Было и грустно и легко. Ночью всегда находило на Егорку, куда-то несло его, и не мог уже он сидеть на месте. От дачи дорожка уводила в лес, и там было пустынно, ни одного строения. Там лес, ветки, засыхающая трава, листья. И лунный свет, тишина, душа сливается с безмолвной красотой. Лиза скрылась, он зашел в комнату, где в полумраке танцевали студенты, хотел было посидеть возле Ямщикова, но тот отдыхал в дальней комнате.

Егорка спустился со ступенек, отворил калитку и пошел по дорожке, которая увела Лизу. Вынырнула луна. Хмель ли бил в голову или чувство скопилось за вечер, переливало через край? Ночь, вино, старая дача, голос Ямщикова полчаса назад и женский шепот — на душе почти счастье! Почти, но не полное.

«И выпил немного, а пья-яный,— улыбался Егорка у сосен. — Хорошо жить. Много еще всякого будет. Димке надо написать про дачу. Чудесно! За Ямщиковым пошел бы, эх, пошел бы не моргнув. Да зачем я ему? Скучный, потому что слишком хороший, сказала Лизка. А так-то бы... Не мужчина я. Ямщиков — настоящий!»

Он сел под сосну, зажмурился, и Лиза видением возникла подле него, за ее спиной белела луна, она наклонилась и стала ворошить его волосы. И голос был ее, те же интонации, и произносила она слова, которых хотелось Егорке. Она не могла без него, ревновала, просила, и он показывал себя щедрым, добрым, они ушли в лес и шли-шли до утра, достигли железной дороги, устали и уснули на стогу. Почему на стогу? Почему туман полз по траве? Почему она плакала? Она страдала, и он с легкостью награждал ее этим горем, ведь горе ее было отрадно — любовь к нему!

Егорка открыл глаза, луна стояла правее, и он сидел один. Он не расстроился, он все равно был счастлив. Уже кричал ему с крыльца другой женский голос, кричала дочь Ямщикова, и когда он подошел из темноты, она со ступеньки подала ему руку, теплую, маленькую, и подтянула его чуть повыше, на одну досочку. Вот и она хороша, и она не прочь целоваться с ним. «У нее такой отец!»— подумал Егорка.

Спать легли на полу, в темноте долго шумели. Лиза пришла позже всех, слепо ткнулась ногой, кто-то показал ей сбереженное место. Егорка не спал.

— А ты не спал, не спал, да? — сказала она ему утром.

«Кто она? — глядел на нее Егорка. — Кто она мне?»

— Мне хотелось протянуть тебе руку, но ты был в самом углу.

«Ведь неправда, но говорит так, что хочется верить».

— Ну, ничего, у нас еще все впереди...

«Обманет,— думал Егорка. — Когда впереди? И почему не вчера, не сегодня?»

— Ты как-нибудь придешь ко мне, и мы пойдем в кафе, где подают горячее вино. Я знаю такое место. Ладно? А вчера я ходила по лесу, без тебя-я, и была легка, как птица в полете. И подумала, что когда-нибудь я стану ветром, мне захочется прилечь где-нибудь в овраге и отдохнуть. Ветер тоже устает. Ужасно хочу посидеть с тобой. Помолчать.

«Когда поступали, после третьего тура она была такая. Мы сидели в ресторане, «Яр» там был когда-то, и она пила, ласкалась, говорила, как хорошо вот было, к цыганам ездили, ей тоже хочется к цыганам, и тогда я впервые испугался, не понадеялся на свою морду, вообще на себя. Переметнется она, подумал. Так оно и вышло. Но кто у нее и где? Где-то есть. Где?»

— Знаешь что,— сказала она в Москве на Казанском вокзале...

— Вот сюда мы приехали в июне... — сказал свое Егорка. — Димка, Никита... Вон там чемоданы сдавали. Вон там кофе пили, тут Димка «Советскую культуру» купил...

— Я приеду к тебе сегодня,— сказала она. — К шести часам. Ты будешь?

Она притронулась рукой и внимательно смотрела на него.

— Приезжай!

Егорка ждал ее. Он понимал, что она придет к вечеру, но весь день уже был заполнен только ею: он отвечал ей на стук, усаживал, произносил перед ней речи, и все шло так, как ему хотелось. Она входила в его воображении раз, другой, пятый, десятый, и всегда повторялось то же. Но часы не спешили. Он съездил к Никите, почитал письмо от Димки. Никита заканчивал Апулея. «Я вот тоже осел, но не золотой»,— сказал Егорка. Поговорили о Димке, о матерях в Кривощекове, немножко о Вале Суриковой, куда-то уехавшей из родного города и, по слухам, собиравшейся замуж.

«Приезжай, Димок,— шел он назад и звал друга издалека. — С голоду не помрем, под открытым небом спать не будешь. Твоя телеграмма — и встреча на Казанском, на руках понесем до такси, ха-ха, Трифоновка, театры, ты расцветешь. Приезжай!»

Он вернулся к себе в общежитие. Стояли в Москве последние теплые деньки. Даже студенты из училища Гнесиных удрали на воскресенье за город. Владька в соседней комнате играл в преферанс. Меланья Тихоновна сидела на стульчике с кастеляншей, дышала свежим воздухом. Расска-

зывала что-то про свою молодость, как ее сватали, то да се, но Егорке не слушалось.

Неожиданно под подушкой обнаружился томик Хемингуэя. Кто бы его мог принести? Наташа? Все некогда было побродить у нее в Коломенском. Когда он думал о ней, то вспоминал школьную дружбу с девчонками. Хи-хи, ха-ха, прогулки, кино, никаких обид, ни ревности, ни снов.

Он прилег и раскрыл книгу. В студии все боготворили Хемингуэя, и только Егорка отстал, не успевал читать из-за греков.

Егорка полистал страницы.

Вот!

«Он прошептал ей так тихо, что тот, кто не любит, никогда бы не услышал».

Слова были просты и прекрасны! Какие слова! Так красиво и верно, что загорелось самому что-нибудь сказать в этом роде. Вот хотя бы о том, как было вчера на даче и как он весь день торопит свидание с нею. «Я ждал ее целый день и каждую минуту любил ее и боялся, что она не придет. Мало того, что...»

Нет! Лучше уж помолчать, писатель из него никакой. И если Лиза придет, он скажет ерунду, почему-то вечно остается с тобой самое дорогое и нежное, и тому, кого любишь, говоришь одни глупости. Кажется, что признанием обезоружишь себя. И только глаза ничего не скрывают.

Он встал и пошел позвонить Никите.

— Что делаешь?

— Дочитываю. Золотой осел откалывает номера.

— Послушай, как люди пишут: «Он прошептал ей так тихо, что тот, кто не любит, никогда бы не услышал». Я обалдел!

— Ты сможешь лучше,— прокричал в трубку Никита,— если будешь влюблен в Лизу еще полгода. А дотянешь лямку до весны, то самого Гете за пояс заткнешь.

— Скотина! — не обижался Егорка. — Я покончу с собой. Священника позови.

— Отпоем, обмоем. Крест поставим. Напьемся. Ты ее не жди. Она где-нибудь на столе пляшет.

— Не веришь в меня?

— Очень верю в тебя, но в нее нет. Она тебя недостойна. Я тебе Пушкина давал, ты прочти за двадцать первый год стихотворение.

— А какое?

— «Умолкну скоро я!»

— Нет, весь я не умру.

— На здоровье. Ты еще на субботниках поработаешь, не умирай весь.

«А меня легко заменить,— думал Егорка, ища стихотворение Пушкина за двадцать первый год.— Даже Владькой. Я могу ей нравиться, но единственным не буду. С ней нужно быть легким, я же начинаю и продолжаю так, будто сам бог шепчет, что это уже на целую жизнь. Она для чудного мгновения...»

Вдруг робко постучали.

— Да! — крикнул он, воображая лицо Лизы. — Войдите, кто там?

Дверь открылась, вошла с улыбкой Наташа. Сперва с испугом, потом улыбнулась, когда увидела его. Что-то она думала сказать, но слова вылетели сразу же, и она стала у двери смущенно.

— Заходи, заходи, Наташа,— пригласил Егорка. — Умница, что пришла.

Он подошел и с какой-то тайной благодарностью наклонился к ней поздороваться поцелуем, она с радостью подтянулась к нему и сказала игриво: «Только я маленькая... ты как маленькую...»

Глава третья

ЗА КЕМ ИДТИ?

1

«Хочу опять поговорить с тобой, Димок,— писал Егорка в декабре на уроке сценической речи. — Ребята пока дышат, а я жду своей очереди. Учимся дышать на одной диафрагме. В конце учебного года будем уже показывать первые крохотные отрывки на тему. Все ребята ищут, я же и не знаю, что искать, не знаю, какую тему себе выбрать. Сколько раз, чуть не на каждом занятии вспоминал тебя. И на тот год, если не светят мне перемены, я должен буду поднести тебе цветы, как подносил нам второй курс на традиционном вечере. Я и не мыслю, что ты минуешь сцену. Ты в сто раз талантливее меня, и мне, дураку, просто везет во всем. Я от тебя не отстану и унижение твое разобью. Живи и дальше, как жил: естественно; в среде, где так много условного, тщеславного, я больше всего дорожу нынче людьми самобытными. Слушай речи и песни, не брезгуй никакой жизнью, но будь в ней сам по себе, ни в малейшей степени никому не подражай.

Продолжаю на французском. Сейчас от балды что-то ляпнул и попал в точку, похвалили за произношение. Везет! И в школе так же, море по колено. Но не об этом я. Никак не настроюсь на волну.

Что я забыл сказать прошлый раз? Скоро закончу «Тихий Дон», и мне, кажется, хватит этого дива на весь век — читать и перечитывать без конца. Димо-ок! Приеду на каникулы и поделюсь, как положила на лопатки эта книга! Два самых гениальных впечатления за нынешнюю осень: «Тихий Дон» и «Жизнь Арсеньева»! Григорий Мелехов, какая судьба! Читаю, и такое ощущение, что жизнь летит мимо меня, и кажется, если я не схвачу ее сейчас, мне почти никогда не догнать ее. А хочется жить! Землю облазить! Что-то наворачивается во мне, мы в чем-то правильные ребята, а в чем — время покажет. Тут у нас модно теперь все крыть и отрицать, и не важно, что для отрицания нет ни собственной судьбы, ни выстраданной идеи, важно, чтобы кругом знали, что и ты не отстаешь от веяний. Но начинать свою жизнь с отрицания всего и вся я не могу, просто другой я человек с самого детства, дорожу тем, что меня в

ком-то и чем-то радует, что влюбляет меня, очаровывает. Я еще в том возрасте, когда гадко и смешно тыкать с чужих слов вверх и вокруг, надо с самого себя начинать. Что я видел, что испытал, что понимаю в огромной политике? Отрицать проще пареной репы, но что *вместо?* какой *идеал?* Без этого *что* лезет в душу нигилизм, базаровщина (мне неприятная еще по роману), от этой, извини, базаровщины меня чуть не стошнило на нашем собрании, когда прорвался у многих скептицизм, когда разнесли все, призывали к чему-то, а к чему — сами не знали. Хотя, надо правду сказать, Димок, со многими прописными истинами в искусстве я тоже не согласен, в нашем искусстве. Вот говорили нам на лекции: Микеланджело под старость лет переоделся в рванье и ушел инкогнито в неизвестную деревушку расписывать храм. Никто его не узнал, а едва расписал — приняли! поняли! Проверилась истинная ценность, и не давил вес тяжелого уже тогда имени. Так вот, многие «тяжеловесы» мне ни капельки не нравятся, от них осталось далекое бледное сияние когда-то неплохого имени, и, ничем правдивым, настоящим свою славу не подкрепляя, они тридцать лет заботились лишь о том, чтобы имя сияло прежним светом. А свет этот уже слабее лампочки на деревенском столбе. Их уже не занимает настоящая жизнь, нет, они только себя любят и берегут, и любой ценой защищают. Ну, это я так, к слову, в письме я умней, чем в жизни.

Дописываю в метро, ночью. Еду в метро, пристроил листок на чемоданчике, задрав ногу, а к ноге моей девчонка ногой прикоснулась, и тепло, и мысли всякие, уже тянет к ней, успею дописать и, если не выскочит на «Новослободской», пойду за ней. Еду с «Егора Булычова»! В каком-то наитии, восторге от Василия Ямщикова, от пьесы. Хороший драматург Горький, ранние его вещи не люблю. Жить опять охота, как людей знать хочется! Обнимает Глафира Булычова и говорит: «Егор, милый, уедем в Сибирь, уедем от всех». Ревел я, скрипел стулом, выл, тебя вспоминал, Кривощеково!

Гениально играет Ямщиков, самый русский актер сейчас, по-моему, в Москве. Пошел бы за ним. Долго метался мужик без настоящей роли, не раскрывался и вот блеснул, да как, Димок! Что значит богатый материал, а не варево. Приезжай, гаденыш, чего там сидишь? Упьешься Москвой. Сошла моя девочка, красивая, хорошая, а издалека уж и совсем, не успел выпрыгнуть, ладно...

Перечитал письмо, глуп и занудлив, но, может, изменюсь. Пойду за советом к писателю Астапову, он приехал на днях из Финляндии... Пока, Димок...»

2

Егорка не мог знать, по какой надобности ходят нынче к писателям. Задавать ли вопросы: как и зачем жить? Доказывать свою правоту? Исповедаться, найти поддержку? От кого-то он слыхал, что нынче все проще гораздо. Все будто бы ясно человеку на этом и на том свете, и разрешить бы одну трудность: помоги рублем, устрой на хорошее место или пожалей в обиде. Но Егорка не поверил, хотя земля наполнялась слухами, что шли к Астапову и за этим. Он представлял, что с писателем, которого любишь, в первую очередь хочется отвести душу, поглядеть на него, услыхать что-то. Он воодушевит, ты согреешься возле него и уйдешь просветленный, косвенно, из общего разговора, найдешь себе ответ. Он мечтал посидеть у Астапова, поспрашивать о том о сем и ни в коем случае не заикаться сразу о себе, потому что просьбы у него никакой не было. Ко всему прочему только один маленький совет. Один-единственный.

Он совсем не знал жизни, не знал сложных поворотов ее, не знал, как чувствует себя известный человек на той громадной высоте, куда взобрался Астапов. У него были свои соображения, и до свидания с писателем, задолго до свидания, Егорка наговорился вдоволь, и что только не делал у него в гостях: и выпивал, и ездил с ним на охоту, и слушал нечто такое, что можно было доверить только Егорке, этому рыжему парнишке из студии, который боготворил Астапова без меры. Те видения случались перед сном, и утром их снимало как рукой.

Никакого страха он не испытывал. Казалось, он уже знал его благодаря книгам до мельчайших подробностей, давно где-то слышал его глуховатый голос, но, главное, родной уже была его душа, его добрая, широкая, русская натура. Порою, правда, Астапов воображался существом до того особенным, неземным, что стыдно очутиться перед ним в своем убожестве — ведь он поймет тебя с первого слова! И что сказать ему? «Ничего такого не стану говорить,— решил Егорка,— скажу что есть, не стараясь понравиться. Лишняя проверка мне. Выгонит — значит, дурак я, ничтожный, все правильно. Погляжу хоть на него, поздороваюсь за руку, и то радость». И все-таки думалось: быть опозоренным, униженным — значит завтра же взять билет на поезд и умчаться в дальнюю сторону, к черту на кулички, наказать себя добровольно, подвергнуться мукам, холоду и голоду и потом... Потом либо вернуться иным, либо... Правда Астапова нужна была Егорке потому, что после, в одиночестве, что бы с ним ни случилось, он будет глядеть на себя с какой-то вершины, на которой солнцем сиял для него Астапов, мерить свою совесть его совестью, и долго-долго, быть может, оборачиваться к нему в любви, к тому дню, когда он мальчишкой стоял перед ним.

Астапову было сорок пять лет, но слава явилась к нему еще до того, как родился Егорка. Через века, бури и потрясения неизменно проходит в нашей стране тип русского писателя — выразителя суровой народной правды и национального чувства. Таким однажды взошел Астапов.

Никита сопровождал друга.

Они подошли к улице Кропоткинской. Храбрость Егоркина улетучилась, он забыл причесать свои лохмы, сунул под борт пальто журнал «Новый мир» и поднялся с Никитой на второй этаж. «Давай шапку подержу,— сказал Никита и отстал. — Пока что я сяду на снег у подъезда, и мне накидают в шапку мелочи. Тебе на дорогу».

Егорка только приготовился стучать косточкой согнутого пальца, как дверь внезапно открылась. Астапов, окруженный двумя угодливо-радостными субъектами, в пальто и с каракулевой шапкой в руке, стоял у выхода. «Выпивали», — заподозрил Егорка и слегка позавидовал субъектам, которые запросто сидели с писателем в комнате. Как почти все русские классики, Астапов был невысокого роста. Столько дней и ночей думать о нем, и вот он рядом, очень похожий на портреты, но суровей. Большие голубые глаза Астапова внимательно глядели на Егорку; потом какие-то слова, потом уже сильная рука писателя обнимала его за плечо. Что вдруг случилось еще через минуту? За что Астапов крепко, будто сразу полюбив, пожал руку и поцеловал его? За что, в самом деле? И совсем просто сказал: «Ну что, сынок, какое у тебя дело ко мне?» Никакого *дела* не было, но как лучше растолковать при чужих, неприятной улыбкой привечающих субъектах, которые Егорке почему-то не нравились? Астапов же был свой, отец почти. «Это что? — заметил он журнал на груди. — Твое тут напечатано?» — «Нет, читаю». — «Ну слава богу!»

Что-то пробормотал Егорка, сказал, где учится, откуда родом и чего вдруг ему захотелось. Они стояли на площадке, Астапов куда-то направлялся срочно, товарищи эти торопили его. Для них Егорка был одним из сотен, из тысяч, которые ходят к Астапову, и они были небрежны, как на вокзале в очереди: всех не запомнишь, и все — только толпа. Какое они имели право мешать Астапову, подсказывать? Чем они заслужили счастье общаться с ним, они, такие недалекие и чванливые? И зачем они нужны ему? Но он, наверное, щедрый и в простой жизни беспомощный. Пронеслась минута, пять, десять, и Астапов вновь сжал руку Егорке и два раза крепко поцеловал. «Учись, учись,— сказал по-отцовски, спускаясь сзади по лестнице,— послушай меня. Я нигде не учился, а вам и карты в руки. Успеешь. Еще и жизнь узнаешь, и борода отрастет. У меня тоже дети учатся». — «Хочется народ узнать»,— робко вставил Егорка. Астапов улыбнулся, как бы прощая парнишке детские страсти. Эти глаза! Они насквозь прокалывали тебя! Им не солжешь.

— Не помню, не помню всего,— досадовал Егорка, когда шел с Никитой. — Не помню точно. Эти двое еще мешали. После всплывет.

— Ведешь обмывать?

— Я же не умею пользоваться случаем,— сказал Егорка. — Ничего не успел сказать ему. А может, ему и не надо было со мной долго говорить? На то он и художник. Поцеловал за что-то.

— О да, конечно! Я хотел бежать за поллитрой, а вы уже просекли друг друга и расстались. А эти двое, несомненно, выше вас. Они берегли его от тебя, хотели, чтобы поскорее кончились эти детские речи о смысле жизни — он им нужен был *для дела*. Я поумнел за пять минут.

— Сколько к нему ходит людей, Никит,— поторопился оправдать Егорка писателя. — Нас много, он один. Ему писать надо, а его тащат на банкеты, на вечера, звонят, интервью выпрашивают. А силища в нем! Конечно, так бы посидеть с ним без спешки. Только о чем ему толковать со мной?

«Глаза у тебя крепкие»,— вот еще что сказал ему Астапов.

— Откуда? — изумлялся Егорка. — Жиденькие глаза.

— А ну погляди,— повернул Никита друга к себе. — Ну-у! Металл.

— Родной он! — воскликнул Егорка. — Чего там. Свой. Сразу чувствуешь. И рука сильная, цепкая. Пусть живет сто лет. Эх, Никит, а хорошо! Веселее! Не зря сходил. Будто окунули меня в святую воду, вечно теперь буду вспоминать его. Хорошо, когда в стране есть человек, который и издалека может согреть. Подумаешь о нем, и легче. Встретиться, встретиться бы с ним, но уже человеком.

Глава четвертая

КОМУ ЧТО

1

Нет той зимы. И что, казалось бы, ее вспоминать? Но в Суздале, спустя десять лет, он перелистывал странички дневника и поневоле оборачивался назад.

Та зима. Егорка учился, посещал театры, привыкал жить по-столичному. Ничего вроде бы не менялось. И подоспел Новый год. В восемь он выпил с Никитой за Димку, Антошку, за родных в Кривощекове, которые встречали Деда Мороза на четыре часа раньше. От вина, от пожеланий, от ожидания чего-то чудесного кружилась голова.

Разве он знал, что иногда будет любить в том времени даже самого себя, даже того Егорку, которого он так ругал в дневнике?

Возвращаясь утром на Трифоновку, он понял, что ему будет жалко расставаться с Москвой. Но он расстанется все-таки. Сожаление родилось, пожалуй, еще на маскараде в студии. Туда он пришел уже «косенький», со всеми целовался, поздравил заранее дежурных тетушек и пожарника и влился в несколько вольную артистическую атмосферу. Всё, как нарочно, дразнило великолепием. «Дивный, дивный мир! — шептал Егорка. — Но ладно. Уеду. Надо».

— Уезжаешь в глушь,— сказала ему Лиза, когда они шли домой. — На свои реки, мосты? Возьми меня с собой?

— Ты не поедешь.

— Молодец ты! — похвалила она. — Все правильно. Или — или, говорит моя бабушка. Или живи вдали, ходи в сапогах, соединяйся с природой — тогда бытием своим ты вынашиваешь в себе личность. Или так, по-светски, из зала в зал — и... пустота. Да?

— Можно и вдали жить, и толку не будет.

— Ты смелый.

— Это моя прихоть, моя дурь, ничего тут смелого нет. Но я знаю, что в студии меня отточат, научат форме, *как* играть, а содержание, *что* играть, должно прийти из жизни, из *моей* вдобавок жизни. А из какой же, к черту, жизни оно ко мне придет? Лекции, танцы, библиотека, поцелуи...

Она остановилась и долго смотрела на него. Потом закрыла глаза и медленно, с искушением потянулась к нему лицом.

— И поцелуи... — сказала она,— и они тоже жизнь...

Уже нельзя было сердиться на нее. Он растворился в ее губах, в ее душе, таким минутным счастьем обдало его. Трудно было не любить ее сию минуту, невечно, один миг. Пусть миг. Он знал, что она соблазняла его только на миг, умела соблазнять, и поддавался.

Летел снег. Лицо ее выглядывало из пушистой шапочки с ушками, как из норки. Мало еще прошло с осени дней, чтобы измениться, но Лиза уловила, что Егорка чуть-чуть не тот. «Ты стал последнее время строже и острее, что ли,— сказала она ему на танцах. — Свет твой в тоску переходит». На улице они сперва молчали, и молчание нынче было против нее. До того как она его обманула, не пришла в общежитие, ей ничего не стоило взять его в плен, как и ее брали опытные мужчины одной своей солидностью, смелостью, лестью и даже недолговечностью признаний. Она была тогда у художников в мансарде до глубокой ночи. Она не предавала Егорку и никакого греха на душе не чувствовала, когда наутро весело тянула к нему руку: «Здравствуй, Егорка! Ужасно рада тебя видеть!» Да и разве она клялась ему, разве она связала себя с ним узами тайной любви? От ее ласковости доставалось всем понемножку, а Егорке даже больше других. Он приходил к ней, и всякий раз она бросала дела, не отвечала на звонки. «Поиграй мне что-нибудь»,— просила она, поднимая крышку пианино. Егорка садился, но долго играть было нельзя, они целовались. С балкона она так с ним прощалась, что он снова поднимался к ней. Отчего же ему стало надоедать бесконечное повторение одного и того же?

— Ты мне будешь писать? — спросила она, и в этом не было особенной настойчивости.

— Тебе нужны мои письма?

— Я люблю получать.

— Ладно, посмотрю на твое поведение.

— А можно, я приду тебя проводить?

— Тебе хочется?

— Да.

— Неправда.

— Ты боишься?

— Кого?

— Боишься, чтобы тебя увидели со мной. Боишься Наташи? Она придет?

— Меня будет провожать Никита. Мы вместе едем домой.

— Я просто проверила тебя. Знай, что там, где я хочу быть, мне рады.

— Обиделась?

— Милый, миленький, изумительный! За что? Мы с тобой такие разные.

— Я тебе не говорил о твоем голосе?

— Скажи. Скажи!

— Не нужно. Хорошо, когда человек не старается, а живет и говорит, как ему дано.

— Но я не знаю, что мне дано.

— А ты будь живой.

— Ямщиков сказал, что я живая, поэт сказал, что я живая,— чего же еще? Поедем к нему вместе?

— С чего? Зачем?

— Вы же земляки.

— Ну и что? Не буду же я ему на пятки наступать. Ты не понимаешь.

— Понимаю. Я даже понимаю, что ты нашел в Меланье Тихоновне.

— Откуда ты ее знаешь?

— Я пошла на прошлой неделе купить лыжный костюм. Стяни мне, пожалуйста, перчатки, и пусти мою руку в карман. Вот так. У прилавка решила попросить сантиметр, измерить, какой длины у меня ноги. Взяла сантиметр, натянула, и он у меня упал. Я опустилась, чтобы поднять, а рядом стояла женщина, не совсем старая, и она бросилась на колени помочь. И мы так присели к полу, вокруг нас толпа, прут, толкают, мы друг друга стали поднимать. Я вижу ее глаза,— спроси, все расскажут. Я купила костюм, и мы вышли, разговариваем и уже не можем расстаться. Идем. Она держится за меня, говорит, что скоро рождество, как встречали раньше, она из Севска, а в Москве только десять лет, из-за сына, сын пьяница. Я повела ее к себе. Стала она разматываться. Сначала один платок, черный, потом другой, потом косынку, сняла свое затрапезное пальтишко. Я ее усадила, собрала на стол. Мы сидели целый вечер, очень много я узнала о ней, это ведь нужно актрисе, правда? Я даже записала текст старинного благословения, который она мне сказала. Я тебе перепишу. Ну вот, чудно мы посидели, я зажгла свечи, она вдруг говорит: «Как я люблю свет этот тихий, доченька. Как праздника жду. Смотрю, и будто завтра праздник. Ожидание праздника, доченька, чудотворнее самого праздника». Глаза так и ищут ответа. Увидела мою икону (мне привезли с Севера), стала перед ней: «Ой, да что же это ты такая хорошая, доченька, в бога веруешь». Я не стала ее переубеждать, зачем? Пусть человеку будет приятно думать. Потом я села за пианино, сыграла «Лучинушку»: «Ты гори, гори, моя лучина...», она меня обняла: «Да

что это у тебя, милая, под пальцами так звенит!» Потом она опять рассказывала, потом я еще играла, очень интересно, ничего для нее не жалко было. Живешь и не знаешь, что рядом такие люди ходят. Мне всегда жилось удобно, все у нас было, а она вот рассказывала, как пекла огромные блины, обматывалась ими вокруг груди и везла из Севска в Москву детям, на товарняке, на ветру, война шла, она прижмется к стене на площадке и едет. И про тебя мы говорили, как вы там чай пьете, как ты письма от Димки ждешь, танцуешь, когда получишь.

— Так что тебе показалось? Что мне нравится, по-твоему, в Меланье Тихоновне?

— Душа, конечно.

«Да и у тебя она есть»,— ласково поглядел он на Лизу и простил ей все то, из-за чего осуждал недавно.

— Ты не ругай меня, пожалуйста,— прижалась она к его плечу. — Если я буду грешна перед тобой, ты скажи: она глупа, но не зла. Мне с тобой уютно. Когда ты говоришь о ком-нибудь с восхищением, я слушаю, и кажется, что я тоже так вижу. Ты видишь людей такими, какими они не бывают.

— И тебя, значит, тоже?

— А я не знаю, какой ты меня видишь.

И они опять стали целоваться. Они прощались, она уходила и вдруг призывно оглядывалась, Егорка подбегал к ней, с чувством обнимал ее, любил ее. Они зашли в подъезд, все выше и выше поднимались по лестнице и очутились у ее двери. Дома спала только бабушка.

— Иди... Иди, Егорка. Позвони мне... Я сейчас лягу и буду о тебе думать. А ты обо мне?

— Я тоже,— сказал Егорка, поддаваясь безобидной лжи, в которую Лиза его всегда вовлекала.

Не переставал лететь снег. Егорка поехал трамваем в общежитие. Он сидел и вглядывался в лица, думал, отгадывал. Как только ему нравился кто-нибудь, он хотел жить с ним рядом, узнать его до тонкостей, и он забывал, что Лиза, Никита уже в его жизни и придется еще жалеть о том, как мало ему досталось бывать с ними. Чужое было полно тайны. И все-таки покидать Москву будет жалко.

Утром придут в студию ребята, начнется лекция по зарубежной литературе. Войдет старенький Фохт, бросит на стол тяжелый портфель и без запинки прочтет что-нибудь на чужом языке. Его сменит профессор истории искусства, засияют имена Делакруа, Рубенса, Кановы, Гойи... А тебя не будет.

Ну и пусть, нечего плакать заранее. Кому что.

2

Прошли экзамены. Егорка пропадал у Никиты в пустом общежитии. Друзья ложились в шесть утра, вставали в полдень. Лиза подарила Егорке книгу Вересаева «Пушкин в жизни», и они читали ее по ночам, пили какао и обсуждали Пушкина. В натуре поэта все вызывало легкую зависть, своя судьба вставала бедной и скучной. Да и не было ее еще вовсе, судьбы этой. И если так жить, то и не будет.

Из студии его сперва не отпускали. Панин отговаривал три дня подряд, называл Егорку мечтателем, и, когда тот наивно ссылался на великих людей, педагог тонко поучал, улыбался, и выходило, что любить и восторгаться великими похвально, но совсем не обязательно за ними следовать. Это был другой Панин, домашний, без идеала, не тот, который учил с кафедры. Странно двоится иногда человек. С кафедры легко внушать молодым, звать к бесстрашию, но в частных случаях вдруг старших унизит проклятый здравый смысл.

— Вот ведь как! — разочарованно говорил Егорка Никите.— Они уже все наперед знают, их ничем не тронешь. Поеду, Никит. Нет у меня еще своей правды. Поищу. Как бы хорошо здесь ни было, а на донышке вечно будет что-то недоумевающее. Хоть вспоминать буду, что не объедками побирался. Если уж на то пошло, искусство не пропадет без Егора Телепнева и рано или поздно вернется к этому самому родному реализму. Но я-то? Ну и что ж, если Пушкин, Федор Васильев гремели на всю Россию в двадцать три года! Можно и к тридцати. А лучше и совсем не греметь. Страшно не это. Страшно потом болтаться как в проруби.

— Я плохой советчик, Егор. Прежде чем советовать, надо сто раз вспомнить басню Крылова. Как медведь прогонял муху с приятеля, помнишь? Ухлопал приятеля вместе с мухой. Я же не романтик.

— Да не люблю я этого слова! Не алые паруса меня манят, не перламутровые раковины. Эх, не в актеры бы мне, а в архиереи! Вот ведь к чему у меня сроду призвание — к проповедям. В школе в сочинениях у кого что: у Димки — лирика, у тебя — диалектика, у Антошки — краткость, а у меня всегда длинно, непонятно, но с высоким пафосом!

Никита лежал на койке и глядел, как Егорка строчит письмо Антошке. Никита знал, о чем может писать нынче друг и как откликнется Антошка. Тот такой малый, что может ринуться вслед за Егоркой. Антошка был самый горячий из них. Прошлогодней январской ночью он шел с ними через Обь из оперного театра. Они тогда думали, что будут дружить вечно, до самого конца, они были нужны друг другу, и расставаться не хотелось ни на год, ни на месяц. Обь лежала в снегу. Они шли по ее замерзшей долине к домишкам на Горской, на левобережье, в свое Кривощеково. Они только что слушали «Хованщину», Егорка временами напевал что-нибудь. Оперный провожал своего воспитанника в Большой театр, был грустный праздник, явился цвет города, всегда завидно, если кто-то отправляется в столицу за луч-

шей долей. И была гордость: он наш. Так же три года назад забрали из драмы Василия Ямщикова. А ребята поедут сами. Они уедут мальчишками и вернутся большими. А может, и не вернутся. В июле Антошка бежал по платформе, простирал руки, кричал напоследок: «Держитесь вместе!» Зимой на Оби их было четверо, в поезде трое, осенью Егорка ходил по Москве с Никитой, а теперь уже будут все поодиночке, врозь. Только не всегда же.

Егорка стал собираться. Афиши извещали о прибытии театра «Комеди франсэз». Музейные имена Мольера и Мариво на миг волновали, но вообще-то сожалениям уже не было места, навалились простые хлопоты: сбегать туда, успеть там. Часы, когда с чем-то прощался ради нового, были самыми острыми в юной жизни Егорки.

«Вот и завтра-послезавтра вы будете здесь,— занимали все-таки мысли о москвичах,— а я уезжаю». Взгляд часто натыкался на местечки, памятные ему по лету, когда бродили втроем и верили: будем здесь жить, будем почти каждый день видеть это. Теперь молоточком стучало постоянное «уезжаю! уезжаю!»

В день отъезда он проснулся в мыслях о Наташе. Накануне они прощались в селе Коломенском у Москвы-реки. Он думал, что ему будет так просто уехать, но нет!

Они зашли далеко и сели на лавочку. От снега в лесу было светло, и казалось, что еще рано. Впереди на много верст горела огнями Москва, и там еще танцевали в ресторанах, играли на сцене, гудело под землею метро. Наташа в белой шапочке с длинными ушками была симпатична как никогда. Она уже знала, что Егорка не успевает поужинать, и приносила шоколадных конфет, подносила по одной к его губам.

— Хватит кормить,— сказал Егорка. — Поцелуемся.

— Я не умею. Я не умею. Так, да? Не умею.

— Губы не сжимай. Вот так,— поцеловал он ее.

— Ты недолго, я задыхаюсь.

— А ты дыши.

— И дышать и целоваться? А как?

— Ну...

— Ага, уже лучше.

— Расскажи, кто в тебя еще влюбился в метро.

— Вчера и сегодня никто. Я их всегда прогоняю. Ты еще не знаешь, какая я ужасная.

— Мегера?

— Не-ет! Немножко вредная. Начинается с того, что я ко всем хорошо отношусь, а каждый принимает это за... Мне было семнадцать лет, один мальчик влюбился — что делать? Славный, глаза голубые, волос кудрявый. Я случайно шла мимо сада больницы, где он лежал, и он позвал меня, попросил купить апельсины напротив. А я очень легко знакомлюсь. Мне его жалко было, Егорка. Он говорил: «Приходите еще, я поправлюсь!» Студент третьего курса, с Дальнего Востока, никого в Москве. Ну что делать? Я ходила три месяца. Иногда он писал мне письма, я показывала их маме. Ну, мама у меня тактичная, она не скажет: «Смотри, осторожней». Она меня знает. Она только говорит, что люди не понимают, к сожалению, добра. Я ей все рассказываю. Когда его выписали, он стал ходить к нам каждый день, умолять, чтобы я вышла только на минуту. А я пряталась. Честное слово, ты веришь? Мне ни к чему было встречаться. Мама выходила: «Ее нет дома». Он часто караулил меня, и однажды я его прогнала. Я знаю, что это плохо, но я ничего не могла поделать с собой.

— Ах ты! Ах ты, мартышка.

— А ты мартын! Ха-ха! — прижалась она и поцеловала его коротко.

— Я попала в больницу с аппендицитом. Оперировал меня молодой хирург. Я собрала все силенки и не пикнула. Он красивый, двадцать четыре года, часто навещал меня, садился возле и расспрашивал. Я сначала не понимала. Вышла, он домой приходил. Мне стало смешно, что я ему нравлюсь. Мама не знала, куда его посадить, души в нем не чаяла. Я его называла по имени-отчеству, он обижался. А я не могла! Он был такой большой, взрослый, на целых шесть лет старше меня! Интересный, умный, ничего не скажешь, иногда даже мне казалось, что я заворожена им. Он взял однажды мою руку (сидел у постели, опять ангина мучила) и сказал: «Наташа, выходи за меня замуж». Я хохотала бешено: «Что вы! Что вы! — по имени его, отчеству. — Уходите, я слышать об этом не хочу». Обидела ни за что, он, бедный, растерялся и долго не понимал, что я серьезно отказываю. Ну не дура? Я иногда болтаю, и только дома лягу, вспомню и пойму, какая глупая и грубиянка. Я не представляю, как это я выйду замуж, у меня будут дети... Ведь будут?

— Будут! — сказал Егорка и обнял ее.

— А тебя я не прогоню. Скажи, что ты обо мне думаешь?

— Ты ребенок.

— А ты? Ты мужчина, да? Ой, не могу! Егорка мужчина. На, съешь, мужчина, шоколадку.

«Я уезжаю»,— подумал Егорка.

Они встали, спустились вниз, ближе к берегу. На снегу чернело бревнышко, они умостились на нем.

— Мне хорошо-хорошо... — сказала Наташа. — Я боюсь, мы сегодня поругаемся.

«А я завтра уезжаю... — думал Егорка. — Сказать надо...» И медлил, читал ей стихи и прочел, между прочим, такое:

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной.

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь.
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

— Чьи?

— Фет,— сказал Егорка. — Хорошо?

— Угу. Какие есть люди талантливые... Завидую.

Наташа подтянулась к Егорке и поцеловала его с тем чувством, будто стихи написал он, и написал о них.

Он целовал ее руки.

— Тепло... — сказала Наташа и посмотрела вокруг: тепло, мол, потому, что ты рядом.

— Можно снять шапку.

— Не надо, не надо.

Егорка вскочил и побежал на горку, Наташа пошла следом, цепляясь за ветки. Он протянул к ней руку, поскользнулся, толкнул ее, и они оба упали, скатились вниз. Она молча глядела на него.

— Пропала я. Но не боюсь тебя. Поцелуй меня...

— Синица-умница...

— Пропала? Что молчишь? Со мной никогда такого не было. Это ты во всем виноват. Сначала я тебя видела в библиотеке, потом в воображении, а теперь уже во сне вижу. В магазин пойду и думаю, что бы такое купить тебе? А мама совсем за другим послала. Что ты, Наташа, такая рассеянная стала? Нет, я не буду тебе говорить, ты зазнаешься.

— Пошли наверх.

Они поднялись и стали у склоненного дерева, он ногами в ямку, она чуть повыше. Он расстегнул пальто, привлек ее к себе, закутал в пальто. Они целовались, прерывались только затем, чтобы вздохнуть. Когда стихли нежные слова, уверения, ее вскрики «Люблю тебя! Люблю, Егорка!», он сказал ей об отъезде.

Она молчала, склонив голову. Какое ей, в конце концов, дело до его дорог, талантливых грез, если она остается в Москве без него, одна? Она может благословить, даже понять, но от этого не станет легче. Ей-то что делать?

— Я пойду! — сказала она решительно. — Ты стой, не провожай меня.

Егорка держал ее.

— Это у меня пройдет, пусти,— просила она,— я сейчас не могу. Ты понимаешь? Пусти! Пусти, пусти-и!

— Что с тобой?

Он глядел на нее и не узнавал. У него слов не было, стояла чужая, волевая Наташка.

— Не иди за мной.

Егорка шел. Тогда она остановилась

— Я же тебе сказала. Ты можешь меня послушать?

— Воспрянь, воспрянь... — сказал он.

— Ну и воспрянь сам! — резко ответила Наташа. — Радуйся, если тебе весело.

Как зла она была! Кто бы подумал десять минут назад, что он потеряет над нею власть и будет тупо уговаривать ее.

Она плакала.

Эта ночь, белизна, стихи, нежность, и вот стояла перед ним маленькая злая женщина. Егорка медленно шел за ней, отставал. Они вернулись к лавочке, на которой столько невинных слов было сказано вначале. Наташа прислонилась к березе спиной. Рядом, на расстоянии руки, рябила другая, и Егорка тоже прислонился. Они молчали. Вмиг улетело куда-то чудесное, чистое, и теперь фальшивыми казались ему свои слова о художниках и великих людях, все его восхищения, его шепот, поэтичность.

— Не тонкий вы человек, Телепнев... — спокойно сказала Наташа.

— Святая правда. Ну, прости.

— Что прощать? Лучше помолчим. В такую минуту сказал...

— Прости идиота.

— Посмотри, какой снег... Мужчины все такие?

— Как я?

— Не чуткие.

— Прости, Наташа. Ну, осел я.

— Опять... Да не нужны мне твои извинения.

— Ну, что, что? Пойдем назад, станем у той же ямки и помиримся. Такая взрослая вдруг стала, ну тебя, дай руку.

— Пропала я... Ты поезжай, но не забывай меня, ладно? Мне ничего не нужно, только чтобы я знала, где ты и что с тобой. Хорошо? Если влюбишься, скажи мне честно. Скажешь? Я все равно буду тебя ждать. Скажешь? Нет, не скажешь.

— Скажу.

— Ты мне напишешь, ладно? Из своего Кривощекова, а потом тоже. Не учи целоваться. Никого, ладно?

— Да что ты, Наташа! Никого у меня нет! Так, всякие волнения.

— Егорка... И я ведь чувствую, что такого вечера у меня больше не будет...

— Будет, будет, Наташ! — поторопился заверить Егорка, сам не ведая, что и когда будет.

Что и когда? Утром он проснулся и долго лежал в постели. Всю ночь он разговаривал с нею, как-то все странно было, и он во сне чувствовал себя виноватым.

За окном летел снег. Егорка подумал, что летит он, наверное, и в Коломенском, засыпая вчерашние их следы. Он всегда-то не слишком себя долюбливал, а в то утро, перед отъездом, совсем что-то разрывался на мелкие кусочки, вытягивал за ниточку одно неприятнее другого.

«Не тонкий вы человек, Телепнев»,— сказала едко Наташа в обиде. И странно, он был ей благодарен. Он лежал и жалел ее. И нашел нечто для восхищения ею, и думал, как многого он не замечал в ней раньше, держал ее в запасе, как тренер игрока. Такие благородные речи произносил всегда у Никиты, а что же на деле? Не тонкий, нехороший. Он пожалел, что запретил ей приходить на вокзал. Он соскочил, умылся, полистал дневник. Выпал листочек с молитвой, которую Лиза записала от Меланьи Тихоновны.

«Господи, боже, благослови. От синя моря силу, от сырой земли резвоты, от частых звезд зрения, от буйного ветра храбрости ко мне, рабу божию. Стану я, раб божий, в чистое поле, на ровное место, что на престол господа моего, облаками облачуся, небесами покроюся, на главу свою кладу красное солнце, оболоку на себя светлый младой месяц, подпояшуся светлыми зорями, облачуся частыми звездами, что вострыми стрелами,— от всякого злого недруга моего...»

Он не был крещен, богу не молился, как Димка в малолетстве, но слова, кем-то сложенные еще, наверное, при татарах, вдруг подняли его на секунду на своих крыльях. Какая красота, поэзия, кротость... Стихи, в которых еще темен и не важен ему смысл, прежде всего трогает мелодия, святятся образы и видятся люди, которым кстати их произносить.

Владька бренчал на гитаре.

Любовник знает, она, послушная,
Смеясь и плача, придет к нему...—

пел он, дразня Егорку.

— Переживаешь? — спрашивал. — Ты с Наташкой был? Поздравить?

— Не с чем.

— Они не стоят того, чтобы о них столько думать,— утешал Владька. — Они живут, как трава растет. Тех, кто их обманет, они помнят дольше. Я тебе говорю!

Егорка не злился на него. Проста тайна для Владьки, что с ним поделаешь. Выросший в тамбовской деревне, до семнадцати лет не выезжавший за черту родного района, Владька, однако, ловко освоился в столице за один год. Был он смазлив, женщины его баловали, и ему казалось, что проворному все двери открыты.

Вошла Меланья Тихоновна, передала, что вчера звонила Лиза и просила Егорку не забыть попрощаться с нею.

— Позвонить, что ли?

— Позвонить.

— Садись, Меланья Тихоновна.

— Да мне некогда,— сказала она и присела. — Когда ты грешниц этих поснимаешь? — напала она на Владьку. — Понавесил.

— Это мои любовницы,— сказал Владька и взглянул на Мерилин Монро и Лану Тернер. — Хороший у меня вкус?

— Не знаю, какой у тебя вкус, а чего они раздетые? И не стыдно им? Вот как оно плохо-то без бога. Никого не боятся.

— Меланья Тихоновна,— сказал Егорка,— нука почитай мне на прощанье.

— Чего, Егорка?

— А что Лизе читала.

— А-а,— просияла она. — Понравилось? Это мне одна монашка читала.

— Прочти, прочти.

Она перенесла стул, села возле Егорки и, подняв голову, мгновенно забыв все на свете, кротким голосом повторила слова, которые уже знал Егорка. Глаза ее поголубели.

— Прекрасно! — сказал Егорка.

— Вам обоим в монастырь надо,— засмеялся Владька.

— Неужели ты не чувствуешь?

— Я шучу.

— А ведь это правда, Егорка, ты веришь?

Ему хотелось сказать «да», лишь бы она осталась довольна. Он кивнул головой.

— Сидите, пошла я,— поднялась Меланья Тихоновна. — Ты, Егорка, ненадолго, приезжай назад.

— Если примете...

— А толковый, так примут. Недаром говорят: чему быть крючком, то заворачивается с начала. Умный будешь — не пропадешь. Приезжай, я тебе много кой-чего расскажу, Бог тебя храни.

— И мне пора,— сказал Владька, когда дверь закрылась. — Я благодарю вас, господин Телепнев, за то удовольствие, которое вы доставили мне шестимесячным общением. Позвольте выразить надежду, что наша встреча повторится. Ваша вылазка в народ, путешествие по градам и весям, будет полезна как вам, так и нам, актерам и зрителям. Вы обогатите, господин Телепнев, наше искусство незабываемыми образами современников — и я не побоюсь этого слова,— образами чудотворными, ибо вы любите и кланяетесь всем выжившим из ума старушкам, глухим, косым и горбатым. Прощайте, господин Телепнев. Я кончил.

Владька обнял его, поцеловался, рассказал свежий анекдот, снова обнял. Егорка вышел за ним, проводил до угла.

— Грустно мне с тобой расставаться,— сказал Владька,— не догадались мы посидеть... Но я пропущу сегодня за тебя. Тоску ты навеял, чадо. Выручи меня, я получу на «Мосфильме», сочтемся...

— У меня всего ничего,— смутился Егорка и полез в карман. — Вот все, что с собой. На,— подал Егорка.

— Сойдет. На рубль крышу не построишь, говорит великий русский народ, а для калеки ба-альшая помощь! Чадо! Ты меня спас. Пиши.

4

В 22.00 в хорошем настроении пришли они с Никитой на Казанский вокзал. Никита купил «Вечерку», почитал вслух четвертую рекламную стра-

вицу. Много соблазнов сулила Москва, но жалеть было поздно. Когда-нибудь.

— А вон там кофе пили втроем, помнишь? — показал Никита на высокие столики.

— Ага,— сказал Егорка, думая о своем. — И кто только не едет! Вся Россия, наверно, прошла через этот вокзал. Чувствую дорогу, начинается.

— Обниматься готов?

— Точно. Люблю всех. С ребятами в студии хорошо простился. На улице Ямщикова встретил вчера, не забыл он меня. «Никого не слушайте,— говорит,— тяните свое! Сперва сберечь в себе, а потом донести». Только простились — Рыжова идет. Я на нее уставился, улыбнулась.

— Познакомился?

— С чего бы. Да, Лизе-то позвонить.

— Пойди,— неохотно сказал Никита и вынул из кошелька пятнадцать копеек. — На. Только не балуй ее.

«Что бы сказать ей на прощанье? — думал Егорка, бросая в щелочку монету. — «Это ты? А это я». Пожелать ей что-нибудь». Щелкнуло, и монетка упала.

— Да!

— Лизу, пожалуйста.

— Вы не туда попали!

Трубку бросили, будто плюнули ему в лицо. Нет, он набирал номер правильно, почти вслух повторяя цифры. И по голосу он сразу узнал того, кто подходил к телефону. Но что уж прятаться было, зачем?

— Еще! — открыл дверцу Егорка и протянул руку.

— Что, проглотил? — спросил Никита. — Смотри, сам не подавись.

— Уже.

— Поторопись.

— Одну минуту.

Даже перед Никитой стало стыдно. Неужели, неужели все правда? Он тихо просунул монетку, снял трубку, медленно совал палец в дырочки. На этот раз послышался ее голос.

— Ты-ы? Как я рада!

Так она говорила всегда, и всегда ему было приятно. А если и осенью кто-то стоял за ее спиной в те минуты, когда она ворковала с Егоркой?

— Ты уже на Казанском?

Егорка все молчал.

— Никита с тобой? Я только что вошла, и ты звонишь. Как жалко, что меня нет с вами. Скажи мне что-нибудь...

— До свидания... — сказал наконец Егорка.

— До скорого?

Но он уже не слышал.

— Владька у нее!

— Ничего,— сказал Никита. — Артисту иногда полезно остаться в дураках. В Кургане будет чудесное пиво. Я куплю тебе десять бутылок.

Глава пятая

КРИВОЩЕКОВО

Из-за метелей на Урале поезд «Сибиряк» пришел с опозданием, утром.

На левом берегу Оби, в Кривощекове, летел редкий снежок, по взгорью знакомо лежали в белизне улицы. Сверху спускались к станции трамваи-одновагонки. Десятка ходила в Бугринскую рощу, шестерка через мост к оперному театру, восьмерка на южный поселок. За полгода ничто не нарушилось. Это еще было его Кривощеково.

Город почти со дня основания был велик, и отрезанное рекой Кривощеково тянулось от берега к западу на пятнадцать километров. Во время молодости деда Александра оно было селом, а нынче уже кладбище вынесли к Верх-Туле. Здесь у жителей накапливалась постепенно своя гордость, добивались сла́вы заводы, и дети вырастали в знаменитых все больше отсюда. Весною лились с возвышения в реку и на болото мутные ручьи, под апрельским солнцем сверкала серебристыми островками округа. Но что лучше сибирской зимы? Каникулы, и вон на пустоши за базаром видна елка. Здравствуй, Кривощеково! Прими ненадолго!

Направляясь в Сибирь, Егорка понимал, что ему суждено разрываться между родными, друзьями и знакомыми. Три дня только. У всех понемножку — никому не угодишь, только обидишь.

В его отсутствие мать поменяла квартиру, и шел он уже не к четырехэтажке. Открыла ему дверь домработница Ульяша, низенькая, длинноносая женщина, не вынимавшая изо рта папиросу. Открыла, увидела Егорку и пошла на кухню без всякого удивления, как поступала раньше, когда Егорка прибегал из школы. Ульяша была молчалива, по-молодецки пила водочку и ничего толком делать не умела: ни варить, ни содержать в чистоте комнаты. Для каких целей и откуда приволокла ее мать — неизвестно; кажется, Ульяша только добавляла хлопот. Иногда она до того напивалась с соседкой, что сковородку с картошкой превращала в пепельницу, оставляла открытыми двери и куда-то уходила.

— Здрасьте! — сказал Егорка.

Ульяша выглянула, кивнула и скрылась. Брат пиликал на скрипке, глухая бабушка Настя читала в мягкой постели Тургенева, мать собиралась к вечеру на будапештскую оперу. Найда принесла щенят, дед Александр пишет мемуары, вчера была подписка на «Историю» Соловьева. Эти новости сразу же посыпались на Егорку.

В комнате матери висел над диваном «Вечерний звон» Левитана, на столе, на пианино — фотографии покойного отца, Егорки, брата. В двух шкафах теснились книги. Мать до сих пор вела дневник, и он лежал под нотами.

Интеллигентная, красивая, всегда в изящных одеждах, мать не старела и все так же была занята с утра до ночи. Она много читала, не пропуска-

ла премьер, концертов знаменитых гастролеров, могла и любила поговорить с малым и старым, в деревнях, куда возила она спектакли своего областного театра, ее память обогащалась историями, блокноты — песнями, преданиями, монологами откровенных жителей; она писала рецензии на балеты и пьесы, успевала к пирушкам и капустникам сочинять смешные стишки, ездила в Москву и там тоже везде успевала. Совсем не Егорка.

Егорку она понимала, только недовольна была его ленью, пустыми ожиданиями чего-то. Как и отец, он все делал медленно, но толково, с детства проявил способности к рисованию, к музыке, математике, из пионерского лагеря слал интересные письма, и когда уехал поступать в театральный, она нисколько не волновалась. Так же спокойно отнеслась и к новой затее сына — бросить на время студию. «Смотри, тебе виднее»,— сказала мать несколько строже обычного, и только. Нервных объяснений с родными, как это водится издавна, не предвиделось, и дело было за тем, чтобы скрыть от деда Александра, который жил отдельно у Бугринской рощи.

Ему было восемьдесят лет, сорок он провел в сибирской тайге с теодолитом и фотокамерой. Честность не мешала ему в жизни, он всеми был любим. Никто бы не сказал, что он крестьянин по роду-племени, так интеллигентен был на вид, а по натуре своей мягок и деликатен. Его понятие о долге, его взгляды на общественную пользу были старомодны.

Почти забыл Егорка разговоры в ту зиму на родине. Но чувство дружбы? дороги? надежды быть вместе? Оно оживало постоянно в разные годы. Тысячу раз он покидал студию, звонил с вокзала Лизе, входил в дом, когда мать готовилась на будапештскую оперу, потом бежал к вечеру к Димке на улицу. Горели под крышами номерные фонари, струйками ползли из труб дымки, в белом уборе стояли тополя. С наметенной высоты открывались дворы и огороды со стогами сена. Праздником снилась предстоящая встреча, какие-то свои важные интересы были у них, впереди простиралась жизнь, богатая роскошными подарками, ради которых можно было перенести все, что угодно. Он шел и передавал Димке свои мысли, он уже знал, какой им предстоит разговор и куда они пойдут на ночь, до утра. Он воровски склонился к ставне, настроил глаз в щелочку. Димка сидел в свитере прямо перед окном у стола и читал. Анастасия Степановна шила в дальней комнате.

— Не спите, Дмитрий Сергеевич? — весело сказал Егорка.

Друг услыхал, повернулся к нему, голубые глаза испуганно глядели на Егорку.

— А обещал встречать! — сказал Егорка.

Димка вскочил. Тут же стукнулась дверь в сенках, на крыльцо вылился свет, и они обнялись, бормоча какую-то ерунду, потом замолкли, привыкая к старому общению. За шесть месяцев они много понаписали высоких слов, и постепенно в воображении образ простого и понятного друга заволакивался поэтической дымкой, и когда они теперь стали рядом, живые, обыкновенные, то поначалу устыдились того пафоса, который с глазу на глаз не годится.

— А Никита? — спросил Димка в комнате. — Я вас вчера встречал.

— Занесло нас под Курганом, здрасьте, теть Насть. На-ка.

Егорка протянул Димке перевязанные тома Бунина.

— О, спасибо.

— Есенина хотел купить, денег не было. Послал Никиту мое пальто сдавать, не взяли, на обратном пути его милиция задержала, больно уж подозрительный наш друг, не краденое ли?

— А он способен украсть, он жулик известный.

— Ну,— помогал шутить Димке Егорка. — Сколько парней плачет, всех подруг увел у них. Ворюга. Вопросы есть?

— Получается у тебя,— сказал Димка. — Хорошо под дурачка работаешь. Репетируешь?

— Зачем? С детства дурачок.

Анастасия Степановна улыбалась довольно. Она знала, что теперь сын будет пропадать с Егоркой до тех пор, пока тот не уедет, заведется он с другом с утра, ищи их. С шестого класса она следит за ними, так друг за дружкой и ходят по Кривощекову, и на стадионе, и в драмкружке всегда были вместе. Никита, по ее наблюдениям, был серьезный, а эта троица — сын, Егорка, Антошка — вечно гоготала, перекривляла кого-нибудь.

— Он, Егорка,— сказала она,— как получит от тебя письмо, це-елый день его носит. И раз, смотришь, прочитает, и другой, и песни поет, перед зеркалом рожи строит. За хлебом не пошлешь: «Ответ пишу, ты в наших делах не понимаешь».

— А ремешком, теть Насть, ремешком его.

— Сроду-то не била, а теперь он и отца свалит.

— Била, неправда,— сказал Димка.

— Когда это?

— А тройку в четверти получил. В пятом классе.

— Ну что ж, заслужил. Я со стыда не знала, куда деваться. Всегда отличником и хорошистом был, и на тебе.

— Раздевайся,— сказал Димка другу. — Стоишь как не родной.

Анастасия Степановна засуетилась. Во-первых, Егорка был другом ее сына, во-вторых, гостем, теперь уже дальним. И кроме того, студентом театрального заведения, того тайного царства, куда Димка не попал. Пока друзья мирно препирались, она носила к столу чашки-ложки, хлеб, огурцы и уже обтирала полотенцем бутылочку.

— Антошка приезжает,— сказал Димка. — Пойдем встречать. В институт имени Репина переводится.

— Через Обь пойдем! То ли дело ночь не спать.

— Расскажешь про Астапова.

— Я же тебе писал: родной он! Это все, что я успел схватить. Говорят, очень одинок.

— А эти двое с ним? Кто они?

— Мало их разве, прихлебателей. Шавки какие-нибудь.

— Что он их подпускает?

— Откуда я знаю? Маяковского, думаешь, не опутали.

— Плохо без друзей,— сказал Димка.

— Что ты! Спасибо, что Никита в Москве был. Чуть плохо — к нему. От вас с Антошкой письмо придет — праздник!

Димка глазами выразил свое согласие. Он-то ждал писем пуще всех. В пять часов вечера он встречал на углу почтальона одним и тем же вопросом: «Мне ничего нет?»

— Садитесь, ребята,— позвала Анастасия Степановна.

— Не надо бы, теть Насть? — поколебался Егорка. — Еще не научились пить-то.

— И в Москве держишься?

— Так, праздник если, с девчонками. Никите идет, а я стопку — и целоваться ко всем лезу. И спа-ать хочется сразу.

— Наш такой же. А девочки что ж, тоже пьют?

— Бывает. Наташку силой не заставишь,— повернулся он к Димке. — Чудная! Смешна-ая! Я тебе писал. Влюбилась.

— Давайте понемножку,— сказала Анастасия Степановна,— теперь вы не маленькие, можно.

— А все такие же глупые, теть Насть.

— Поумнеете, дай бог. Я на своего гляжу: пока не прибавляется, ля-ля, ля-ля! Когда же мы тебя в кино увидим, Егорка? Тут слухи, будто скоро.

— Я, теть Насть, убегаю из студии.

— Чего? Э, наверно, выгнали, стыдно признаться. За какие же делишки? И куда ж ты?

— Посмотрю.

— Не смани нашего еще раз! Уж больно ненадежное дело. У нас на улице один был в артистах, разочаровался, и как же: бедный был, с утра до ночи вертелся там, и нигде его не видно, не слышно. Пить научился, с женщинами гулять. Жизнь вольная. Как быть таким артистом, лучше на завод идти. Твоя мама довольна, Егорка? Я слышу по нашему радио: то в Барабинске выступают они, то в Колывани, режиссер Телепнева...

— У нас вся родня заводная, не сидели на месте. Отец ведь в оперном пел. Деды мои тоже... Эндак вот, эндак вот, как соседка ваша говорит. Дед с бабкой (по матери) из Москвы, интеллигенция, старого воспитания. Гулять в Тимирязевской роще им наскучило, они книжки связали и поехали на освоение Сибири, незадолго тут мост построили через Обь. И остались навсегда. Бабка лечила, в тиф в самое пекло лезла, бесстрашная, оглохла теперь. Деды,— с гордостью сказал Егорка,— и по матери, и по отцу — чудесные. Первого я не застал, он умер молодым от простуды. Еще при царе, последний год.

— Так они из богатых?

— В общем, бабка профессорская дочка, это по матери-то. А дед — чуть ли не из знатного рода, ну там остатки уже, с польской кровью немного. Но честный... до... до... бог знает чего. И погубил себя из-за честности, свое дело превыше всего. Святая святых русского интеллигента: сделать свою работу на совесть. Дед по отцу такой же.

— Я ж у них была! — похвалилась Анастасия Степановна. — Они так хорошо меня встретили, как родную, бутылочку красного брали. Поговорили про вас, потом Александр Александрович меня сфотографировал, потом стали, как называется, чай пить. Бабушка наставила как на великую гулянку, уж больно довольны, что я пришла. Дед долг уважения знает, снял с вешалки мое пальто, стал меня одевать, как за молоденькой ухаживает. А любят они тебя, слово скажут — и в слезы.

— Убежал вот. К другу прибежал.

— Низко тебе кланяюсь,— сказал Димка.

— Друзья — это неплохо,— сказала Анастасия Степановна,— друзья всегда найдутся, а родные одни.

— Да и друзья одни, теть Насть. Я без них, без него, без Никиты, пропаду.

И он не лгал. Так он думал и позднее.

Потом в Суздале, натосковавшись без друзей, ни о чем он столь не мечтал, как о встрече. Стоял январь, съемки растягивались до тепла, и он звал Димку к себе, в Суздаль, где все говорило сердцу о том, что они любили. «Вечная несправедливость судьбы! — горевал он. — Я в Суздале, а Димки со мной нет. В самый бы раз пожить вместе. Не приедет. Не то что раньше».

Прощались тогда ненадолго и обманулись.

Глава шестая

ВЕЗДЕ ЛЮДИ

Четыре дня спустя Егорка уже был на Дону. Поля поднимались от снега, блестели на солнышке. Вез его разудалый шофер Ванюшка. В Ольховом Рогу перекусили в столовой, погутарили с цыганами и пустились по степному простору дальше.

В одиннадцать часов ночи вышел Егорка на казачий баз без шапки, задрал голову кверху, стоял на холоде, покачиваясь. Луна морозно светила с окраины. Дон лежал под горою.

«Расхороши! Расхороши места кругом! — хмельно шептал Егорка. — И поют у Ванюшки здорово. Надо обязательно Димке написать. На именины попал, везет Егору. Голова кружится — отчего? От чувства, от вина? Накормили люди добрые, напоили, спать уложат. Ванюшка заботился в дороге, укутывал меня, веселил, мосты зовет строить. Лихой. Пьяный, Егор, пьяный, первый раз в жизни по-настоящему хлебнул, два стакана... За счастьем поехал... Народ посмотреть...

Снежок летит... Ишь Ванюшка вытягивает... «Да на зава-алаах мы стояли как...» Ведь и не взять коленце своим тонким музыкальным слухом... Пять лет учили идиота... «Да на зава-алах мы стояли как сте-ена-а, да пуля сыпалась, летела как пчела, пуля сыпалась, летела как пчела, да пуля ранила донского казака...» Вот. Казаки! Гришка Мелехов! Небось тоже в Ольховом Рогу был. Ага, вспоминаю, был Гришка. Везде он тут был. Куда мне до Гришки, жидок очень. А ведь сознайся, Егор, скотина, из-за него ты поехал на Дон? Точно. Из-за него. То б в Казахстан подался, а из-за Гришки — на Дон. Посмотреть, песни послушать. Великая книга! Спасибо Ванюшке, он мне сразу Дон расписал. И покорил. И напоил, напои-ил Егора. Спать тянет...»

Счастлив он был, и вино выпускало из души то горячее, что копилось в нем последние месяцы. От вина еще ласковее и добрее он стал.

«Никита сейчас спит... — думал Егорка. — А Димок тоже, по-нашему четвертый час утра уже... И Антошка в Ленинграде. И Наташа в Коломенском. Наташа может и не спать еще. Что делает? Сердится? Ната-ашка! Завтра напишу, лапушка, не ругайся, не отчаивайся там в Москве. Ребята в общежитии спят. А я посреди степи... Великой, черт возьми! В кузницу пойду, там старик, Ванюшка сказал — его брат в «Тихом Доне» описан. Везде люди живут! Везде им счастья хочется. Пить не умею... весной мосты строить... да на зава-ала-ах... да мы стояли как сте-ена... неужели я дурак? неужели не стану человеком? Люблю людей, а они меня? И они вроде. Облаками облачуся, небесами покроюся... — чудно! чудно!»

«Ну вот, Димок,— писал Егорка в конце мая,— дождался я своего часа, о котором мечтал на Трифоновке в Москве. Весна, ветер, рейд. Закат только что угас. Река, огни. Дежурю. Походил, поковырялся, подкачал маслица, намерзся на ветру, а в каюте у нас, в дежурке, тепло! Лампочка слабенькая, полушубок на железной койке, под койкой две электропечки. На мне свитер, драные штаны в мазуте, вахтенного Васьки пимы с литыми калошами. Холодно еще. Движок стучит, на полу за тумбочкой ружье, гитара, балалайка, дверь шваброй приперта. На тумбочке зеркало, полбуханки хлеба и 200 граммов сахару, водички при нужде из движка наберем! Приходи чай пить! Какой-то добрый малый оставил на полу пачку «Примы», да не тянет. Поплаваю — потом мосты строить с Ванюшкой, тут неподалеку, кессонщиком пойду. Проехал пол-России, видел вербованных, нашего брата тоже немало едет на стройки во все концы, и замечательно, хотя у меня ведь немножко (или совсем) другая внутренняя необходимость. «Былое и думы» со мной, Лермонтов. Иногда так вспомню что-нибудь московское, закипит душа. Боже, сколько людей, и все такие разные! И жить, и любить, и знать их хочется! «Как можно описывать внешнюю жизнь человека: что он пьет, ест, ходит гулять,— когда в человеке самое важное — это его духовная жизнь». Толстой сказал, Лев Николаевич. Запомни. А нам пока сказать нечего. Да и будет ли? Будет ли что сказать потом? Неужели зря мы проведем дни, недели, годы? И за море летала, а вороной вернулась? Когда мы встретимся? И какими? Обнимаю, твой Егор».

Меж тем летела наша младость...

Е. А. Баратынский

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГДЕ ТЫ? ЧТО С ТОБОЙ?

Глава первая

СЛЕПОЙ БЕЛЫЙ КОТ

1

Где наши друзья? почему они молчат? Когда друг не пишет, нам кажется, что он обижается либо слишком счастливо живет! Что же случилось? Ни слова от друга: ни поздравления к празднику, ни банального привета. Что там вдали, чем занята его душа — никому не известно...

2

Женщина была очень ласкова, надоесть не успела, но Антошка легко простился с нею и поспешил из Астрахани на юг к Дмитрию. После пересадки в Кавказской он увидел ночью во сне, будто прозевал свою станцию, и до того расстроился, что проснулся. На его счастье, был Краснодар, и поезд еще стоял. Он прыгнул с полки, кое-как заправил рубашку, обулся и выскочил с портфелем на перрон. Длинный состав тронулся к Новороссийску, унося в шестом вагоне какую-то частичку вчерашней жизни.

Краснодар славился красавицами, но напрасно было бы мечтать о страстной короткой любви, на которую Антошка всегда настраивался в путешествиях. Он погулял по улицам и вернулся на автовокзал купить билет до станицы.

«Снилось ли ему что-нибудь? — думал он по дороге. — Есть ли предчувствие?»

Увы, друга не было на месте. Антошка даже позлился немного, когда хозяйка, у которой стоял на квартире Дмитрий, седая и большеглазая старуха, баба Оля (или Боля — по письмам) сказала ему во дворе с круглым белым колодцем:

— А Дима в городе.

В комнате с окошком на обрыв и на море Антошка с вниманием осмотрел холостяцкий быт Дмитрия. Друг жил скромно. Кроме стола, табуреток, кровати и полки с книгами, ничего и не было. В чашке с недопитым чаем умирала пчела. По стенам наколоты были репродукции с картин Саврасова, Корреджо, Тициана да фотографии станицы.

«Где же он? Надо же! — взял и уехал. И далеко забрался от дома... Вчетвером бы тут. Вот-вот женимся, так и не успеем пожить вместе».

На закате он кинул на плечо полотенце и по краешку обрыва пошел в сторону Лысой горы. Быстро отыскался спуск к воде. Там он купался дотемна, на мгновение пожелал, чтобы птицей перелетела к нему из Астрахани натурщица, сожгла его внезапное чувство и снова стала далекой, чужой и ненужной. Накануне отъезда он едва не предложил ей поехать вместе, но, слава богу, одумался, понял, что все тогда будет не то.

3

И пришлось ему коротать вечер, а потом и ночь с чужими людьми.

В хате он включил немецкий транзистор, распечатал бутылку коньяку, выпил немножко и растянулся на кровати. «Любовь небесная и земная» Тициана изображала венецианку в наряде и обнаженную богиню... Обе восседали на мраморном саркофаге и клонились друг к другу. Венецианка остыла, богиня еще в сетях неги и эроса. Он бы, кажется, перебегал от мудрой к беспечной и падал обеим в ноги.

Тихо вошла Боля.

— Я принесла вам молока на ночь.

— Спасибо.

— Вы, верно, и не обедали?

— Подожду Димку.

— Ради бога, скажите хоть вы ему: нехорошо опускать волосы на глаза. У него чудесный большой лоб.

— Пусть. Меньше будут любить женщины.

— Некрасиво. В былые годы мой папа, если ко мне приходили подруги и он, не дай бог, был в рубашке-жилетке, тут же закрывался и спешил что-нибудь надеть. Я не помню, чтобы у него пуговичка на воротничке была расстегнута. Я Диму всегда ругаю: «Причешитесь вы, уберите чуб!» Вы видели «Войну и мир»? Графиня обнимает сына, гляжу на руки актрисы — это руки прачки! У меня стали такие же от стирки. — Она, словно чтобы вспомнить свои руки, вытянула их перед собой, повернула ладонями вниз и опять огорчилась. — К моей маме, помню, ходила дочь знаменитой Чарской,— так у нее были руки! Такие руки приятно целовать мужчине.

— А Чарская писала бульварные романы?

— Ну, извините, пожалуйста! У нее были книги для юношества, мы зачитывались. «Записки институтки», «Княжна Джаваха».

— Как вы попали в Харбин?

— Это было давно. Мой папа служил инженером на КВЖД.

— А когда вы вернулись?

— В пятьдесят шестом году.

— Интересно,— сказал Антошка. Боля для него стала как-то занятней, чуть-чуть даже не русской, другой. — Вы присядьте.

— Я там читаю. Мой белый кот, бедняга, ушел искать место первой любви. Я уж детям подарок обещала,— кто найдет. Боюсь, убьют, он слепой и глухой.

— Когда же Димка приедет?

— Не ждите. Завтра, может. У вас хороший друг. Но как его люди обманывают! Нельзя быть таким доверчивым. Каждому что-то надо, идут, жалуются, просят, а Дима горячий, бежит за них заступаться. Один раз почувствуют, что ты добрый,— уже не слезут.

В дверь постучали, и на пороге вырос мужчина в очках.

Клубного режиссера звали Павлом Алексеевичем. Сорока с лишним лет, тщательно выбритый, в рубашке с грязным воротничком, он никому бы не дал уснуть, увлекая своей экспансивностью и страстью перемалывать театральные новости.

Серая затасканная бабочка на шее Павла Алексеевича уже не вызывала у Антошки улыбки. Было тепло, Антошка сидел по пояс голый и курил нещадно.

— Закуска-то у нас кончилась. Берите хлеб. За ваш Ленинград. Я не чокаюсь,— поднял Антошка свою рюмку и выпил.

— Я выпью, мне нехорошо,— сказал Павел Алексеевич, покручивая в пальцах граненый стакан. — В самодеятельности банкеты в моде; выступили — уже накрывают, тащат коньяк, водку, рыбу, разносолы... А я равнодушен. Я позволяю себе только в Ленинграде. Я там живу! — Он мечтательно молчал несколько минут. — В сорок лет я поехал поступать в институт искусств. Я живу там! Один месяц в году. Виноват, два!

Он не смотрел на Антошку, вертел стакан с коньяком.

— Я когда-нибудь напишу о себе. Это уже ре-

шено. Есть и эпиграф, как раз ко мне. — Он улыбнулся. — Рабле.

— Ну...

— «Они не могли, когда хотели, потому что не хотели, когда могли». А? Великолепно! Рабле, а? «...потому что не хотели, когда могли»,— повторил он. — Ведь верно, а? Могли, а не хотели. Про меня! Не я, не я нашел, я Рабле не читал. Когда читать? Дима мне сказал. Я рот открыл: про меня. Лучше обо мне не скажешь.

Тут он поднял стакан и выпил.

— Вам сколько лет? — спросил он.

— Двадцать пять.

— Еще не поздно. А у меня все, у меня уже все! Молодости-то нет, а? И зрелости вроде тоже. Я несостоявшийся человек.

— Почему?

— Сейчас расскажу. Может, нехорошо жаловаться,— я здоров, у меня шестеро детей, все учатся...

— Сколько? — перестал курить Антошка.

— Шестеро. Я отец-героиня.

— Да вы погубили себя!

— Все может быть. У меня ничего нет, но я не побираюсь. Кручусь. Жду, когда старшего заберут в армию. Я актер! — Он умоляюще прижал руки к сердцу. — Плохой, плохой, да, но актер.

Павел Алексеевич помолчал. Антошка вынес пепельницу с окурками, подвинул к гостю стакан и налил. Павел Алексеевич отклонился назад, отказываясь; достал платочек, медленно вытер лоб, снял очки.

— Начать с того,— вспомнил он свою больную тему,— что меня надо посадить на скамейку против Пушкинского театра в Ленинграде. Сидит человек в очках, лысеющий, и смотрит туда, где бы хотел быть хотя бы никем. И вспоминает. Я старый вундеркинд. Застывший. Многим в детстве пророчат большое будущее. Меня отдали в художественный кружок; я походил и бросил: стало неинтересно, потому что у меня получалось лучше, чем у всех. Мне купили балалайку, я без нот мигом выучил все песни. Я бро-осил! Я запоминал наизусть страницы прозы, стихи на домашних вечерах щелкал как сёмечки. Ответы мои взрослым были остроумны: какой мальчик! Учительница попросила нас написать что-нибудь по желанию. Я сочинил повесть «Отважный», ее читали шесть уроков подряд. Ну, некоторые писали: «Летом я гостил у бабушки в деревне, ходил в лес...» Просто. «Это плохо,— разбирает учительница. — Это хорошо. Это отлично. А вот, дети, как надо писать. Павлик, прочти». Выхожу к доске. У-у, ребята поднялись, ого как пишет: у него «сквозь приоткрытую дверь луч света падал на ржавое перо». Ого. Меня послали выпускать стенгазету, я писал стихи, выступал и возненавидел свои способности, стал портиться. Учительница сама покупала мне билеты на встречи с знаменитыми людьми — я видел Алексея Толстого, Вересаева, молодого Черкасова. Наконец еще новость: у меня прорезался голос, я пою. «О Павлик, у тебя такой голос!» У меня был драматический тенор, я потом после армии пел в ансамбле. Я полюбил театр и решил: буду артистом! Оперу обожал! Помнил все арии, сейчас уже многое забыл, я годами ничего не слушаю, так иногда поют по радио, откуда? — не знаю. Павлик, Павлик,— носились вокруг меня. Холили все. Еще в постели — уже бегут: «Павлик, это тебе. Ты вчера «наполеон» не хотел есть, тебе, может, «корзиночку»? Ленинград, интеллигентная родня. Мечта моя — жить на старости там. Две тети мои несут в школу под дождем галоши: мальчик простудится. И даже теперь приеду, попрощаюсь, они на лестницу выползут, мне за сорок, а они кричат как мальчику: «Павлик, не попади под трамвай, осторожнее! шею закутывай!» Золотое детство. Кумир в семье и в школе. И что же? Я никто! Ни-икто!

— Вас это расстраивает?

— А как же! Отбросим ханжество: человек не бывает счастлив, если что-то у него не вышло. У одного карьера, у другого — семейное, у того — здоровье. Он переживает, он уязвлен. Мы, когда читаем книги, там одни философские вопросы, мораль, идеалы, а самое-то главное для человека — его собственная удача, его место среди людей. Оно и самое простое и великое для одного-то человека, а? Разве неправда? Я сижу в городе на спектакле «Дни нашей жизни», по пьесе Леонида Андреева, на плохом спектакле, сижу и плачу. Не только от того, что меня трогает текст, не только. Так вот: ...сцена ...утраченные грезы...

— У вас шестеро детей...

— И тем не менее. Это сложно. И такая деталь: юношей я лежал в госпитале, в войну. Меня положили в клубе *около* сцены. Около! Не на сцене, а рядышком. Хуже нет быть около чего-то в жизни. Никто не любит, когда его обгоняют. Будут доказывать вам, что это не так,— наплюйте тому в глаза, либо он ханжа, либо всего добился. На соперничестве и тщеславии стоит жизнь.

— Гм... — мотнул головой Антошка.

— Что бы я дал — только появиться на сцене. Даже в этой нашей несчастной оперетке.

— Да зачем она вам? В таком возрасте дрыгать ногами?

— Сам не знаю.

— А женщин вы любите? — спросил Антошка.

— Негде любить,— ухмыльнулся Павел Алексеевич. — Город маленький, все узнают. Прятаться по закоулкам в моем возрасте стыдно и противно.

— Чем опасней, тем слаще.

— Вы еще не спите? Нету Димы?

Они оглянулись. Боля дымила сигареткой на пороге.

— Кто с вами? А-а,— разглядела она,— Павел Алексеевич!

— Боля, здравствуйте,— почтительно подошел Павел Алексеевич и с чувством поцеловал ручку.

— Студент... Я вас ждала. И с удовольствием вас послушаю. Все хорошо?

— Немецкий!

— Не выгонят!

— Попрошу Диму, поедем в институт, у Вани знакомых полно. Я иногда в отчаянье.

— Вам сорок два года. Посочувствуют. Ну, расскажите же!

Каждый раз об экзаменах Павел Алексеевич докладывал всюду: в хате у Дмитрия, дома, в клубе, в Краснодаре. Там, в Ленинграде, он заискивал и трепетал, здесь был именинником: «Извините, но я актер! плохой, да, плохой, но актер. У нас на театре...» Только потому, что он прозябал в провинции и выступал перед колхозниками, самый пустой актеришко вызывал в нем поклонение. Как бы ни были стоптаны каблуки его туфель и грязен воротничок рубашки, он не мог отказать себе в удовольствии нацепить бабочку. Видели бы его знакомые! Нет, нет, он не просто зритель, нет, нет, простите. Надо вот так идти между рядами, вот так любезно, «по-нашему, истинно по-питерски» благодарить за программку, вот так оглядывать ложи и ярусы: это вы, публика, а это мы, актеры.

— Устал,— извинялся он перед Болей,— страшно! Я занимался в Публичке по двенадцать часов. Память работала безотказно. Комедия масок, комедия дель-арте, реформация театра. За музыку я не боялся. Так,— сложил он ладони. — Я зашел, сел. Передо мной молодой человек. Высокий. Красивый. Наглый! Тема: Глинка, Григ. Встал самоуверенно: «Да, Глинка... Ну, о Глинке можно говорит долго».

— Неужели?

— Не вру. Красивый, наглый! Современный. Я что, я сижу, прячу свои туфли. Но ленинградцы молодцы. Ну, это ленинградцы... — восхитился он, и Боля поклоном головы разделила его мнение. — Вежливо, тактично: «Нет... простите... конкретней... вы, наверное, переутомились, посидите пока...» Кстати, Дима правильно мне говорил про статью-рецензию: «казенщина». Забраковали.

— Когда же вы, Павел Алексеевич, почитаете свою пьесу?

— Боля, я культработник. На мне все: концерты, отчеты, и ведра, и щетки. Какая пьеса?

— А у меня кот пропал.

— Полюбил барышню.

— Он стар. Он пятый год слепой и глухой и однако находит дорогу к тому месту, где его поцарапали и контузили за подругу.

— Я бы тоже нашел,— сказал Антошка.

— Но не царапают? — хихикнул Павел Алексеевич.

— Не за кого.

— Ничего не поделаешь,— продолжала Боля свое,— ходит туда, ищет. Убьют мальчишки.

— Все мы ищем вчерашний день,— сказал Павел Алексеевич и встал.

Антон молча протянул ему рюмку с коньяком.

— Нет. Я буду грустным.

— Отчего бы вам, Павел Алексеевич, быть грустным? Посмотрите на меня,— сказала Боля, отводя руку с мундштуком.

— Вы очень напоминаете мне моих тетушек. Удивляюсь: столько пережить и ничего не растратить.

— Кто знает... — вздохнула Боля.

— Я барин, каюсь. Я тут хожу без рубля в кармане, но в городе я езжу только на такси, обедаю в дорогом ресторане, в театре сижу у авансцены, мне приятно, чтобы все знали, как я люблю красивую жизнь. Каюсь! Три-четыре дня я живу в свое удовольствие, пью шампанское, кучу,— живу, живу! Кому не хочется?

— Доучивайтесь и уезжайте-ка в Ленинград.

— Да, мне опротивело среди мужиков. Грубо, не тонко. «Чи-иго-оо? — передразнил он. — А ну подви-инь-ся!» А! У них рассуждения: «Если с поля ничего не принесу, меня собака во двор не пустит».

— Грубияны везде есть,— сказала Боля. — Мы из Харбина ехали очень долго. Перед Уралом наш вагон отцепили, и мы пошли в город. Я зашла в магазин, спрашиваю: «Спички есть?» — «А где вы были на прошлой неделе?» — грубо так. И молодая женщина, милая на вид. «На прошлой неделе,— говорю,— я была в Китае». — «Подумаешь! Очки надела, а совести нет». Вы не поверите, мне так стало смешно: при чем здесь очки?!

— Ха-ха! — засмеялся Антошка.

— Я перестаю быть интеллигентом,— сказал Павел Алексеевич. — Раньше куда ни приду: «Будьте любезны, не угодно ли, я был бы признателен». И никакого ко мне внимания! А сейчас вхожу-у: «Приветствую вас! Ну ка-ак? ну что-о? Мне на-адо, я хочу-у! вы обязаны!!» Другое отношение. Для робкого и воспитанного все двери закрыты.

— Неужели? Но как же я век прожила — и ничего?

— В Харбине?

— Зачем в Харбине! Я здесь уже несколько лет живу. И вы не думайте, пожалуйста, будто в Харбине я жила среди ангелов и сплошь добрых благовоспитанных людей. Ничуть.

— Вы сегодняшней жизни не знаете.

— Может быть,— уступила Боля.

— Время идет, поэты пишут стихи, учителя воспитывают. А что толку? Мужику нужна симфония? Я, говорит, лучше спляшу.

— А вы сами? Зачем вы, режиссер, на ферме смешите скабрезными репризами?

— Иного не поймут.

— Тогда нечего спрашивать, если сами их развращаете, суете их в помои, презираете, ставите себя выше...

— Мы в разговоре далеко зайдем, Боля...

— Уже поздно,— сказала она. — Ложитесь, друзья, спать. Закрывайтесь.

— У Боли привычка идеализировать, обо всем и вся судить по себе,— сказал Павел Алексеевич. — Она отлично понимает, чем я возмущаюсь, но всегда противоречит мне.

— Не хочет прослыть недостаточной патриоткой, наверно.

— Как точно! — воскликнул Павел Алексеевич. — Я тоже об этом думал, но я ее люблю и стыдился признаться в этом. Именно, именно.

— Уже ночь,— сказал Антон. — Выйдем к морю?

— С удовольствием. Может, встретим слепого белого кота?

— Да, но не Димку. И где же он шляется там?

— И мне он нужен. Без него я немецкий не сдам.

Глава вторая

ВЕДЬМИНЫ МЕТЛЫ

1

Вдали от станицы, в доме возле городского сада, не спал в эту ночь и Дмитрий. Продребезжал на повороте последний трамвай, стихло во дворе, а Дмитрий, уткнувшись в подушку, произносил монолог.

«Совесть свою потеряли! — стыдил он Чугунова. — А чужая совесть мешает вам жить. Значит, что? Растоптать ее! Вам жаль тупиц, проходимцев, конъюнктурщиков. И делаете вид, будто ничего не знаете. Да люди-то писали! Есть у вас сердце? Нету его. И не было никогда. Вы посылаете инспектора и заранее даете ему установку, с какой стороны зайти и как замять дело. Замять! скрыть! придать значение склоки. А люди страдают... Когда я приехал, люди стали ходить ко мне. Почему? Спросите у них. Я вскакивал и бежал защищать. Вас окружили бесталанные «друзья», которым поневоле стало выгодно, чтобы в культуре все было примитивно, серо, скучно! чтобы никто не переступил их тупость! чем они будут зарабатывать себе на жизнь, если отнять у них право на тупость? — спрашивал он у Чугунова. — Все умное гибельно для них... Я могу говорить то, что думаю, говорить вслух, я ведь пришел к вам с открытой душой, мне лично ничего не надо. Без конца, изо дня в день хочется мне защищать честность! Почему же вы встречаете меня в штыки?.. — Дмитрий перевернулся, открыл глаза. Ночь, и он так одинок! и речь его вдруг бессильно погасла в тишине. И ниоткуда помощи, и все зря, зря. — В Москву напишу... поеду... добьюсь! Не может такой человек заниматься культурой. Спать, спать...»

А никак не спалось. Он потихоньку от Вани одевался, выходил вниз, стоял у подъезда и курил. От старого сада веяло таким покоем и благостью весеннего расцвета, что было еще обидней тратить свои молодые дни на борьбу с проходимцами.

В свои двадцать пять лет Дмитрий впервые столкнулся с несправедливостью, которую не мог побороть. Какой раньше был у него повод для выводов? Мизерный, с чужого опыта. Четыре года в институте он жил припеваючи, на работу в скромный уголок поехал с радостью, строил в голове идеальные планы своей деятельности. Ну, не совсем уж маниловские, кое-какую тщету человеческую подметил давно, но никогда не думал, что на доказательство простейшей общественной пользы понадобятся такие кошмарные усилия.

«В Москву, в Москву писать...» — укладывался он снова в постель и утешался, что в Москве кто-то только и ждет его, чтобы заступиться. На стене часы пробили четыре. Ваня спал как убитый.

«Хорошо ему... Спать... спать...»

Дмитрий не замечал, какие удивительные превращения происходили с ним за ночь. Он то проклинал, то просил; был и героем, и жалким ребенком, и судьей, и паникером. Крики сменялись задушевной беседой, верой в примеры из жизни великих людей. О, как заслоняли его от нищих духом величайшие люди всех веков! как подпирали его своими подвигами, мыслями, страданием! Их деяния были столь прекрасны, а речь Дмитрия до того заразительна, что неприступный Чугунов ему покорялся и сам осуждал разных халтурщиков, и тогда Дмитрий выдумывал ему прощение, оставлял его на прежнем месте... И, совершенно счастливый, с улыбкой заснул.

Пробудился от острого запаха дыма. Ваня сидел за круглым столом с сигаретой во рту и что-то писал. Без рубашки он был еще тоньше, костлявее. Женщинам нравились его большие темные глаза и быстрая красивая улыбка.

— Пойдешь?

— Нет, не пойду. Домой!

— Послушай-ка! — Ваня торопливо подсел к роялю с нотным листом. — Утром пришло...

Как...
Как нас весна закружила,
Улица, улица, восстанови
Прежних тропинок следы...

— Ничего?

— Мелодия есть. Чуть больше самостоятельности, и...

— Я отделаю. На радио просили.

Дмитрий пропел, разводил руки и закрывал глаза, подражая местным артистам.

— Почему я не музыкант? Ей-богу, у меня в башке часто возникают свои мелодии. Я бы писал что-нибудь р-романсовое. «Как нас весна закружила!» — заорал он. — Молодец. Общаешься со мной, и сразу толк.

Ваня улыбнулся.

— Если я умру и пропадут мои песни, ты один будешь помнить. И жена.

— Приезжай к нам в клуб. Сцена хорошая, устроим авторский вечер. Накроем стол, рыбкой угостим.

— Осенью. А если тебя снимут?

— За что? Я скорей сниму. Ставь кофе.

Вчера они пили целый вечер, Дмитрий стучал пальцем по столу, рассказывал, грозил, учил:

«Пойми, пианиссимо (так он его дразнил), нельзя молчать, когда обижают людей!»

— Не так уж трудно жить, если на все закрывать глаза,— сказал он сейчас после чашечки кофе.

— Не будем... помолчи.

Этот Ванин жест и старание казаться взрослее только подчеркивали, что он еще мальчик.

— Не любят они тебя, Дима. Я присутствовал при разговорах.

— За что же им меня любить? Кое о ком слишком много знаю. Я прямо говорю: такой-то негодяй. А они, оказывается, вместе с Чугуновым пьют и по бабам ходят. Как же я повалю эту стену?

— Не повалишь!

— Все, казалось бы, против них: законы, указы, статьи в газетах, понятия о долге. А они... И все прощается: бабы, пьянки, меркантильные интересы. Кто, почему? Где ты взял эту кокотку?

— Привезли из Швеции.

— Как писал мне когда-то Антошка: лишь бы у нее была мордочка с обложки американского солдатского журнала. А я люблю женщин кротких.

— А я страстных!

— Сиде-ел бы уж! Слушай, а что, если я все же напишу...

— Ты у Павла Алексеевича спроси. У него опыт.

— Не ерничай... Что такое опыт? Осторожность. Бегает на цырлах перед каждым.

— «Я актер! Плохой, но актер!»

— Ага. Из погорелого театра. Он шесть кварталов гонится за народным артистом. В Ленинграде. В сорок-то два года! Как сядет с Болей во дворе, дотемна сверчит. Я сам слушаю — интересно. Но стержня в нем нет. Какой бы пустой фильм ни показывали, идет! Ты лучше книжку почитай! Восторгается: «Ка-ак он это сказал! ка-ак он это...» И я знаешь что думаю? — Дмитрий серьезно посмотрел на Ваню. — И Чугунов и некоторые твои дружки не имеют в сердце никакой идеи.

Ваня недоверчиво слушал и даже смутился.

— Живут потребительскими интересами. Существуют. А не дураки: хочется, чтобы и деньги большие были, и уважение. Нет, что-то уж одно: или деньги, или уважение.

— Такой ты скучнее.

— Нетерпимее! За рюмкой водки болтать о «недостатках» — какое это гражданство? На это способен каждый. Нет, ты ночей не поспи, измучься... Некогда быть пустым. Без похвальбы, Ваня: я вырос за шесть месяцев. У меня сейчас прекрасное настроение.

— С чего бы?

— Я верю!.. У меня дома записано, сейчас не вспомню, кто сказал: «Надо, чтобы о чем-то (о ком-то) болело сердце. Без этого жизнь пуста». Чудесно.

— В филармонии проворовались. Читал в газете? Скандал!

— Читал... Я читал, и какая-то уверенность зажглась. Вспомнились школьные тетрадки. На обложках печатались назидания: пионер, будь правдивым и честным! И думалось тогда, что за правду и честность все легко почитают человека. А-ах, схожу все-таки! — встал Дмитрий. — Ка-ак были дни та-ра-ра-ра-аа, как мы с тобой закружи-и-иились.

— Мне очень приятно, что тебе понравилось.

— Я дорожу хорошим. То я думал о дорогах, о любви, о книгах, всегда возвышенно, а тут стоял в четыре утра напротив сада, и одно на уме: морду бить! А есть где-то под небесами, в полях, во всей жизни великое, бессмертное, чудесное... На что уходят силы?

— Я тебе чем-нибудь помогу.

— Чем ты мне поможешь... Как были дни та-ра-ра-ра-ааа,— громко запел снова Дмитрий,— как мы с тобой... Пора! Я не успею на автобус...

— Подожди,— сказал Ваня. — Я побреюсь.

— Я постою на улице.

На улице было тепло, солнечно. Да, сколько ушло благословенных невозвратных дней. Еще, кажется, недавно приходил он в клуб на репетиции, объяснял, показывал, наслаждался. А потом стали его вызывать в исполком, усаживать в кресло, которое словно нарочно изготовлено пониже того, на котором восседал сам Чугунов. Отчитывал, отчитывал, отчитывал. Побыл, и назад, в станицу. Тошно представить, как сойдешь в станице на площади и горе обволокет душу: вернулся ни с чем!

«Я же говорил вам,— вспыхивал Дмитрий, воображая себя в кабинете Чугунова,— я же говорил, что они живут для себя. Только. Ничто их больше не волнует. Я затеял склоку,— я-я? Да вы что! Ведь главное для них: волокемся помаленьку — ну и ладно! Не надо, не надо предложений, это лишние хлопоты, думать — зачем? О, будь я проклят! — сказал Дмитрий себе. — Так я с ума сойду...»

— С кем ты разговариваешь? — испугал его Ваня и улыбнулся ласково, быстро.

— Свергаю. А ты нарядился, решил погужеваться, пока жена на гастролях?

— Перестань... Несерьезно...

У зеленых ворот, поблизости от краеведческого музея, Ваня остался ждать Дмитрия. Но терпения у него никогда не было. Покурив, он направился в ресторан гостиницы «Юг». Там от вешалки вела наверх лесенка в уютный буфет. В обед и вечером в узком зальчике можно было найти за столиками и поэта, и артиста оперетты, и адвоката, и художника. Кое-кто всегда мог рассчитывать на стопочку в долг.

Дмитрий появился через сорок минут.

— Что?

— Тьма,— махнул рукой Дмитрий.

— Что же он тебе сказал?

— На сей раз он просто не узнал меня. Шел по коридору навстречу и не узнал. Долго трени-

ровался не узнавать когда надо. Нижнюю губу отвесил.

— Выпей.

— Угощаешь? Не хочу. Я тебя побраню, можно?

— Я знаю, знаю заранее... — засмеялся Ваня.

— Жалею твои золотые пальцы.

— Спасибо, спасибо,— коснулся рукой Ваня,— обещаю...

— Вот туда, за зеленые ворота, твои новенькие дружки носят пошлые сценарии для колхозных агитбригад. За тридцать страниц галиматьи им отваливают по шестьсот рублей чистенькими. Из кармана того самого народа, который они презирают, ты слыхал их разговоры?

— Не раз.

— На их слова ты написал музыку. О чем ты думал? Это что? А как называются их сценарии?! «Мы свиноводы края родного». Ты вдумайся! И кто же позорит общество: я или они?

— Я их презираю, они мне противны.

— Не лги, Ваня.

Ваня слушал и за кем-то следил. Дмитрий обернулся. Возле прилавка буфетчицы крутился Лолий. Он уже плутовато оглядел зальчик и теперь думал, как бы поскорее выпить и смыться. Буфетчица еще не налила, а тоненькая ручка его уже дрожала, тянулась к стопке. Ваня сам подошел к нему. Лолий изумленно, будто до того не замечал, протянул руку, даже поцеловал. «Я тебя искал вчера, мы должны записаться на радио»,— расслышал Дмитрий. Такая шельма!

— Это кто с тобой?

— Ну, Лолий,— засмеялся Ваня,— перестань, я тебя знакомил с ним не менее десяти раз.

— Да, да, вспоминаю.

— Только присядь и уйдешь. Нельзя, Лолий, я обижусь.

— Ты же знаешь, как я тебя люблю. У меня Верочка заболела, и сегодня похороны дяди,— лгал Лолий.

— И все-таки... Минуту можешь? У меня есть важное,— в свою очередь солгал и Ваня.

И Лолий и Ваня были похожи на мальчиков. Издалека длинный носик Лолия казался еще острее.

— Лолий,— подал он руку Дмитрию и отвел глаза, вытер губы ладонью. — О вас мне хорошо говорил один человек, не буду называть его. — Он скривил губы. — Человек о-очень порядочный, о-очень умный, о-очень тонкий мастер художественного слова. Ни один артист наших театров, ни один... что говорить, здесь сидит Ваня, мой большой друг, он меня поддержит... кстати, Ваня, ты помнишь, я тебе показывал старую калитку на Шаумяна,— забыл прежнюю «мысль» Лолий,— ту калитку, которая дороже мне триумфальных ворот, ту калитку, у которой я впервые поцеловал мою Верочку, у этой калитки... я тебе сейчас прочту, о калитке есть хорошие стихи... я эту калитку вспоминал в Индии, мы летели над Гималаями, мы летели над океаном, о если бы вы знали — мы тут все свои, я могу быть откровенным — какая там нищета! какая там жуткая нищета, то есть такая нищета, така-ая... налей...

Дмитрий, скрывая ухмылку, слушал Лолия. Кто-то прозвал его «Оратором» за длинные патетические речи без запинок, в которых завывание было главным достоинством. Только в этом небольшом городе и ценили такие способности Лолия.

— Вы так жалеете Индию, будто там живете,— сказал Дмитрий.

«Ты с кем меня посадил?» — недовольно смотрел на Ваню Лолий.

— Дима! — не желал обострений Ваня. — Дима! Это несерьезно. Не обращай внимания,— кивнул он Лолию,— он шутит...

— Мне больно за всех, кто еще нуждается в тепле, в пище, у кого нет крова,— жалобным голосом сострадания продолжал Лолий,— у кого... плесни... у кого отнимаются руки-ноги от непосильного труда, я хочу быть другом скорбящих, просящих и жаждущих, я хочу быть... спасибо, Ваня, я закушу... друзья мои, это долгий разговор, это разговор серьезный, это разговор, сами понимаете, времени, мы отвечаем за все, что далеко и близко от нас, что, не побоюсь этого слова, свято, ради чего мы обагрили землю в оные дни... а вы разве не пьете?

— Сегодня нет,— сказал Дмитрий.

Лолий с трудом переносил пытливые взгляды, с какой-то зверьковой чуткостью угадывал с первых минут человека, который ему не простит того, что прощалось всегда. Всю жизнь Лолий выплывал на чужих несчастьях. Едва кто-то оступится, сорвется, он уже тут как тут. Друзья же создали ему славу благороднейшего человека. Дмитрий все знал про него. Лолий мялся, он ерзал на стуле, он не мог дождаться, когда этот противный тип из станицы встанет наконец и попрощается... И Дмитрий встал.

— Я на минутку!

Лолий скинул пиджак и послал Ваню за бутылочкой сухого вина.

— Как приятно, когда никого нет лишнего,— сказал Лолий. — Ты с ним учился? О-очень странная и страшная личность. Мы свои люди, мой долг тебя предупредить. Мой долг тебя уберечь. Мой долг... налью. Склочный человек. Это строго между нами. Не понимаю твоей слабости! Извините меня! — скривился Лолий.

— Лолий... — почему-то потешался Ваня над его заклинаниями. — Не болтай.

— Извините меня. — Лолий как бы страдал, тер губы пальцами и думал совсем-совсем про другое. Вдруг наклонился и сказал: — Мы должны улыбаться друг другу. Мы не можем позволить, чтобы между нами поднимали дамоклов меч. Я ухожу, ты мне испортил настроение... — избалованно повел рукой Лолий, но не двигался. — Дорогой мой Ваня, Ванюша, дорогой мой, самый близкий мне на свете человек, после мамы, после

моей Верочки и детей, мой большой друг, которого я глубоко уважаю и люблю, ты пойми, ты пойми-ии,— опять скривилось его лицо, он долго тянул последний слог,— пойми, дорогой Ванечка, мы не должны пускать пешку в ферзи, и ты пойми еще, мой глупый талантливый мальчик, это стра-ашный человек! Можешь мне верить, я располагаю кое-какой информацией... но ты не слышал! Извините меня!

Уже близка была минута, когда Лолий пускал в ход хитрые жалобы, валил мусор на тех, кто его опекал, слагал о себе легенды и постоянно ссылался на абсолютный авторитет своей мамы и жены Верочки. В Доме народного творчества он кормился доходной халтурой, Дмитрий мешал и Лолию.

— Заразу надо убрать сразу,— сказал Лолий.

— Ты чувствуешь его ложь и терпишь,— настроился высказать все Дмитрий, когда пришел и не застал Лолия.

— Ладно тебе! — огрызнулся Ваня. — Тот учит, и тот учит.

— Не ладно. Он тут многих потоптал. Тебе сейчас легко, тебя-то не трогают.

Ваня наивно моргал своими большими «лермонтовскими» глазками.

— Но ты сам вот-вот будешь жертвой,— приблизил к нему лицо Дмитрий. — Придешь ко мне или к кому-то — не важно, и будешь как стена белый: «О подлец! Ну подле-ец! Не знал я». А ты уже зна-а-ал, Ваня. Но тебе тогда было хорошо. И ты думал: «Зачем вмешиваться? Мальчишество».

— Ты не прав, ты не прав. Лолий не так уж плохо к тебе относится. Чем ты докажешь, что он в чем-то виноват?

— Правильно кто-то сказал о нем: «Зачем доказывать, что он подлец? Достаточно один раз увидеть его лицо». Лисье, избалованное, подает руку и щурится, будто проглотил что-то кислое. Как мыло выскальзывает из рук. И никогда не смотрит в глаза!

— Но с чего ты решил, будто я с ним?

— Ты под ним. Уже! Он тебя и раздавит. Дело твое. Но запомни, Ванюш. Кто однажды сказал, что имярек подлец, и молчал, пусть он не удивляется, когда имярек станет кромсать его, что другие тоже молчат. Они промолчат потому, что ты сам еще недавно оберегал зло.

— Ты, Дима, поскубся с ними, а мы виноваты. Что же: все должны отворачиваться, не здороваться?

— Это дело чести и совести. Нельзя быть хорошеньким со всеми. Нельзя доить всех... Мне еще придется защищать тебя. Улыбаешься.

— Посмотрим.

— Так и будет. Зло не останавливается. Нигде, ни в одном углу не оставить бдительной честности. Вытравить. Замазать в грязи.

— Как они меня замажут?

— А ты и не заметишь. Тебя, прежде всего, споят.

— Перестань, перестань.

— Тебе нужна среда. Не такая! Тебе кажется, что ты утверждаешь себя. И тот тебе знаком, и этот, идешь по городу,— на каждом квартале: «Ваня! Ваня! у меня к тебе дело». Приучают тебя заниматься тем, что никому не нужно, но что подается как необходимое и важное едва ли не для всего народа. А это нужно Лолиям, спекулирующим на простодушии народа. А если ты вырастешь,— Дмитрий поднял палец,— пусть и в одиночестве, сбережешь в себе божеские зерна, раскроешь душу свободно, чисто, то они *сами* станут заискивать и желать твоей руки. Но ты уже другой, тебе их прикосновение уже не страшно. Ты созрел, гусеница в твою душу не успела вползти. Ты независим, ты *сам*.

Ваня недовольно молчал.

— Не веришь в себя?

— Верю,— слабо ответил Ваня.

— Я почему распинаюсь-то перед тобой? Очень мне приятно читать нотации?! Ты хороший, от природы хороший. И не уснула еще во мне благодарность,— второе. Я приехал на юг, у меня никого не было в городе, помнишь? Кто меня обогрел, приглашал на праздники, на Новый год, считался с моей нищетой? Ты. Кому я письма от Егора, Никиты читал? Мы дружили крепко, както идеально, воспитывались этим чувством верности,— и я шел поделиться с тобой. И куда же ты повернул? К Лолию? Иди, иди. Ты предаешь не меня, а *свое*. Ты сам чувствуешь, как шаг за шагом в чем-то уступаешь, сдаешься, тебе неудобно перед старыми товарищами, и ты вынужден лгать им, скрываться от них. Пропадай! Перед кем ты сгибаешься? Сегодня он царь и бог, а завтра никто! Астапов верно сказал: «Вы здесь временные, а я постоянный». А ты-ы? О чем думаешь? Золотые пальцы — твое постоянство. Ай, ну тебя.

Дмитрий умолк. Ваня выпятил толстую нижнюю губу, изумленно глядел на Дмитрия. Он видел, как Дмитрий страдает, и хотел перебороть его настроение каким-нибудь пустяком: анекдотом, сплетней, шуткой. Но не решался.

— Все будет хорошо,— сказал он.

— Все будет хорошо,— повторил Дмитрий так же неопределенно, как Ваня.

«Всех расшвырял,— с усмешкой думал он о себе на улице,— всех на ум наставил и... один... до дому, до хаты. Горька моя участь: обнимают, целуют при встрече, дают надежды и чувство привязанности, а потом все забывают: и тебя, и свои слова... Ваню у меня отняли... Что я мог ему дать, кроме искренних слов?..»

2

Кроме Вани, водились у Дмитрия в городе еще знакомые, но не было никакой охоты видеть их. Когда ввяжешься в борьбу, а до исхода еще

далеко, когда откроешь в людях столько хитроватого, мелкого, поневоле становишься строже со всеми, и порою кажется, что те, кто сейчас в стороне, живут не по правде. Тебя слушают, вроде сочувствуют, советуют, однако, пока самого не коснется, никто не рискнет испортить отношения с твоими недругами: улыбаются тебе, улыбаются и им. Скорей в станицу!

Но жила здесь Лиля, и Дмитрий подумал о ней около ее дома. Его автобус отправлялся через сорок минут. Он купил билет, взглянул на часы над дверями автостанции, поскучал. Второй раз в эти три недели он уезжал и Лиле не звонил. Попробовать? Монетки в кошельке нашлись, номер телефона он помнил. Стоило подумать, что трубку может снять ее муж, и желание пропадало. Говорить ему с мужем было как-то стыдно. Обычно он здоровался с ней, назначал время и место встречи, слышал условное согласие и короткие за этим гудки.

Он позвонил. Лиля была дома.

— Как вы там? — спросил Дмитрий, не нарушая хитрой традиции.

— Все так же. Ты где? Уже домой?

Дмитрий ей все объяснил.

— Я сейчас подскочу.

Она жила в центре и приехала на вокзал тут же. Дмитрий заволновался, купил ей цветочки. Неужели он ее полюбил? или это тоска, одиночество, мечты о далекой родной душе приучают его уступать раз за разом все более? Впервые оторвал он ее мысленно от мужа третьего января, когда пришло в станицу поздравление. Писалось вроде бы от двоих, но ее рукой, и открытка выбрана не новогодняя («Амур» Кановы), с каким-то намеком, это, мол, тебе от меня, Лили.

Потом он приехал, зашел, и встретила она его словами: «А мы тебя вспоминали!», но «мы» было сказано лишь потому, что за столом сидел ее муж, давний знакомец Дмитрия по Москве, по тому печальному лету. В их жизни он особого разлада не наблюдал; если Лиля кое-когда помалкивала или обрывала речистого мужа, Дмитрий не придавал этому значения — верна все-таки русская поговорка: муж и жена одна сатана. Муж не провожал Дмитрия до угла, прощался в коридоре и как бы вручал его Лиле. Она брала деньги, сумку, чтобы потом зайти в магазин. «Ты приезжай,— говорил он как-то Дмитрию,— останавливайся, ночуй, что в гостинице? Ничего, что меня дома не будет, ложись и спи». Дмитрий улыбнулся и ничего не сказал. Теперь он припоминал, что часто, когда они переступали с Лилей порог и Дмитрий напоследок еще раз поднимал руку, муж как-то ехидно благословлял их и закрывал дверь с таким видом, будто Лиля не обязана возвращаться. В феврале Дмитрий ночевал у них; днем гулял с Ваней, выпил и шел поздним часом дотолковать о Ямщикове и Панине. Лиля открыла. И вот тогда, кажется, началось между ними молчаливое объяснение с первых минут и возникла неловкость оттого, что они были одни. Пили чай; Дмитрий пьяненько шутил, но Лиля не смеялась и смотрела на него с укоризной: «Я хочу тебе что-то сказать, а ты не чувствуешь». Надо было или уходить, или перестать прятаться. Если суждено чему-то случиться, как они потом будут жалеть, что теряли в стыдливости драгоценные часы! Сколько дней она прождала его звонка, и вот на автостанции ей отпущено всего двадцать минут. На кухне тогда уютно горела лампа, Лиля в цветном халатике, в тапочках с пушистыми оборками приманывала к себе, хотелось сразу, без раздумий и боязни обжечься, прижать ее, раствориться в счастье. Но всегда надеются на какое-то звездное время.

— Что же его нет? — спросил Дмитрий в полночь, после гимна.

— Это не первый раз,— сказала Лиля.— Он по-прежнему в ладу со своей московской привычкой. Ты помнишь, каким он был?

— Но то давно. Мы все в этом возрасте были... того.

— Дима, я сначала думала, вы друзья. Если бы вы были близкими друзьями, как с Егоркой, я бы тебе и сейчас ничего не сказала. Разве ты не замечал, как мы живем?

— Нет.

— Не жди. Он сегодня не придет. Я знаю.

— А где он?

— Меня это не интересует. Здесь ли, там — мы все равно не вместе. У женщины, конечно. Он до того распустился, что ему не страшно, если я... если мы...

«Да что он, с ума сошел? — подумал Дмитрий о муже. — Бросаться такой женщиной».

Она была тоненькой, удивительно опрятной, носила скромные юбки и кофточки, но так шила, что выглядела лучше модниц. Ничего лишнего не лепилось и в квартире: чисто, просторно. Дмитрий в шутку называл ее барышней прошлого века, и в самом деле: натурой она отставала от вертких современных женщин.

— Я тебе расскажу все,— сказала она. — Только не сейчас, Дим, ладно? Тихо как. Ты не хочешь спать? Посидим. Я второй год не сплю до трех, четырех. Вот видишь, каких женщин рисуют,— подала она через стол журнал. — Волева-ая. Как редко ты приезжаешь! Я просыпаюсь и говорю тебе: «Здравствуй!» А ты не в городе.

С этой станции она уже не раз провожала Дмитрия. Боялась знакомых ужасно. Оглядывалась, и раз, и два звонила домой — не пришел ли? «Я замужем. Я не могу,— говорила. — Я воспитана по-другому». В иные дни она приходила из дому счастливой женой и тогда, как ни странно, была ласковей, еще благодушней, слишком желающей скоротать минуту для души, и только.

Нынче она появилась в строгом длинном платье и уже издалека показалась ему жалобной.

— Как мне не везет... Здравствуй. Когда я свободна, тебя нет. Мне выходить, и он пришел.

— И что ты сказала?

— «Пошла в магазин». Сумка, видишь

— Приезжай ко мне в гости.

— Я же говорю, я к тебе привыкну, и что я тогда буду делать? Захочу не уезжать. Захочу много-много раз смотреть на Большую Медведицу,— плаксивым девичьим голоском растягивала она слова. — И еще...

«Говорила же она и **ему** так когда-то? — подумал Дмитрий. — Конечно, коне-ечно же».

— Я видела Ваню, он сказал, что они там... — взмахнула она рукой...

— Ваня мальчик, своего мнения не имеет.

— Но он хорошо к тебе относится.

— Ко мне многие хорошо относятся. И что?

— Не злись,— погладила она ладонью его плечо. — Ваня хороший, глазки у него лермонтовские, он мальчик, ты прав... но какой ты стал суро-о-овый, ничего тебе не скажи.

— Он пить начал.

— Старается вытянуться на носках. Ему хочется казаться взрослее.

— Ну да: казаться, а не быть. Казаться — значит преуспевать, а быть самим собой — терпеть поражение.

— Вот я сама собой, и мне плохо,— развела она руки с улыбкой.

— Ты же барышня у нас,— улыбнулся и Дмитрий. — Тебе бы на диванчике книжки читать, слушать, не звякнул ли вдали колокольчик, обдувать лицо веером на симфонических концертах... Ага? А ты днями охраняешь квартиру и пугаешься своего актера.

— Актер... Вот именно, актер. Какие они актеры, господи... Хотя он-то как раз может. Ему бы жениться на официантке. Я его ненавижу, мне противны его руки, мне все в нем противно...

Дмитрий как-то смущался, когда женщина поносила того, с кем она еще делила жизнь. Он всякий раз думал: «Ты же была довольна когда-то? Ты ему шептала слова, отдалась непринужденно, шла по улице и ни на кого не смотрела только потому, что он твой, а ты принадлежала ему». Непринужденно? Теперь-то он знал всю историю. Но все равно, все равно что-то заедало его.

— В июне я буду одна. Театр уедет на гастроли. Ты где летом?

— Если эта заварушка не помешает, поедем с Егором в Кривощеково.

— Бросал бы ты...

— Надо же довести до конца. Столько грязи, ходить тяжело. Понимаешь? — заглянул он ей в глаза. — Тяжело ходить по грязи. У тебя под окном растет ива. Красавица! И к середине лета вся в коричневых наростах. Это ведьмины метлы. Паразиты. Так и в жизни.

Лиля приставила свою руку к груди Дмитрия.

— Ну ты... ты поосторожней. Я буду за тебя молиться. («Молиться» — значит сочувствовать, уточнила она улыбкой.) А ты... ты вспоминай меня, когда не спишь. В двенадцать часов возьми и подумай.

В одну минуту они поменялись ролями. Дмитрию отвела она уголок, где ему было плохо. Мужчины вечно ловятся на эту раннюю великодушную опеку.

— Приезжай ко мне в гости,— сказал Дмитрий. — Поночуешь у Боли за стенкой. — Приезжай!

— Но ка-ак? И я стесняюсь.

— Мне пора...

Она прикосновением поцеловала его возле губ. Он тоже поцеловал ее, но крепче.

— Не киснуть! — поднял руку Дмитрий. — Я напишу.

Она повеселела, и обоим стало на прощание хорошо, захотелось увидеться вновь. Лиля догнала его в дверях, сжала его руку («я с тобой!»).

Дмитрий уселся, оглядел затемненное занавесками нутро автобуса, знакомых попутчиков не отыскал. Длинный автобус выбрался из ворот, на секунду придержался и зажужжал по улице Мира. Лиля шла по тротуару — с правой стороны, обернулась к окнам, но помахать побоялась.

За станицей Елизаветинской Дмитрия опять совратили речи. «Обвиняют меня: я критикую и только критикую. Не только! Я критикую первый раз... потому что люблю и восторгаюсь жизнью, а вы эту жизнь оскверняете... Да, да! — закричал он про себя. — Ведьмины метлы...»

Глава третья

БУДЬ СО МНОЙ ВСЕГДА

1

Кто жил в молодые годы в глуши, тому трудно забыть, как разрывалось в иные дни сердце от скуки, тоски, одиночества! Где вы, друзья, подруги? где городской шум, театры, пирушки? Далеко. Что ты сидишь тут, лучшие годы проводишь со стариками?! Ты вырос у больших дорог, возле станции, с которой все мечтал отчалить в Москву, ты жить думал с друзьями не расставаясь. Они слышат каждый твой вздох, с ними незачем лукавить. Но их нет поблизости. И так теперь суждено вечно?

В Темрюке Дмитрий зашел к Павлу Алексеевичу, и тот сказал, какой гость ждет его дома. Беспутный Антошка? Он только грозится «завернуть в те края», разве ему можно верить?

Господи! четыре года не виделись! Неприкаянный самовольный друг! Какого же черта он не сообщил? Егор, тот готовится к встрече как президент: отправит несколько посланий, заранее распишет, какие их ждут наслаждения. Никита наносил визиты лишь в Кривощеково. Антошка? Он постепенно отпадал, и больше всего помнится детство с ним на выгоне, на стадионе «Сибсельмаш», ну еще в рисовальном кружке. На стадио-

не этот малый был своим человеком: ему доверяли мячи и клюшки; перед матчами развешивал он сетки на футбольных воротах, посыпал мелом размеченное поле и даже проверял со взрослыми билеты у входа. Прибитые к заборам фанерные щиты оповещали причудливыми буквами о завтрашних спортивных страстях — то малевала Антошкина рука. Мамы друзей его жалели: «Бедный мальчишка, целые дни на улице без крошки во рту. Вы бы хоть позвали его. Пусть ходит обедать».

Еще одна ночь пройдет без сна, да ведь не с кем-нибудь, с другом.

— Что тебя занесло в Астрахань?

— Рыбаков писал. И в станице у тебя порисую.

— Еще и женим.

— Извини! Зачем мне одна? Они приходят ко мне в мансарду, у меня просторно, чаёк, бутылочка, краской пахнет, кистями.

— Вижу, вижу, хорошо живешь.

— А ты с книжками.

— Я полежу.

— Ты полежи, полежи, Димок. Не расстраивайся. Поедем домой. Егор получил направление — будем опять вместе. Мы тебя куда хочешь устроим. А это...

— Теперь уж отступать некуда. — Дмитрий смотрел на стену, где кнопками была пришпилена репродукция картины Тициана. Когда он прочтет о нем у Стендаля?

— Никто тебя не поддержит. — Антошка тоже взглянул на прелестных богинь. — Если люди почувствуют, что ты побеждаешь, тогда стеной станут. А нет — спрячутся, еще и продадут.

— Да что уж мы такие умные стали: все наперед знаем. («Комнату побелить бы надо,— подумал он. — Паутина кругом».)

— Но это жизнь, жизнь, Димок. Проверено. Перед кем быть честным? Кто снимет шапку? — Антошка, как побирушка, вытянул ладонь к другу. Очень смешной. — Ревизию устроят в твоем клубе, недостачу припишут. Инструменты, костюмы — все на тебя записано? Упекут. А чо! Ты живешь традициями семьдесят третьей школы. То когда было! В позапрошлом веке?

— А что: семьдесят третья всадила в нас честность. Бедное послевоенное время, а сколько чистоты в людях.

— Бедное послевоенное время,— перекривил Антошка. — Послевоенное время ему. Чистоты, чистоты. Нет, я с вами не могу,— крутился он на стуле. — Бедное послевоенное время. Егорово влияние. Полоумные!

Антошка взял и прошелся по комнате хромой походкой Устиныча.

— Учителя в заштопанных платьях, валенки с галошами,— продолжал Дмитрий. — И ничего: жили. А сейчас наелись, напились — и все мало, мало! Я тут часто вспоминаю Кривощеково. Из конуры Устиныча на первом этаже картошкой вареной несло, помнишь? Кык-хе... И капустой! Да кислая, подь ты к черту. Довоенная, наверно. Кык-хе. — Он аж зажмурился. — Я перед его уроками всегда натирал чесноком его стол. «Ну да это, кто опять чесноку наелся? Выйди, должно быть, за дверь добровольно и там дыши». И на Егора уставится, кык-хе! А учебник литературы елозит, он провоняется: что такое? в другой класс зайдет — и тут чесноком шибает!

— Мне кажется — после войны было больше милосердия в людях. Иду в школу — инвалиды к базару на самодельных саночках с подшипниками катятся. Их жалко.

Любили песню о синеньком скромном платочке, о том, как «на окошке на девичьем все горел огонек». На базаре целый день поет у ног какого-нибудь мужика с пластинками Русланова. Танцевали под Тамару Церетели. У меня, Антош, такое ощущение, что с тем временем, с той бедностью исчезли простота и что-то наивное в народе. Или я путаю?

— В Кривощеково, Дима! — сказал Антошка. — Тебя тут съедят, и помощи ни от кого. Егор, наверно, приедет: «Ах, как у тебя хорошо! ах, век бы жил, ах, море, ах, люди!» Я представляю. А ты тут засохнешь. У нас опера, художники, Академгородок, все кипит!

— Ну почему это кипит? Не одна ли жизнь? Уж никогда мы не будем вместе.

Дмитрий встал, подошел к зеркалу, погляделся, причесал волосы. Вспомнилась у зеркала Лиля; когда Дмитрий молчал, она поворачивала лицо, проверяла, не подурнела ли при нем? Антошка еще выпил, закурил, половил музыку в немецком транзисторе.

Уж было темно; в крохотное турецкое оконце попала одна звезда. Захотелось выйти и взглянуть, как успокоилось к ночи море. У самого края почти стояла беленькая Болина хатка, двадцать шагов до обрыва. Антошка уже зарисовал ее с раскопок и повесил листок над подушкой друга.

— Турки или казаки ее построили? — спросил он, пригибаясь к двери.

— По-моему, турки. Здесь еще одна хата — ей триста лет.

Нежная звездная распускалась над тихою землею ночь. У обрыва, над морем, не слышалось и дуновения ветерка. На пристани два мальчика ловили бычков на длинные удочки. Дмитрий опять подумал о Лиле.

— Егор все такой же? — спросил Антошка.

— Ну а какой? Книга или в сетке, или под мышкой. В книге мои, Никитины, твои письма. «Изучаю!» А матерится! — засмеялся Дмитрий. — А частушек набрался в казахских степях! Ужас. Боля у нас интеллигентная, он ее ошарашил. Зато в поездах его старухи кормят пирожками, он им узлы подтаскивает — такой. Приеду студентом в Москву, шесть утра, гул, ритм, подметки рвут. Кому нужен? Беги-ит по перрону! Сейчас на Трифоновку, чайку мне, выскочит за творогом,

хлеб маслицем намажет, «на-а, друг, ешь, да на старости не забудь одинокого Егора, отдашь мне кусочек, что задолжал-то». Что бы я делал без него? А письма!

— По театру тоскуешь?

— Знаешь, наступает время, когда понимаешь, что чего-то ты уже не можешь в этой жизни. Не дано. Не твое оно, как ни бейся. Надо же это признать. Ну не получилось, что же! Ложиться и помирать?

Тропинкой Дмитрий вывел друга в переулок, потом на пустырь засохшего озера. Часа полтора бродили они по станице. Крыши, погасшие окна закутались в буйных садах. Все спали, и тишина трогала, и звезды напоминали о детстве в Кривощекове. А так далеко они были сейчас от дома. Под красной черепичной крышей, с дырявым ведром на трубе, не спала только Боля, читала воспоминания о Чехове. В хате Дмитрий рассказал другу о Лиле.

— Я еще был студентом и познакомился с ней в поезде. И не познакомился даже, а так... попутчики. В Москве, с Казанского, провожал меня Егор. Потрепались, простились. Орет вслед: «Красивых женщин не обижай! знаем тебя... покуда! целуй и обнимай всех от меня». Стыд прямо. А уезжал всегда из Москвы сам не свой, точно в ссылку. Егора ждали премьеры в театрах, интересные профессора, уроки фехтования, тьма-тьмущая собеседников, а меня что? Примитивный провинциальный институт. Ехал я обычно так: поставлю вещи в купе и не захожу туда, у окна торчу. А тут проводница позвала за постель платить. Сидит напротив нее девушка. Симпатичная — первым делом отметил. Это хорошо. Может, понравимся, может, иссохнет вся по мне...

— ...повиснет на шее? умрет от любви и коварства.

— А-ага. В юности какие еще мысли? — ясно. И симпатичная же, темноглазая, робкая, и не такая, чтобы сразу о себе что-то мнить, не-ет, этой вроде мужчины ни к чему, она их не боится, она вроде еще маленькая, чтобы воображать. А я орел! атлет! я про Микеланджело много знаю, я от Владьки нахватался, я сейчас запросто обворожу! И она так запросто просит меня подбросить чемодан наверх, смотрит как на братишку. А я нет: робкий-робкий, но ведь... боже мой! все одинаковы в эту пору! Я не чемодан, я будто ее поднимал к потолку, это же, считай, полдела. Завязка. Уже роман какой-то бешеный снится, уже она моя, я ею обладаю, она плачет и рыдает, не может без меня, хах-ха!

— Хах-ха! — Антошка пристукнул по столу стаканом. Налил.

— Ну а как же! Мы бросаем чемоданы в поезде, спрыгиваем в поле и идем, идем в какую-то деревню, и тут дождь, и мы в ригу, а кругом никого, все куда-то пропали, но нам все равно. Между тем я стою у окна, с Егором у меня прямая связь. Прикидываю: как бы Егор себя вел в похожей ситуации, Никита, ты. Они-то первые помощники. Она вроде и принадлежать-то должна мне уже потому, что у меня такие великие друзья. Я ей про вас рассказываю, она на стенку лезет от зависти.

— Похоже, похоже.

— Едем, едем... Я все курю у окна. Красиво курю, для нее; она, конечно, следит за моей рукой, думает только обо мне. Оглянусь: нет, читает себе.

— Ха-ха!

— Что ж, спать пора. Внизу храпят уже. Забрался, включил над головой лампочку, достал из портфеля книжку. Под грохот плохо читать. Она тоже на второй полке, мужик не уступил ей место внизу. Лежит лицом ко мне, все кажется — смотрит. «У вас нет чего-нибудь почитать?» Я дал ей какое-то приложение к «Огоньку». Лет восемнадцать ей, но дитя! Ни черта не соображает. Думает, я просто так дал ей приложение за восемь копеек! Ишь ты. Яблоком угостил, грызет, как будто так и надо.

— Не чувствует, что уже твоя?

— А второе положила под подушку. Потом *меня* угостить чтобы. Я же проникновенный! Ворочаюсь, наказан богом. Поезд идет без опоздания, а роман задерживается.

— И в то же время в самом разгаре.

— Да-а, полный порядок. Читаю полчаса, час, нет, неинтересно пишет Толстой! В Москве, когда я начинал, он был великий писатель, а в поезде никуда не годится... Стал уже царь войска объезжать, смотр, Андрей Болконский тут, до царя ли, до князя? Рядом такое чудо лежит, руку протяни и...

— ...она — моя!

— Ну. Завешивает матовый колпачок полотенцем, темнота еще сильнее действует на воображение. Лежу и думаю о ней. «Вы будете читать или потушить?» — спрашивает. «Тушите». Свет в любви до гроба мне не товарищ. Равнодушно отвернулся к стенке (равнодушно, хе!), и теперь надо было понимать, что мы спим. Но я любил, и, по моим самоуверенным прогнозам, она тоже. Потом тоска моя перешла на других, и я не заметил, как перебрал всех, кто бы безвозмездно отдал мне свое сердце. И, не женившись, заснул.

Они вздумали пройтись к морю по переулку, что был с правой стороны прорезан заброшенным рвом. В стороне над ним две-три хаты белели сплошными стенами, а у самой воды, к пристани, где ров кончался, кривилась еще одна, с таким мизерным окошком, что туда и свету не проникало нисколько. Ее первую отмечали приплывшие из Керчи.

Дмитрий и Антон повернули на пристань. Там под хлюпавшие о сваи волны они и докончили свой полуночный разговор.

— Не я брал женщин, а они меня,— говорил Дмитрий. — Потому и досталась Лиля... ты помнишь Владьку на Трифоновке?

— Еще бы. Выпивали вместе.

— Вот... Она его жена.

— Он же ее развратит! Как он сюда попал?

— В Самарканд меня когда-то звал, на характерные роли, а попал к нам. Как странно, Антош, увидеть снова женщину, не одну, замужем за другим, да еще за таким охальником, как Владька, женщину, которая в самом деле могла быть твоей... Меня, знаешь, это не то что убивало, а... как тебе сказать... «Дорогой, единственный, милый» и прочее — это ему досталось, а могло и мне. Как же так? Нет, значит, «единственной моей». Кто вперед, тот и единственный. Пусть до поры. Женщина просто не знала другого. А он жил. Мечтал о ней.

— Многого хочешь, Дима.

— Я это рассуждаю, а хочу столько же, сколько все. Ночью все приходит. Люблю ночь. Ложиться спать мне противно.

— А Лиля просится к тебе, что ли? Ты у них часто бываешь?

— И раньше-то редко. Она при мне как бы стеснялась быть его женой, говорила скованно, виновато, словно я в юности предлагал ей руку, а она отказала, и ей все теперь, когда разладилось, напоминает о «преступлении». Тоже жалеет о незнакомстве нашем в поезде. Но они лгут, лгут нечаянно, по-женски, я ей не верю. Ей плохо, она и...

— Детей нет?

— Он не хотел, теперь она не хочет. От него. Он и взял ее обманом. Напоил. Очнулась, поплакала, возненавидела его, а оторваться уже не смогла. Такие загадки на этом свете, не доберешься. Нам женщин не понять. Счастливые не любят меня.

— Зачем ты им? Их надо развлекать день и ночь. Живи как я. Встал, закурил, чайник на плитку. Есть одеяло — ладно, нету, и так засну. Девочка моя не пришла, смотрю — другая стучится. С этой мне тоже хорошо. Но я никого не обижаю, Дима. Им легко со мной.

— Да, ты легкий, Антошка. Главное, чтобы кому-то было с тобой хорошо. Все правильно.

С пристани проглядывались всего несколько прибрежных хат: высокие кручи скрывали станицу. В проливе изредка стрелял в темноту и пружинил по воде луч прожектора. У Лысой горы одиноко мерцала звездочка.

В три часа ночи они возвратились в хату. Дмитрий разорвал конверт, развернул шесть листочков, прилег читать. Антон заваривал чай.

— Эх,— сказал Дмитрий,— кто вот из вас так напишет мне, как Егор: «Мой драгоценный друг! Димок! А не то ли я говорил всегда: уж коли мы начали жить так, как мы жили, от этого нельзя отказываться — будем тащить свое, ни под кого никогда не подделываться и дорожить нашей нефронтовой дружбой. Где ты? как ты?.. почему молчишь?! Когда же мы встретимся? Бери бумагу и говори со мной. Друзья, друзья! Где вы? Единственные, старые, верные, школьные... почему мы до сих пор не вместе?.. Боюсь вас потерять...» И так далее, сам прочитаешь...

— А ты пей чай,— сказал Антошка.

Заснули они в половине пятого утра.

2

Отчего так быстро изнашивается жизнь двоих?!

Они часто ссорились; дни, недели проходили в злобном молчании. Каждый раз повторялось одно и то же: стоило зацепиться, и будто рады были ущемить друг друга, изгнать из своего сердца, вывернуть наизнанку. В эти же дни они улыбались, на улице чужим людям, расспрашивали, шутили, но, переступив порог дома, мгновенно менялись, насупленно ходили мимо, спали в разных комнатах. Все разом кончалось; судьба с угрюмым садизмом приносила наказание за слепоту юности. Где-то у кого-то было иначе, а у них... Лиля уступала первой; заманывала к себе разными женскими заботами: то купит и положит ему рубашку, то нарядная появится в ложе на премьере. Было невмоготу больше молчать и копить зло; в какую-то минуту она, еще обиженная и гордая, чувствовала, как слабеет в ней заведенная нервами пружина и ей хочется прикоснуться к Владиславу рукой, пожалеть (хотя виноват он), вырвать из себя нежное слово (кому еще оно назначено?), или сказать попросту: «ну, хватит, что ли, сколько можно?», или заплакать при нем тихими беспомощными слезами. Чаще же примиряли их гости; тут она берегла честь семьи, старалась, чтобы ничего не заметили. Когда же он не приходил ночевать или открывал дверь подобревшим, она не только не могла собрать вещи и закрыть за собой дверь навсегда, но сломленно понимала, что она в безвыходном положении, что у всех одно и то же и только начало жизни вдвоем бывает без гнета, и кого ей искать, где? Надо уж было рвать с Владиславом сразу, в первый год. Куда же деться теперь? Да она и представить не могла, как это после брака, после самого первого в ее доле мужчины, которого она постепенно переставала стыдиться, как это заводить тайну с кем-то и убеждать себя, будто он самый дорогой и единственный? Мирились они молча, с укоризной, с тоской по близости, и все равно в те часы висела еще над ними неловкость, и, когда ласкались, то обоим думалось, что их прощение — всего-навсего сомлевшая жажда греха: в нежности крылась какая-то уступка природе. Но становилось легче. На третий день раздирало удивление: зачем мучить друг друга, когда так хорошо вместе? И нету, нету никого вокруг, и никого не может быть. Жаль испорченных дней.

А потом все повторялось.

Ночью пролил дождь. Лиля готовила кофе на кухне и поглядывала в окно. Владислав поднялся

позже, шаркал по квартире в тапочках и насвистывал. Когда он заходил на кухню, Лиля чуть отворачивалась, чтобы он не видел ее утреннего лица. Так было всегда. Если они просыпались бок о бок, она застенчиво соскакивала, ополаскивалась под душем и через полчаса была уже причесана, одета, шла в магазин за молоком и хлебом.

Целую неделю они молчали, но куда бы Лиля ни пошла, разговаривала с мужем в воображении, упрекала, слышала его грубые ответы. В дождливые дни, когда мир темнел от воды, мысли ее влекли в прошлое, до ее встречи с Владиславом. Теперь она думала, что есть человек, с которым — перевернись судьба! — можно бы обрести счастье.

Она наливала кофе и следила за мужем. Сто раз повторила она фразу про себя, которая нанесла бы ему удар либо заставила поговорить тихо и умно о том, что им делать дальше. Она села напротив. Муж не смотрел на нее. В любви она называла его ласковой кличкой, на людях просто «ты», в ссоре — никак. Имя у него какое-то неудобное.

— Я больше так не могу,— сказала Лиля и поднесла чашку к губам.

— Не живи,— мигом ответил муж. Надежда на разумное объяснение исчезла. Снова начиналась борьба, поскорее надо было найти что-то в пику. Но она сдержалась.

— Можем мы наконец поговорить спокойно?

— Тебе никто не мешает.

— Я больше так жить не могу. Я устала.

— Отдохни. Я тебе сказал: не живи!

— А когда я ухожу, ты держишь,— все еще робко и тихо сказала Лиля.

— Когда же это я тебя держал? Ворота открыты! — иди хоть сейчас.

Он лгал. Лиля же на сей раз спасалась мыслями о Дмитрии; муж был рядом, а она думала о *нем*.

— Ты даже на улицу мне выйти одной не разрешал.

— Иди. Можешь не ночевать.

— Это ты можешь не ночевать, а я нет.

— Грешный человек, люблю чужие перины.

Лиля бросила ложечку в чашку, встала и вышла в комнату. Но что толку молчать! Разве он пожалеет? И вернулась на одну минуту.

— Надо было жить одному, раз ты такой. Ничего не ценишь. — Это она уже говорила много-много раз. — Все люди делом заняты, один ты бездельник. Годы уходят, а ты ничего не добился. Разнес свой талант по постелям.

По улице Красной не прекращали идти люди. Вон кто-то смеется, вон двое несут ребенка. А у нее одни неприятности. Из месяца в месяц, из месяца в месяц. Она стояла и самыми последними словами доказывала, какой он плохой. Наедине столько неотразимых слов выручало ее! Она убивала его логикой и правдой. Сейчас он стукнет дверью, опять пустота, тоска, пропасть.

— Ты испортил мне жизнь,— встретила она его у двери, он шел из кухни и вытирал губы.

— Сама ты себе испортила.

— Ка-ак это?

— А так.

— Нет, ты объясни мне! — схватила она его за руку. — Скажи, чем я испортила? — выкрикнула она и заплакала.

— Если бы тебе было стыдно, ты б не простила мне,— сказал муж зло и спокойно.

— Какой же ты негодяй... — отступила Лиля. — Как ты можешь? Что я тебе плохого сделала? за что ты издеваешься надо мной? У тебя есть хоть капля совести, чести, ну, ну не знаю чего? А-а... — простонала она и скосила голову.

«Садист... — думалось ей. — Ему легче, когда я плачу».

— Ты подумал хоть, прежде чем сказать такое?

— И думать нечего,— Владислав избегал ее. Лиля ходила за ним по квартире. — Ты знала, на что шла.

— На что?

— На то.

— На что-о? — крикнула она. Теперь она уже добивала себя сама и словно летела в пламя, чтобы сгореть. Она понимала, что муж, как и прежде, ничего ей хорошего не скажет, но и прекратить на этом не могла.

— Потише,— сказал он. — Что ты за мной ходишь? Мне пора одеваться на репетицию.

— На что я шла?

— Отстань.

— Скажи, скажи, скажи-и!

— Знаешь.

— Ну скажи,— уже сдавалась она, уже смирялась, только бы сказал ей, может, она забыла, может, тут-то и будет конец всему. Она стремилась к концу. И боялась. — Скажи, скажи!

Он притянул ее рукой к себе, она вырвалась. Глаза его влажно блестели, но ласки в них не было.

— Скажешь?

— Иди-ка поближе.

Лиля растерялась. Отказаться подойти — значит потерять последнюю надежду на разговор, который она затеяла, последний разговор, как она решила после встречи с Дмитрием на автостанции. Сдаться? Но сколько можно? Уже было, было похожее.

— Иди?

— Скажи!

— Да хватит тебе, заладила. Я ляпнул, а ты... — Ради минуты удовольствия он лгал ей.

— Я же тебе не нужна. Ты же любишь чужие перины. Зачем же лезешь ко мне?

— Ты лучше.

— Тебе бы не такую женщину надо. Москвичку бы тебе. Муж диссертацию пишет, ребенка в сад везет, из сада, стирает, варит, а она к часу ночи со свидания возвращается. Тогда бы ты ценил что-нибудь.

— Что ты там можешь знать о москвичках. Кроме ГУМа ничего не видела там.

— В ГУМ-то я и не хожу.

— Москвички, москвички. Молчала бы.

— Я всегда у тебя молчу.

— Вот и помолчи еще, я тебя не слушаю.

— Слушай других.

— Других с удовольствием.

— Как ты опустился... На кого ты похож?

— Я всегда таким был. Я был еще хуже.

— Неправда.

— Кончим, кончим. Знала! Знала, голубушка, на что шла! С кем легла, с тем и проснулась. Чего ты пристаешь ко мне? Я же сказал: ты знала, на что шла.

У Лили тряслись руки.

— На что, на что-о?

— Хватит, говорю.

— Ты таким не был.

— Хва-атит.

— Я извелась вся. С тобой. Ты не даешь мне слова сказать. Неужели только потому, что я с тобой живу, я не имею права на обыкновенное сочувствие. Я прошу поговорить со мной.

— О чем говорить? Не так? Я тебя не держу. Помочь открыть дверь? М-м? Лиля?

Она в отчаянии села на телефонный столик.

За окном все лил дождь. Владислав ушел на репетицию. А что ей делать? К подругам? Писать матери в Анапу?

«Современную бы ему куклу,— думала Лиля,— с мужским характером... Чтобы рычала, орала... Что они: мужики у них голодные, запущенные. Только спать да шататься. Утром кофе, в обед бульончик, вечером опять кофе. Такую бы ему. Боже, как не повезло! И за что мне, за что? Сидят куклы, во всем на свете разбираются, курят, курят. А в квартирах погром, сидя-ят... Такие ему нравятся. Без них солнце не взойдет, если они не будут шляться по городу. Да что он ценит! Что этот человек может ценить? Господи, и за что мне? И как я согласилась? Обманул. Ди-има... — позвала она всей душой — Дима! Почему ты там живешь? Хочу быть с тобой...»

К обеду она вышла на улицу и сразу попала на Ваню.

— Что, Лилечка? — спросил он. — Свободное время?

— Да-а... свободное.

— А я, — похвалился, — иду записываться на радио. Почему не заглянешь к нам? У меня на днях Дима был, а ты дома сидишь и не знаешь.

— Почему же я должна знать? — смутилась Лиля. Ваня улыбался. — Очень странно.

— Извини, я так.

В глазах Вани Лиля уловила и сочувствие, и любопытство, и давнишнее неравнодушие к чужим романам. Для женщин он был милый мальчик, и они позволяли ему фамильярничать и увлекаться. Ему, как и Павлу Алексеевичу, доставляло удовольствие целовать дамам ручки на виду у всех, «принадлежать» им минуту-две, гордиться, какие красавицы балуют его вниманием. А в Лилю он был тайно влюблен и за переменой ее отношений с мужем и Дмитрием следил с ревностью. Он любил и жену свою, но всякие истории, случавшиеся в этом городе, его немножко задевали потому, что он, еще молоденький, не стал их героем, и жизнь казалась чем-то неполной.

— Дима о тебе так хорошо говорил,— польстил Ваня. — Ты ему напиши, ему сейчас плохо.

Лиля промолчала. Зачем Ваня вмешивается? Знает и скрывал бы. Тут нет опасливой тайны, она просто не хочет обсуждать свое чувство даже с Ваней. Чем уединеннее будут их встречи и незаметнее для чужих глаз разлука, тем легче выяснить правду. Не надо людям ничего знать о них. Ваня всегда торопился.

— Я все понимаю, Лилечка...

— Неужели это так интересно? — строго сказала Лиля. — Ты же мужчина, Ваня.

— Ну! — покраснел он. — Не сердись,— взял он ее за локоть,— лучше заходи к нам. В щечку можно? Послушай завтра в шесть часов мою мелодию. Не сердишься?

— За что?

— Умница. Побежал.

Куда повернуть ей? Спускаться к реке Кубани по грязи неохота,— сколько ей стоять у высокого парапета одной? Мимо шли женщины: крашеные кокетки; веселые студентки; суетливые домохозяйки; продавщицы в халатах поверх платьев бежали в столовую. Лиля с пристрастием гадала: каково им? кто их мужья? «Есть женщины,— думала она,— которые ничего не умеют: ни любить, ни заботиться, ничего. И с ними живут, их боятся, слушаются. Нелепо устроено: счастье зависит от одного человека. От одного! Всего-навсего. И ведь это правда. Хорош ли, дурен муж, он присутствует в тебе каждый день». Лиля и на улице ругалась с Владиславом, уговаривала, грозила, сравнивала его с чужими. Все он, он. Черною тучей висел он над ней. «Ты мне испортил жизнь,— повторяла и повторяла она,— я тебе никогда не прощу». И она воображала, как покидает его навсегда, живет в другом городе в полной бедности, одна. Тотчас вспоминались другие одинокие женщины, и это утешало, она даже успокаивалась, что ее место среди несчастливых, которых на свете всегда больше. Вольная любовь не для нее. Она рождена для дома, для тишины. И зачем ей бродить по улицам? Ее тянет в дом. А дома нет.

Вечером она наконец скажет ему откровенно: «Я тебя не люблю».

Владислав же заявился в час ночи и спал до десяти часов утра. Лиля приготовила завтрак и поехала на вокзал почитать расписание автобусов.

Два дня прятала она билет в ящичке, два дня жила спокойной изменой, думала о свидании с Дмитрием ежеминутно. «Не могу, не могу больше. Все кончено, разбито. Нет и не было никакой любви». Она невинно, с упрямством лгала себе и забывала старые дни. О том, что будет, когда она возвратится назад, Лиля как-то не гадала. Всеми ветрами несло ее в станицу.

Она как народилась. В автобусе часто закрывала глаза, сумрак помогал ей мечтать о встрече, спрашивать Дмитрия о том, что обещало лестный ответ; и обнимала его она с такой страстью, с такой горестной нежностью, что поневоле вздрагивала и после долго смотрела на майскую степь.

В станице она испугалась. Белые стены, окошки рассыпавшихся по возвышению хаток, солнышко, местные люди как бы спросили ее: зачем ты здесь? кто тебя звал? Мигом слетел ее сон, опять явилась ей жизнь. Что подумает Дмитрий, когда увидит ее? Ей стало стыдно, она колебалась подойти к кому-нибудь и справиться, где живет Дмитрий Погодаев. Где-то у самого моря, во дворе с турецким колодцем. Две акации, говорил он, бросают тень на красную крышу, третья подрублена. От танка на постаменте она прошла к пустой низине, свернула в улочку к бане и поглядывала через заборчики на огороды.

Она медлила. Пусть солнце склонится к горе, а она пока обойдет станицу, поглядит, где что находится. Улочка повела ее выше, и море было по правую руку, только внизу, за хатками. Лиля тянула, не взбиралась на раскопки. За последней хаткой, перед далекой Лысой горой на западе, она скинула мягкий плащ, поправила волосы, надела очки. По тропинке направилась к круче. «Море!» — сказала она там. Снизу, с голой необъятной воды, вместе с ветерком долетела к ней ласка; на душе и счастье и грусть. Море! лодки; птицы. С севера, наверное из Керчи, плыл катер, чайки густо замирали над ним. И так тихо, волшебно кругом! О чем жалеть? Жизнь раздольна, вездесуща и неистребима. А можно было дома сойти с ума или умереть и унести с собой о мире одно проклятое мнение. Зачем же? Надо жить. За полгода она наслушалась о станице от Дмитрия, но вот она перед ней, и еще краше, занятнее слов, и она, как все женщины, проникалась особым чувством ко всему, что было связано с жизнью того, кого любила. Вот она и здесь. Лиля подстелила плащ, села, обхватив руками колени, и глядела вокруг. Волны выплескивали на берег траву. Самое лучшее, если бы Дмитрий застал ее здесь, в такой позе, подкрался бы и закрыл ей глаза ладонями. Зачем двое портят друг другу жизнь? Наговорят столько гадостей, что потом и в добрый час уже кажется нелепой и фальшивой нежность? Жизнь не сложилась, дом загажен, но разве ей хуже сейчас одной? Разве море, крики чаек, свобода, мысли обо всем на свете, благословение в душе, причастность только миру, только ему нужны менее домашнего уюта, надсадного терпения, добывания кормежки и полуночных вялых обязанностей?

До пяти часов вечёра сидела она там. Идти — не идти? краснеть за свое появление?

Дмитрий удивился и растерялся, когда увидел ее во дворе. Вид его передал ей, что здесь она не нужна, и она в какую-то секунду пожалела, что не уехала назад последним автобусом. Кто она, зачем вторглась в чужой двор к квартиранту? У белого колодца стирала тряпочки Боля, а на раскладушке лежал голый по пояс лохматый парень. Слов, придуманных еще в автобусе, уже не скажешь. Она принялась извиняться за беспокойство и глупо объяснять, зачем ей понадобился Дмитрий.

— Милости прошу за мной,— сказал Дмитрий. — Чего так поздно?

— Были кой-какие дела.

— Это Боля, это Антошка.

Лиля поклонилась и смущением выдала себя совсем.

Еще входили когда, нагибались в дверях, сердце у обоих застучало чаще, чувство наполняло их, и глаза блестели. То был стыд любви, желания, любви мгновенной, ничего не обещающей, кроме радости в скорые короткие минуты наедине. Они прикоснулись друг к другу, и стало легче; молча, ласковым перебором рук Лиля сказала ему, как исстрадалась она и как счастлива, и что она берегла для него и зачем приехала.

— Стой, стой так... — шептал ей Дмитрий.

— Войду-ут...

— Это же мой друг Антошка. Стой.

— Я не хочу от тебя никуда уходить...

— Молодец, что приехала.

— Немножко страшно было.

Они сели друг против друга, рук не разнимали.

— Побудешь у меня?

Лиля неуверенно и обидчиво повела плечом.

— Раскладушку найдешь, да?

— Как пожелаешь.

Лиля быстро ущипнула его и встала. Дмитрий поймал ее руку и притянул, усадил на колени. Говорить не хотелось, слова сбивали, приятней было молчать и ласкаться.

— Ты рад? — шептала Лиля. — Ты не ожидал, да, что я смогу?

— Не ожидал — и хорошо.

— Я чуть не уехала,— повеселела она. — Уже купила билет, а потом стало жалко, что тебя не увижу. Как это я тебя не увижу? Зачем было торопиться, в автобусе с тобой разговаривать? Я как подумала в последнюю минуту, куда мне возвращаться,— нет! Не хочу, опять то же. В автобусе видела сон.

— Какой?

— Потом. Я часто-часто тебе что-нибудь рассказываю.

— Что, что?

— А всю жизнь свою рассказала.

— И я как раз ее и не знаю.

— У нас ведь еще будет время? И здесь, и...

— В Керчь поплывем?

— Ой, коне-ечно. Я давно нигде не была. — Лиля взглянула на тициановских богинь. — Мы сидим, а Антошка войдет.

— Познакомлю вас.

Антошка притащил полную сумку продуктов, три бутылки вина; они выпили по рюмке и в сумерки пошли к морю. Антошка за столом подшучивал. Лилю представил Боле как «искусствоведа из центра». Боля дошла с Лилей под ручку до беленькой косой хатки у самого берега и сказала ей, что она не спит допоздна и пусть Лиля приходит к ней. Они повернули влево, ступали по траве у волн, говорили о Керчи. Антошка чего-то запинался, отставал, но Лиля звала его. Они как будто гуляли, как будто интереснее всего было изображать Егора, сочинять вслух смешное в своей нарочной глупости письмо и приглашать Лилю в Сибирь, и поминать греков, турок и запорожцев, а кто-то над ними и каждый из них понимал одно: близка минута возлюбленных...

— Живешь ты, Дима, прямо в Греции, — сказал Антошка. — Черепки, море, виноградники. А тихо. Неужели правда здесь жил дед Демосфена? Давайте сюда переселимся. Егора заманим. Найдем ему ставку? Ну, завхоза место у тебя есть? Он любит.

— Егору найдем, а Никите, а тебе?

— Я стану декорации писать. Вы как хотите, а я искупнусь!

Они промолчали, подумали: наконец-то их оставляют. Сзади над головою глиняная стена, впереди выступ (туда побежал Антошка), сбоку море, пустое и ленивое. Дмитрий осторожно повернул Лилю за плечи. Она целовалась страстно, шептала ему слова бесконечной верности, торопилась поблагодарить за счастье и — о женская доля! — на всякий случай оберегала свой завтрашний день: «хочу быть с тобой всегда...»

Обратно шли виновато, поодаль друг от друга.

— Устрой меня в гостиницу, — сказала Лиля.

— Ни за что.

— Но, Ди-им... Что подумают!

— Пойдешь к Боле. Надсона почитает тебе.

— Я в гостинице переночую, а утром приду.

— Там мест нет.

— Тебе дадут.

— Мне, но не тебе же. Ты мне так и не рассказала свой сон.

— У нас ведь еще будет время? Ты не прогонишь меня?

— Он не станет тебя искать?

— Я об этом не думаю.

— Он же сказал, что без тебя не может.

— Ненавижу! Вернусь и буду вспоминать только нашу встречу. Ты появился, был снег, помнишь? Я тебя всегда ждала в снег. А ты долго не приезжал.

«Почти все вы, — хотелось сказать ей, — кричите «караул!» в самую последнюю невыносимую минуту. И зря взглядом винишься передо мной, что ты замужем за тем, кого не любишь. С несчастьем или кончать, или не вспоминать о нем».

— Ой, что это? — Она взглянула под ноги. — Ко-ошка...

Дмитрий присел на корточки и обнаружил пропавшего Болиного кота.

— Спирька! Ах ты плут, донжуан. Куда ты пропал? — Он взял его на руки. — И слепой, и глухой, а все ходишь вспоминать счастье. А Боля тебя ищет.

— Бедный... — погладила его Лиля. — Кто его так?

— Был, скажи, Спирька, молод, горяч, остроумен. Увлекался балами, прогулками. Кавалергарды устроили «темную». Да? Мурчишь. Да, Спирька? Поволочился в свое время? «Сияла ночь, луной был полон сад?»

Они принесли его, отдали Боле.

Антошка опередил их, накрыл стол и опять куда-то исчез.

Лиля сняла босоножки, прилегла на кровать. Еще два часа назад она бы не посмела сделать это. Дмитрий вошел, она улыбнулась ему затаенно.

— Тебе хорошо у меня? Кавардак, но на стене Тициан.

Она вытянула к нему руку, томно позвала к себе.

— Боля, — сказал Антошка, когда пили вино, — я предлагаю чокнуться за эту вредную пару. Они заставили меня тонуть, но я им прощаю.

— Они мне Спирьку нашли.

— Боля, возьмем Лилю к себе? — Дмитрий подтолкнул Лилю плечом. — Или отпустим ее в храм торговать свечками?

— А что: это дело, — сказал Антошка. — С миру по нитке — голому рубашка.

От трех рюмок вина голова у Лили закружилась, и уже было все равно, думают о ней что-нибудь этакое или нет. Она даже радовалась, что Антошка с благословением замечает, как она, чокаясь с Дмитрием, шевелит губами, обещая поцелуй.

— А теперь мы покурим на улице, — встал Антошка. — Не возражаете?

— Мы с удовольствием посекретничаем с Лилечкой.

Боля достала из кармана фартука зловещий «Памир», вставила сигарету в мундштук и закурила. Друзья быстренько вышли.

— Боля... Можно я буду называть вас как Дима? Боля, у вас счастливо сложилась жизнь? Почему так получается... Люди, которым написано быть вместе, живут врозь? Несправедливо устроено.

— Вы замужем?

— Да, но... Выходила, ничего не понимала. Где любовь? Она стала только коротким полуночным

бредом. Сходятся, чтобы мучить друг друга. Вы понимаете, почему я здесь?

— Догадываюсь.

— У Димы и друзья какие. Я же чувствую. Раньше, говорят, такой пошлости не было.

— Все было. Всегда все было.

— Давайте, Боля, мы с вами одни выпьем. Оно легкое. — Лиля налила ей. — Мне хорошо сегодня...

— Дай бог, дай бог...

— Маме пожалуюсь, она: «Знаешь, доченька, они сейчас все такие». Она так же, как вы, верит в судьбу. Кому что. Но хорошие есть, есть! Выпьем за них?

— Вам так хочется любить (это в глазах у вас), что я вспомнила свое девичество. — Боля пригубила рюмку и тихо, целую минуту, опускала ее на стол. Длинным пальцем другой руки она водила по ободку. — Это такая, Лилечка, печальная история...

— Расскажите! — подвинулась к ней Лиля. — Выпейте и расскажите.

— Вино не поможет, я если говорю, то всегда откровенно. Если у вас с Димой будет все хорошо и вы придете сюда, то, возможно, будете свидетелем одного события.

— Какого, Боля?

— Я когда-то давно любила одного человека... Василий Мудров... Он был сирота и усыновлен богатыми людьми в Варшаве. Тогда Варшава находилась под царской рукой, знаете? Ну вот. Я жила у бабушки по матери в деревне Зыбань, на Волге. Комната моя выходила на Волгу. Помню, вековая ветла стояла у дома. Деревню затопили, когда строили искусственное море. Я не была там с четырнадцатого года, как началась война.

— «Николаевская», моя бабушка называет.

Боля плакала. Она, видать, плакала всегда, вспоминая этот год, глаза мгновенно наполнялись искристой водицей; ее слезы не тяготили слушателя, Боля не просила разделять ее горе и искать слов утешения; она вытерла глаза платочком и стала прежней.

— Я никому никогда не рассказывала... Кому интересно? Вообще удивительно: сейчас живут с уверенностью, будто никогда не умрут. Так вот, отец и мама мои, с двумя старшими детьми, жили в Харбине, папа заведовал у правителя маньчжурской дороги Хорвата. Я к бабушке настолько привыкла, что маму и не вспоминала. Бабушка и отвезла меня в гимназию в Корчеву. Поставила меня на квартиру к старушке-просвирнице. «Ну, дочка Олечка, будем на просвирни печати класть»,— и сейчас помню ее слова. И вот мне тринадцать лет... Получили письмо, что отец прибудет с мамой на пароходе.

— Вам не скучно без нас? — заглянули Дмитрий с Антошкой.

— Не мешайте, ладно? — мы разговариваем, перебьете,— прогнала их Лиля рукой.

— Получили письмо... — продолжала Боля. — Я привыкла к крестьянским людям, а отец на фотографии важный, вся трясусь. Родня съехалась. Подходит пароход «Голубой». Я стесняюсь! Никак маму не называла, чужая мне, и все. Сестры в китайских наколках, платья на них с оборками, длинные; на маме башмаки; привезли подарков: японские корзиночки, веера, зонты, уральские сапожки на каблуках. «Какие ты платья нашила!» — бабушка говорит. И поскакали мы в деревню Зыбань на тройках. Так у меня в памяти и сохранилось: поздний вечер, длинная лесная (березы и ели) аллея и папина декламация: «Ночь холодная мутно глядит под рогожу кибитки моей!..» Я раньше много знала стихов, но три особенно мне по душе, и вот одно из них — Полонского. Раньше как-то меньше читали книг, все перечитывали любимые, три-четыре книги может хватить на целый век — возьмите ту же «Войну и мир». Ее теперь трудно почувствовать так, как наши мамы или даже мы чувствовали. Я перечитываю ее каждый год,— наверное, потому и живу долго.

Боля размяла сигарету, Лиля поднесла спичку.

— В бабушкиной деревне, на самом краю у леса, была усадьба. Как раз на другое утро, после приезда папы с мамой, я шла там с бабушкой и увидела красивого мальчика моих лет. Красивый мальчик, его привезли на лето к Ковальскому. Вася Мудров. Через три года мы уже были дружны, ходили вместе в лес, начиналась любовь наша, но мы были как дети, он меня даже за руку не брал. Позвал меня как-то к господам. У них богатый дом, говорили на двух языках. В зале концертный рояль, портреты предков. Я стесняюсь, я привыкла к простоте. Вася сел за рояль. «Мадемуазель, может, вы споете вдвоем?» — барыня мне. Я побоялась. А голос у меня был. Пел он, знаете что? На слова Фета.

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.

Боля прочитала стихотворение до конца; Лиля слушала и жалела, что ей никто никогда таких стихов не читал.

— Потом он поступил в Московскую школу прапорщиков. Прислал мне свой портрет, на обороте написал: «О любви твоей, друг, я часто мечтал». Из Надсона. На каникулы, на пасху приезжал, приходил ко мне в комнату на Косой улице, в Корчеве, с видом на храм Петра и Павла. У меня был маленький плетеный столик и плетеные стульчики. И он садился и рассказывал о московской жизни, о Варшаве. «Поедем в твою Зыбань?» Дядя даст лошадь хорошую, шикарные сани. Мама мне шаль с махрами. Отец на пасху, на рождество ли ездил в Москву, привозил мне шевровые ботинки на крючках, теплые. Я стану надевать, он мне застегивает, а мама вышла: «Рано вы ее стали баловать!» — «Ну что ж, детке вместо конфетки»,— ей. Уезжал до Завидова — в офицерской шубке с кенгуровым воротником. Какой он был,

э-э, Вася Мудров. «Настал мой час умереть за Родину!» — сказал, когда началась война с Германией. Приехал прощаться со мной. «Надень,— попросил,— свою шляпку и платье». Такое красивое маркизетовое платье, и такая шляпка была у меня газовая с розочками, а у мамы шарф из шифона, белый, то-онкий. «Надень. Я видел тебя в нем во время крестного хода в день Смоленской Божией матери, двадцать седьмого июля. Надень, я посмотрю и уеду». Да, двухъярусовая шляпка с розой, платье с гипюром, и шарф, как фата, мама привезла из Харбина. Я вот так его накину, а край туда,— согнула она кисть к плечу. «Я тебя,— говорил,— никогда не забуду. Буду писать тебе с каждой станции. И ты мне пиши». Маму просил: вы ее заставляйте писать мне почаще. И попрощались. Он напоследок вложил мне в руку листочек, свои стихи, я плохо помню теперь; что-то: «Жалею я, что миг короткий, тебя уж нет... еще строчка... твой взгляд потупившийся, кроткий»... забыла! «Ты меня прости,— я сказала,— я не приду на вокзал. Не могу». В шестнадцатом году он уже был адъютантом генерала Брусилова. И больше я от него...

Боля замолчала. Лиля глядела на ее лицо и думала, что только глаза, большие, темно-синие в сумерках, могли напомнить о той ее молодости, когда она в белом платье прощалась с прапорщиком русской армии. Уже вертелись на языке слова: «...а какое событие вы ждете?», но вошли Дмитрий и Антошка.

— Мы разговорились, а вы молчите? — сказал Антошка.

Спала Лиля в Болиной комнате.

Перед тем как потушить свет, рассуждали о чем попало, но о судьбе Василия Мудрова не было сказано больше ни слова. История нежной оборванной любви, несчастие целой жизни, долго хранимое в сердце и наконец открытое малознакому человеку, заглушили в Лиле свою боль.

Лиля лежала на раскладушке, повернувшись к белому ночному окошку.

Завтра к вечеру ей отправляться домой, и что ее ждет? Молчание, скандал?

«Проснись... — хотелось ей донести за стенку свой горячий секрет. — Пройди под окном, что ли... Я не рассказала тебе сон... Я видела, будто знакомыми улицами иду к маме, но не могу добраться. И шла к базару, где был *магазин сладостей,* и тоже не находила его, все вдруг исчезло. А я иду, иду. И вижу вывеску: «Сладости». Вошла по ступенькам, они высокие, да много их, поднимаюсь, поднимаюсь, и мне все лучше, все легче. А сбылся мой сон с тобой...»

Боля, кажется, уснула. Через час Лиля, как воровка, ступила на пол, напрягалась, чтобы не хрустнули косточки. На все унизится женщина, если ей вздумалось быть счастливой. Она подхватила платье и в босоножках прокралась к двери. Белый слепой кот прыгнул со стула за ней. Дверь скрипнула, но Лиля уже была на улице. Она ли это? За двором чернели холмы раскопок, поблескивали под луной осколки забытых плиток. Холмы, яма, жалкие следы роскошных некогда комнат... Чья-то далекая чужая жизнь миновала, и ее, Лилина, минует,— чего ж упускать короткий миг наслаждений? Она обручем сложила платье, просунула голову и стянула его вниз, села на краешек каменной кладки колодца, оперлась рукою на деревянную крышку. Луна клонилась к Лысой горе. Который был час? Наверное, третий. Почему мужчины не дорожат чистыми минутами и загораются всегда некстати? Разве тяжело было сказать, желая доброй ночи, чтобы она вышла? Как подойти теперь и разбудить?

Лиля сняла с колен белого кота и тихо прошла за угол хаты. Дверь была открыта. Кот сопровождал ее к круче, там она глянула вниз и узнала место, где она обнималась вечером с Дмитрием. Страстно, с воскресшим чувством пожелала она броситься туда и, подобно птице, крыльями задержать у земли падение. И сесть там, и обнять руками колени, и плакать легко и незаметно.

«Ты надень белое платье, я на тебя погляжу и уеду»,— вспомнилось ей. Она несколько раз проговорила эти слова, точно они относились когда-то и к ней.

Глава четвертая

ПИСЬМА, РАЗГОВОРЫ, ПИСЬМА

1

«Кончается моя вольная студенческая жизнь! Вчера сдали дипломный спектакль, был пир. Самочувствие было изумительное, грусть — светлой, прощальной, грусть от умиления прошлой жизнью, от чувства «семьи единой», которое рождается в торжественные минуты какого-то конца, к которому стремились целых четыре года. Все любили друг друга в этот вечер, прощали ошибки, недоразумения, обиды. Куда бы ни разбросала нас судьба, мы, попав в матушку-Москву, будем искать свой уголок в ней, открывать двери студии и ждать, что нас узнает дежурная у телефона или кто-нибудь из педагогов. «Отечество нам Царское Село!» Опять целый вечер вспоминал тебя, звал тебя, после нескольких рюмок письмо в башке моей темной сочинялось! Горевал, что тебя не было! Ведь я до сих пор свято верю, что ты мог бы этим вечером стоять рядом со всеми нами, плясать, праздновать свое окончание. Ну что я мог?! Мог дать телеграмму, да ведь бесполезно; знал, что не приедешь. Да и писал я тебе, кажется, о грядущем вечере. Ну! Извини, друг, расстроил? Я уж под занавес перед всеми нашими ребятами и девушками-женщинами слезы лил: друга нет со мною! Сидит у моря, разгребает навоз, а я пью! Чуть наутро не вылетел к тебе...

Не своим героическим окончанием училища, не рысканьем по свету, не победой над женщинами

горжусь я, а нашей дружбой. «Вернее дружбы нету талисмана»,— кто сказал?

Где ты? что с тобой?

Вполне возможно, что я, снимаясь или играя в театре, еще долго буду думать, что мое место в машинном отделении, где-то в ночной смене у раскаленной докрасна железной печки, в сарае-мастерской, куда мы приходили из кессона на перекур лютой казахстанской зимой, там, где правда не за восьмьюдесятью заборами и т. п. Жизнь, живое навсегда останется для нас и правдой, и радостью, и печалью, и искомым, и желаемым, тем, чему единственно мы верили, за что и по морде не раз получали... А жизнь должна быть *в деле,* в живом деле, и в людях, занимающихся живым делом, а не прикрытием так называемых отдельных недостатков. Ремесло, любимое ремесло приносило отраду всем и во все века. Все предыдущие годы, пишет мне Никита, было ленивое ожидание чего-то, что свалится с неба. Причем ожидание было по-хамски уверенным и, конечно, бесплодным. Мы бьемся в одиночку, отчаиваемся, порою кажется, готовы плюнуть на все, чему молились почти десять лет, и... вдруг!

Где же ты?! Как ты мне нужен!!!

Но мы еще встретимся, ты обязательно приедешь ко мне в Изборск — место съемок. Впереди у нас долгая жизнь, и мы побываем с тобой и на Оби, и в Колывани, и на Дону — я буду сено косить, ты книжки читать. Письма уже не выручают... Твой Егор».

Дмитрий долго лежал на кровати с закрытыми глазами. В Москву! К черту все! У каждого свой дом, тайное счастье, друзья. На юге он одинок. Невмоготу. Уехать, забыться!

2

Весь вечер в субботу он лежал на койке.

— Что, мон пти? — зашла Боля. — Что вы там переживаете. Все будет хорошо.

— Да так... — Дмитрий привстал с постели.— Егор письмо прислал.

— И мне из Австралии. Подружки по Харбину.

— Пишут, сколько у них комнат? Вспоминают Россию только в связи со своими имениями, магазинами, пароходствами?

— Это их мамы вспоминали. Меня они называли «розовой эмигранткой».

— За что же?

— За сочувствие Советской России.

В руке она держала несколько конвертов. Писала Боля каждый день. Это были длинные неторопливые беседы с новостями, с советами прочитать в «Известиях» такую-то интересную статью, с рецептами лекарственных трав, с вопросами, сведениями, как поживают старые знакомые. Большие добросовестные письма. Подругам в Австралию она посылала письма реже. Она сомневалась, что они «готовы променять все богатство на лужайку в саду, где бегали девчонками». Праздные сентиментальные чувства, и только. Стало обыкновением — жаловаться на тоску по родине и не ехать. Боля не звала их, она все хорошо понимала. Многие, кого она жалела, повернули в другую сторону — в Австралию, Бразилию, многие не прощали разорения отчих гнезд, кое-кто помоложе никогда не видел российских полей. Подруг увезли мужья. Еще накануне отъезда ей говорили: «И письмо-то от тебя не дойдет. Как в воду канешь». Но на перроне, где пахло китайскими фруктами, уже не пугали ее, просили: «Будешь ехать по России, поклонись от нас». Час отъезда! Уже пусты комнаты, где скончались мать и отец, попрощалась она вчера с их могилами, и Харбин, с Пристанью, вязами на Старохарбинском шоссе, Соборной площадью и любимыми магазинами, уходил из ее жизни. В вагон она погрузила китайские плетеные кресла, стол и три чемодана с бельем. Библиотеку Боля взять не решилась и раздарила. Теперь она жалела о ней, было много ценных изданий, собрание мемуаров, приключенческой литературы, которую она взахлеб читала в Коммерческом училище. Слова отца благословляли ее напоследок: «Поезжай в Россию. Я не доживу, ты уезжай. Прах наш с матерью потом вывезешь». Он умер через несколько недель после вступления в Харбин Советской Армии. В кинотеатре «Азия» шли первые советские фильмы, в домах, где расположились военные, играли гармошки, в клубах пели «Темную ночь». Боля и в прежние годы была холодна к политике. «Какое нам дело,— говорил отец,— до сборов в крестовые походы? На что они надеются, на какое возрождение? Прошлого не вернуть».

— Вы обещали написать воспоминания,— сказал Дмитрий.

— Кому нужен бред какой-то старухи? Не стану же я писать, как в нашем Коммерческом училище висел портрет государя, государыни и наследника, а потом в марте директор выстроил нас и сказал: «Государь император отрекся от престола». И заплакал. Что тут интересного? А на следующий день... все портреты унесли, и на месте гвоздей чернели дырочки. Это я помню... Пойду, брошу,— пошевелилась Боля. — Вы дома будете?

— Посидите, прошу вас. Так тошно. Порассказывайте мне.

— О чем?

— Да о чем угодно. Когда касаются истории, жизнь становится полнее.

— О чем же, о чем? Как вздыхали, читая советские газеты,— «это в нашем имении, в нашем?», как вспоминали зарытые драгоценности в каких-то уголках и уверяли, что их никто не найдет? как одной княгине предлагали учить советских детей музыке и она отказалась? или как, допустим, некоторые не брили бороды, поклялись носить бороду, пока не будет освобождена Россия, и дело доходило до курьезов: «А ваш брат все еще

с бородой?» — смеялись. Про это? Принципиально писали «ъ» и «ѣ», дни рождения отмечали по старому стилю. Многие военные не могли пережить поражение и ушли в священники. Чай пили в подстаканниках с вензелем «Н II» и двуглавым орлом. Один купец все золото отдал французам. Про памятники на кладбищах? Никого уже нет, и нечего ворошить. Не залеживайтесь. — Она перебрала конверты в руке, перечитала адреса. Каждой подруге она писала в конце: «До свидания, моя милая, моя любимая, моя голубушка...» — С вами заговоришься...

3

Утром приехал Павел Алексеевич.

— Я очень рад видеть,— сказал Дмитрий,— одного из самых больших режиссеров нашей эпохи!

— Ты веселый.

— По утрам он думал о судьбе родной страны,— продолжал Дмитрий,— в обед о своем величии, перед ужином о тех, кто его обогнал. «Ужасно, ужасно! Кто лезет вперед? Молокосос, мальчишка, а уже заведует отделом. Я выше его, но я никто. У меня шестеро детей, а я никто».

— Это я?

— Ага. Он писал пьесу. Долго, мучительно вынашивал сцену с тремя сестрами. Вечер, три сестры развалились в плетеных креслах, одна из них читает журнал «За рулем». Неожиданно входит с соленым огурцом Антон Павлович Чехов. «Ну и как? — спрашивает младшая сестра, в нее тайно влюблен автор. — Много в этом году намолотили зерна, Антон Павлович?» Чехов, по ремарке, лезет под стол.

— Все ты про меня знаешь.

— Ага,— сказал Дмитрий. — Я знаю даже, почему ты ко мне не едешь.

— Почему?

— Потому, что ты не хотел, чтобы комиссия видела тебя со мной. Это может тебе помешать.

Добрых два часа Павел Алексеевич пересказывал фильмы. Дмитрий лежал на койке и рассеянно слушал.

— А вчера,— сказал Павел Алексеевич,— я смотрел американский фильм о короле. Король! Пре-екрасно! Он не понимает, он король, он не понимает, что толпа может казнить своего короля. Это абсурд, это недоразумение! Он такой, он родился *королем,* и так воспитан. Я его понимаю! Он король! У меня тетушка в Ленинграде, я приеду: «Как ты живешь, Павлуша?» — «Ничего, хожу по грязи, холодно — по утрам колю дрова». — «Ка-ак?! Ты, Павлуша, сам колешь дрова?! Ты же... ты же...» Она не понимает,— с прискорбием объяснял Павел Алексеевич,— до ее сознания не доходит, вся ее жизнь — наука, конференции, рауты, гостеванье, она борща не сварит. И король. Он не верит до последней минуты: как же она, толпа, будет без своего короля? Она не сможет, она пропадет, ей нужен, нужен король! И раз: топор и головы нет! Посмотри. Я еще пойду. А актеры! а текст!.. ну это же Запад...

«Чем забита твоя голова? Я сейчас буду умирать, и ты не заметишь... Король, толпа, она, толпа, он, король... ах, ах! Крутиться *около* (вот уж действительно) чужого успеха, около чужой жизни и ничего по-настоящему не чувствовать и никого не жалеть... Вся жизнь — пустое участие в прениях...»

Дмитрий вскочил и сказал:

— Каким автобусом я смогу добраться до Краснодара?

— Зачем?

— Не знаю! Не могу сидеть на месте! Устал...

4

«Стойте, красавица! Как вы хороши! Кто вы?.. Задержитесь, я только погляжу на вас. Вы счастливы? К вам бог благоволил особо. Счастливы вы?»

«Зачем вам?»

«Я сейчас уйду и буду думать о вас. Вы прекрасны. Вы не здешняя, да? У нас таких женщин нет».

«У вас нет и мужчин».

Был тихий южный вечер. На первом этаже ресторана «Центральный» молотил палочками барабанщик с тонкими усиками. Вся улица сузилась, густо заплелась поверху зеленью, под этой аркой гуляли вблизи и вдали нарядные горожане. Откуда она взялась, эта красавица? Царственно и смело шла она навстречу Дмитрию, дерзко бросила на него властный взгляд, обожгла и, счастливая, недоступная, понесла себя быстрыми большими шагами (как ходят цыганки) к аллеям парка. Широкий подол ее платья качался из стороны в сторону. Кому достанется это чудо? «Стойте, красавица! — крикнул Дмитрий про себя, когда она скрылась. — Кто вы?» Как пестра и немножко волшебна после тишины вечерняя городская жизнь! И почему не помечтать о счастье с красавицей, которой ты никогда не будешь нужен? Хорошо жить, когда на сердце есть что-то волшебное. Дмитрий удалялся от места, где она мелькнула перед ним, раздразнив, и воображал разговор с ней. У кинотеатра стояли Ваня и Владислав. Как встречаться с мужем Лили, которая говорила Дмитрию в станице: «Хочу быть с тобой всегда...»? Если уж они обманули его, то лучше бы никогда не смотреть ему в глаза. Не знать бы, кого обманываешь.

— Ди-има... — подошел и обнял его Владислав. — Мой милый. Надолго? Сколько можно бороться? Твари негодные. Несчастье твое, Дима, в том, что ты всегда помогаешь людям, которые этого не заслужили, ждешь надежду оттуда, где ее не может быть, радуешься чужим успехам, тогда как эти же люди рады твоему горю, и стремишься,

как всякий идеалист, выдавить на безобразном лице прыщи, а зачем? зачем их давить? — Он глядел на Дмитриевы волосы. — У меня тоже несчастье, я вот рассказываю Ване: позавчера от меня ушла Лиля.

— Как?! — вместо того чтобы промолчать, удивился Дмитрий.

— Очень просто. Попрощалась и ушла. И я понял, что навсегда. Жизнь проста, вы с Егором не хотите мне верить. Я всю ночь лежал и плакал. Слабый человек. Проводите меня до Пушкинской.

Владислав ни о чем не догадывался. Он считал Дмитрия чистым затворным человеком, правдивым до мелочей. Всех подводит доверчивость.

— Меня больше всего потрясло вот что: как она могла уйти?! от меня! Я все мог представить, но чтобы от меня ушла жена-а?.. Я всю ночь лежал и думал: ка-ак? неужели?

— Наивный человек! — сказал Ваня свое, обычное.

— Наивность, мой милый, не самое худшее. Я не понимаю! Почему от меня?!

— Она поживет у матери и придет,— сказал Ваня.

— Она подала заявление. Я тут же дал согласие. Слабый человек. Я слабый, мягкий, Ваня. Я не думал, что буду так страдать. Вел себя с ней негодяйски, да, но я ее и любил.

— Любил? — переспросил Ваня.

— Привык к ней.

«Пил, как скот,— внезапно озлился Дмитрий. — Лез к ней, когда хотелось, не думал: а хорошо ли ей? Возмездие за все».

— Слава богу, театр едет в Сочи, я могу не возвращаться вечерами домой. Мне страшно.

— Ты уж совсем, Владик,— сказал Ваня. — Ты мужчина.

— Что делать, я правда — мужчина. Мужчина и страдает зверски. Боже, Дима, на кого ты похож? Кончай эту борьбу с ихтиозаврами. Найди какую-нибудь пиявочку, побесись с ней — очень способствует оптимизму. Право! А-ах, друзья мои, кто бы нас ни покидал, но ужасно, когда покидают. Поверьте мне.

— За что наказание? ты думал?

— Я играл в драме, Ваня, а жил опереточно. Может, ко мне?

— Нет, нет,— отказался Дмитрий.

— Смотрите, папа ведет девочку,— ангел, правда? Сколько ей? Лет восемь — десять. Она еще будет любить и радоваться, а нас к тому времени может не быть на свете. Я всегда об этом думаю. Ко мне?

— У меня дела,— сказал Ваня.

— Если увидишь Лилю, поговори с ней, может, она тебя послушает.

— Непременно.

— Вчера видел ее во сне с такой близостью, что... Я думаю, самые острые переживания у меня были только из-за женщин. Ничто меня так не волновало. Я бы, Дима, не то что драться не полез с твоими мерзавцами, я бы горячо поцеловал их и дело с концом! Живите, твари, вас не истребишь.

— Надоела ложь.

— Но людям нельзя говорить правду, Дима. Они обижаются!

— Мне его жалко,— сказал Ваня, когда Владислав ушел.

— Отвыкай произносить дежурные слова.

— Он мой друг.

— Какой он тебе друг? Только знакомый. Отвыкай, отвыкай, Ваня.

— Ты всех учишь, заметил?

— Не выношу лжи. Ты солгал сейчас. Зачем?

— Но и ты скрыл правду.

— Что бы я ему сказал? Это совсем другое. А где Лиля, не знаешь?

— Я слежу только за своей женой.

— Получше следи. Никто не знает, что с ним будет завтра. Вот видишь: взяла и ушла. И никакая, Ваня, музыка не поможет. Понял?

— Поезжай в станицу, она там. Или у матери.

— Мать погонит ее туда, откуда она пришла. Я не буду ее искать. Знаешь, я, наверное, выйду сейчас на Славянскую дорогу, поймаю машину и уеду назад. А завтра возьму отпуск. Хочу к Егору, потом в Кривощеково. Тошно мне! Ничего! Ничего не хочу! Устал, устал, устал...

5

В кармане пиджака лежало нераспечатанное письмо, которое четыре дня назад вытянула ему почтальонша прямо на улице. В хлопотах Дмитрий забыл про него.

«Дорогой мой Димок! — читал он теперь за городом под окошком ГАИ. — Я бы хотел получить от тебя пару участливых и необязательно умных слов, немножко зубоскальства, немножко новостей. Я вкалываю как муравей, езжу по области, ни одной минуты вдохновения. Всюду нужно ломить и биться головой.

С Егором пожили в Москве хорошо, но мало! Этот молодец переживает сейчас бурное время. Наташка стала худенькой, маленькой (одни чистые глаза), но духом не падает, изо всех силенок любит Егора. Я веду себя скромно. Правда, в вагоне поезда «Сибиряк» одна девушка заговорила со мной и через неделю милостиво позволила мне убедиться, что я еще ласков. Напиши, дружок, страничку-две, полстранички, или длинное ругательство, или, наконец, просто адрес, и я буду рад. Обнимаю. Никита».

Дмитрий медленно свернул листок. Впервые за столько лет письмо от друга пришло не вовремя, и легкомысленный тон его сердил и раздражал.

Глава пятая

МОСКВА

1

То был последний год, когда они уезжали в Кривощеково вместе. В шесть часов утра Егор встретил Дмитрия на Казанском вокзале и сказал: «Я взял билеты на послезавтра». Дом еще был там, где ты родился. Много раз счастливыми садились они в фирменный поезд «Сибиряк» и трое суток поджидали у окна родные пастбищные окрестности. Дом еще там, там, у Оби, в уголке спрятаны на память школьные тетрадки, на кровати твоя подушка, в горшочке цветок столетник,— возвращайся, живи, ходи по Красному проспекту, через мост, по низам и горкам левобережья, плыви на катере в Ягодное, в Кудряшовский бор,— на что тебе Москва, юг и прочие места? Дом там, где родился.

Где-нибудь у стены между входом в метро и третьим подъездом присаживались они на чемодан, съедали по яблоку и зажигали сигаретки. Робкое солнце играло в стеклах Ленинградского и Ярославского вокзалов напротив. Вчера, до самого сна, идиллически умиротворяла Дмитрия провинция, и вот Москва, камни, бойкий люд. Все в голове как-то сразу менялось, перекашивалось, и как ребенок держится в темноте за юбку матери и перестает плакать, так Дмитрий радовался присутствию Егора. Без него было бы страшно.

— Последний разок поспишь у меня на Трифоновке...

— Семь лет прошло,— сказал Дмитрий.

— Семь лет. Мать моя! Чемодан писем. И больше всего трепотни моей занудливой. И дурачки еще вроде. Я об одном жалею! Оставь дотянуть...

— На це́лую.

— Народное добро переводить. Я экономный.

— Я так наскучался, поводи меня по Москве. С оторванными пуговицами ходишь, ты ж артист.

— Кто там на меня смотрит? Москва. За что люблю ее, матушку,— всякого она терпит. И ряженых, и таких, как я.

— Женщины тебя исправят. Я в Керчи Наташу видел. Ехала из Ялты. Пионерская дружба скоро кончится?

— Я про себя сейчас ничего не знаю,— сказал Егор.— Ничего не знаю, Димок. Я их всех люблю.

— А мне к Астапову бы зайти. Кто еще заступится?

— А чо, сходим.

Астапова последние два года было не слышно и не видно. Его коллеги делились планами, охотно раздавали интервью, позировали на полевых станах и в заводских цехах, вели бесконечные дискуссии, каким должно быть добро. Астапов молчал. Когда кто-нибудь пускал слух, будто в «Правде» вот-вот замелькают главы из его романа, Дмитрий по утрам начинал бегать на почту и просил выделить ему свежий номер. Ночью, устав от гневных немых речей, он поднимался с постели и выходил на улицу. Одиноко мерцала на севере звезда. На нее он смотрел и рассказывал далекому Астапову о том, что познал в жизни, просил душою поддержки. Раз десять пробовал он писать ему жалостливое письмо, да в конце концов распечатывал конверт и выбрасывал: стыдно было своей внезапной боли.

— Нам каждые пятьдесят лет нужен Толстой,— сказал Дмитрий,— нужна какая-то абсолютная совесть, возле которой хочется притихнуть, ей поклониться. Зайти бы к Астапову да по душам, по душам... Но без тебя я не пойду.

На Трифоновке достраивали новое общежитие.

— Опять меня ругать будут, что пустила,— сказала постаревшая Меланья Тихоновна. Она не помнила Дмитрия.

— На своей койке положу. На две ночи-то, матушка?

— Идите, да чтоб комендант не видел.

«Последний раз поспишь на Трифоновке...» А где же теперь они будут встречаться? Москва по-прежнему пугала, это уж не пройдет никогда. В студии, где шел набор на первый курс, Дмитрий почувствовал, что иссякли его последние надежды. Отстававшие в школе на семь-восемь лет ребята и девочки вдруг подросли и жаждали вступить в те пределы, которые еще недавно принадлежали другим. У них в запасе еще много лет для обольщений, а Дмитрию назад не повернуть: возраст грозным запретом перекрыл дорогу. У кого-то все случилось вовремя, у него — нет. Ему вечно предстоит догонять самого себя. Как? где? Он запрятал свою печаль глубоко, стал разумней и проще, но студия с этими мальчиками напомнила ему о старых страданиях. Дмитрий часа два топтался на крыльце студии.

Вечером они пошли в Дом кино на просмотр американского вестерна. Шли веселые, озирались на красавиц.

Без пригласительных билетов друзей в Дом кино не пускали. На их счастье, подоспел к дверям Василий Ямщиков. Через два часа они заметили его в уголке на диване веселым, крепко выпившим. Он позвал их рукой. «Земляки! — улыбался он покровительственно. — Отвезете меня домой?» Кое-кто из обалдевших не столько от фильма, сколько от западного образа жизни, издалека кланялся Ямщикову, подходил, и потом, пока выбирались к выходу, несколько раз его останавливали, лобызали, трясли руку или подружески что-то сообщали интересное, бесконечное, и он всем обещал: «Зайду, позвоню, прочитаю и т. п.». Так тяжело было ждать его! Уже уходили, и тут вдруг столкнулся он с Паниным.

— Поедем ко мне! — просил он церемонно-сдержанного старого своего приятеля, педагога, с которым Егор готовил на третьем курсе отрывок по художественному чтению. — Мы с тобой пять лет не сидели. И Леночка моя будет рада. По дороге прихватим чего-нибудь.

Ямщиков рад был лететь на край света, пьяно, забубенно, но искренне позабыть свою известность, разбросать по ветру все свои деньги, потерять ночь и день и еще ночь, а Панин чего-то думал, взвешивал. Наконец согласился. Долго ловили такси.

— Ах, Саша,— вздохнул Ямщиков, разваливаясь на заднем сиденье,— если бы ты... сколько бы встреч у нас было. И не хмурился бы на меня.

— Ты человек декоративный,— с легкой дружеской насмешкой тянул Панин,— артист, мне тебя надо долго мыть, полоскать, выкручивать,— тогда будет толк и будет общее.

— Не думай, что мне легко.

— Игра — ваша жизнь. Дай вам характер, материал, что играть, и вы с потрохами отдаетесь в самый тупой, дешевенький фильм. Вам нужны звания, деньги, слава. Где твоя совестливость? А потом напьешься и обсуждаешь, повсюду ищешь бюрократизм, поносишь всех налево и направо. Ну как тебя уважать!

— А ты знаешь, что мой фильм полтора года лежит на полке?

— Не снимайте такого. Ты не маленький. — Панин не поворачивался. — Бедные зрители! Если бы они узнали, если бы они услышали этих кривляк, возвращающихся на тройке домой, валяющих дурака только потому, что им хорошо, им хорошо, и они позволяют себе вольности. Им, видите ли, тяжко. Им тяжко от славы, от дач и легковых машин; столько лет снимались в каких попало картинах, столько лет спала их совесть, но они только и знали, что трепались о совести. Действительно — за что мне тебя любить, мне, толстокожему правоверному крокодилу?

— Ух какой ты злой.

На улице Черняховского они сошли, расплатились. Ямщиков не мог успокоиться.

— Мне грустно, Саша,— сказал он. — Грустно, что и ты не понимаешь меня.

— А кого вы понимаете? Кого? — Они стояли друг против друга, совершенно беззлобно глядели друг другу в глаза. — И что делаете вы в искусстве? Еще не готов фильм, а вы уже поднимаете на ноги всю прессу. Теперь понятно и то, как делается мировая слава. Де-ла-ет-ся!

— Кто еще потерпит такое? Один я. Он негодяй, негодяй,— вытянул стрелой руку Ямщиков,— убивает меня, и я ему прощаю.

— Не играй, ладно?

— Василий Алексеевич,— сказал Егор,— может, мы в общежитие поедем?

— Какой разговор! — ко мне. Вы голодные, ты мне смотри, земляк.

Они вошли в лифт, закрылись. Ямщиков нажал кнопку четвертого этажа.

— Я грешный, грешный, грешный,— продолжал Ямщиков. — Я уступал, да. Я выстраивал свою карьеру, да. Я не дурак, понимал, что без имени ничего не будет. Но никогда — слышишь! — никогда.

— Твой этаж.

— Минуточку,— нажал кнопку Ямщиков, и лифт проскользил вниз. — Ты вознесись, а потом скажешь мне каково. Высокую голову рубить легче.

— И скромностью актеры тоже не страдали. Ты сегодня какой-то хвастливый, глупый, маленький. Что с тобой?

Дмитрий слушал, слушал — сперва с самоуничижением, с доброй завистью к великолепному миру, от которого отстранил его семь лет назад сам господь бог, потом в роскошной, убранной заграничной мебелью и сувенирами квартире Ямщикова стал думать, что оба они, и Ямщиков и Панин, люди благополучные и давным-давно отвыкли от простой нужды, они всем себя обеспечили до самого гроба, а недовольство одного и спокойная властность другого — всего-навсего защита своей обеспеченной жизни. Так казалось. Уж больно высоко стояли они над прочими людьми, среди которых затерялся Дмитрий.

— Ладно,— сказал наконец Ямщиков. — Много политики. Лучше выпьем шампанского и помолчим. Сколько можно выяснять отношения? Выпьем, друзья!

— И я уйду,— сказал Панин.

Но они еще долго беседовали о том же. Ямщиков забывал свой бокал там, где допивал шампанское, шел на кухню и приносил другой: закуску он тоже таскал от стола к столу. На раскрытой полке секретера лежали книги, на стуле грампластинки, которые он за спором так и не насадил на диск. Впрочем, все ходили по кабинету, соединялись на минуту, чтобы чокнуться, прикурить, и опять разбредались. Жена с тарелкой пирогов обнаружилась всего разок, Ямщиков, будто вспомнив, что она у него есть, да такая внимательная, целовал ее в голову и давал понять, что у них какое-то свое, интересное дело. Постепенно вся ямщиковская роскошь в кабинете стала незаметной, и где бы они сейчас ни говорили — на вокзале, в забегаловке, в лифте,— было бы им столь же уютно. Панин, обещавший уйти, снял пиджак и заставил открыть еще одну бутылку. На Дмитрия выпивка всегда действовала быстро, душа раскисала, хотелось дружить, видеть в людях согласие, и было ему плохо, что живет он вдали, стоит вечерами над морем все один, один, один. Панин и Ямщиков обвиняли друг друга все шутливее, и вскоре Панин ушел, Егор и Ямщиков пили кофе на кухне, а Дмитрий закопался в кабинете в иллюстрированные иностранные журналы. Зазвонил телефон. Женский голос спрашивал хозяина, но Ямщиков издали махал рукой: меня нет, меня нет. Женщина не повесила трубку, и на каждый ее вопрос Дмитрий должен был лгать. Пьяна ли она была или расстроена? Она плакала.

— Его нет, значит? — повторяла она. — А вы кто? А он где ночует? Вы можете дать мне честное мужское слово? Честное? мужское? Скажите, ему хорошо или плохо?

Дмитрий в растерянности нажал пальцем рычаг, и связь прервалась. Тут же зазвенело снова.

— У меня нету больше двухкопеечных монет, а вы бросаете трубку.

— Извините, но чем же я помогу вам?

— Скажите честно, ему хорошо или плохо?

— Грустно,— сказал Дмитрий зачем-то.

— Грусть бывает разная. Он человек слабый, беспомощный. А вы ему друг? кто вы? Вы способны понять? Я стою недалеко, пятьсот метров. Вы меня пустите, если я приду поговорить с вами? Вы меня слышите? Я не пойду, не бойтесь. О чем мне с вами говорить. Мне нужен он! Ему хорошо, наверно, вы меня обманули? Слабый, слабый он...

Дмитрий вдруг угадал, кто она, вспомнил ее очаровательный голос. Семь лет назад они вместе пробовались на первом туре в театральном училище. Дмитрий провалился, а Егор и она прошли. Егор столько потом рассказывал о своей любви к ней. Лиза, Лиза! Разве она может плакать? Всегда все были у ее ног, и она плачет, не скрывает ничего перед чужим человеком?

— Передайте — нет у меня сил ничего хорошего говорить, только летят в него прегадкие слова, которые он заслуживает. Ни с одной женщиной в мире так обращаться нельзя. И с собой я не позволю никому! — слышите? передайте! — никакому гению так обращаться. Я стала старухой. Я почти умерла. Только по его вине. Только! Сегодня седьмое число. Срок моего гадания кончился, я должна быть счастлива — увы. Я вернула в цифру семь. Все. Нет духа, нет его. Да что же это такое, на самом-то деле? Чем это жена-то лучше меня?! За что ж — ее беречь и холить, а я? Настанет ли день, когда он придет только ко мне, только ко мне?! И скажите, передайте ему «прощай». И все. И все. И не пишет пусть, и не звонит. Все! Надо положить всему этому дурацкому времени конец. Ничего я не хочу в жизни... Пусть ему будет хорошо. Мне не жалко — пусть ему будет хорошо...

«Нигде нет согласия... — подумал Дмитрий, положив пустую трубку. — Сплошные обиды».

А на кухне уже закадычными друзьями сидели перед бокалами с шампанским Ямщиков и Егор и не собирались кончать беседу.

— ...и бывают такие минуты отчаяния и безысходности,— говорил Ямщиков,— когда все, что казалось тебе близким и важным, никому не нужно, и ты одинок, погибает вся жизнь,— это похоже на безответную любовь... Честное слово. Так больно...

Дмитрий присел у стены и молча, без спросу, поднес к губам полный бокал, налитый ему пять — десять минут назад. Хотелось поскорее уехать в Кривощеково и написать оттуда Лиле.

2

Ночные прогулки! Даже по длинной Москве идти недалече, если сбоку друг и некогда за разговором считать кварталы. Еще покажется, будто мало прошли, и станет жаль, что вот уже и тупик. В эту ночь чуть-чуть хмельные друзья как-то ласково, со стороны по-смешному, по-детски трогательно были настроены ко всему, о чем вспоминали и что окружало их по дороге,— вдруг замирали у каких-нибудь несуществующих ворот в московский дворик, у окон букинистического магазина или посреди узкой улицы с пустыми телефонными будками (некому звонить) и по-чужому разглядывали, душою соединялись в сходном чувстве: что это? что там? чье детство прошло тут? кто повернул ключиком в этом замке? какие слова звучали в этой будке всего несколько часов назад? Как велика земная жизнь ночью, когда все спит и ничего не просит, как тягуча, воодушевленна музыка прошедших и будущих дней! Еще были молоды, молоды, молоды. Еще не знали, что больше уже не будут они так долго и беспечно бродить по ночной столице.

3

Нет уже того последнего дня, когда они уезжали вместе с Казанского вокзала. Нет ничего. Но помнили они то время долго-долго. У всех что-то было когда-то, и большинство торопилось махнуть рукою на то, что мешало устраивать жизнь; но они помнили и любили свои «глупые дни».

Глава шестая

КОМУ ТЕПЕРЬ МЕНЯ ЖАЛКО?

1

В это же лето идиллия их дружбы дала первую трещину. Все четверо понимали, что выстилается в их жизни новая полоса, дальше будет трудней, и сибирской встречи ждали с воодушевлением. Егор примерно с февраля месяца бомбил друзей вопросами: где? когда? насколько? собирать грибы в Кудряшовском бору или плыть по Оби к Ледовитому океану? Он согласился бы на что угодно, лишь бы вместе. Как и всегда. Разбуди его посреди ночи, попроси «умереть за компанию», и Егор вскипит: «Ну давайте, если надо!» Дружба еще в школе сколотилась вокруг него; матери видели, что после его писем кружатся у парней головы, письма соблазняют их, и это опасно, потому что там, где их сыновья застрянут, Егор перелетит на крыльях,— бог дал ему их. В Кривощекове, как и везде, людям заметно прежде всего «что из кого вышло», и уж потом они сплетничают и разбирают, заслужил кто-то свои почести или нет. Когда приезжаешь домой издалека и затеется у стола беседа с матерью о знакомых, простые новости, простая человеческая нужда заглушают в душе легкие до-

рожные звуки. Надо жить, пробиваться! Увязнешь в мечтах, и никто тебя потом не поймет. А Егор все еще трепыхался и сманивал друзей куда-то в сторону. Никита работал, мотался по области с корреспондентским удостоверением, присматривал себе нечто надежное. Антошка ночами подбирал шрифты для книжных заголовков, спал до обеда, много рассуждал о том, какую бы он написал картину, но за нее не брался. Было им уже по двадцать пять лет.

И в двадцать пять лет один из них покачнул алтарь безмятежной дружбы.

2

Первую ночь в Кривощекове Егор всегда не спал. Все влияло: поздний закат (в одиннадцать часов еще красновато тлела полоса неба на западе), картина Брюллова над пианино, расспросы рано поседевшей матери. В два часа он ложился на забытую чистую постель, закрывал глаза, но терпения не было: скорей хотелось приближения утра, чтобы соскочить, выпить чаю и бежать к друзьям. Мать теперь жила за Обью, в конце Красного проспекта, и если он уезжал в Кривощеково, то уж на целый день. Нынче на свидание с Сибирью было отпущено ему всего несколько денечков, надо спешить на съемки в Изборск, и он разрывался: успеть от одних к другим, отказать никому нельзя. Мучительные часы провел он у деда Александра. Дед ревновал его ко всем. «Что ж ты не хочешь даже нашего варенья попробовать?» — обижалась и бабушка. Всех надо было пожалеть, и, чтобы всем стало хорошо, приходилось выкручиваться, лгать: у деда лучше было молчать о матери, а дома поменьше распространяться, как тяжело на старости деду и бабке. Дед вцепился в Егора всею своей немощью и не отпускал. А где же взять времени? Егор еще молод, и жаль пропустить мимо свое! С великой натугой, заранее краснея, произносил он слова: «Ну, деда, я пойду, ладно? Надо бы еще зайти к...» Он только успевал вздохнуть и вымолвить «ну, деда...», как у того уже сверкали на глазах слезы смертельного укора: нечуткий, мол, недобрый внук. А на улице Западной мать Дмитрия, Анастасия Степановна, накрыла стол, и во дворе притулилась спиною к стенке Бабинька, курит Никита, и как же не пойти? А в кармане у Егора письмо из Изборска и письмо из Коломенского от Наташи, ее слова: «Почему, почему ты меня не слышишь? возьми меня куда-нибудь с собой, я буду как невидимка: оглянешься — меня уже нет». Спеши, Егор, везде успевай! Кривощеково — только мгновение. Как же после зимней переписки, искушавшей их жаром неподкупной дружбы, не вырвать у домашних лишний денек на разговоры, хохот, прогулки?! Пусть всем кажется, что друзьям ни в какую пору не обрести степенности во имя будущего счастья. Оно уже было. Оно еще есть.

3

Жила на улице Западной, неподалеку от Дмитрия, неутешная старушка, называли ее все ласково, с поклоном: Бабинька. За что-то выделяла она Егора, посылала ему в Москву поздравления с праздниками, каждый раз спрашивала: когда же появишься? И какое бы короткое застолье не собирала мать Дмитрия в честь друзей, приглашали Бабиньку. Она ждала его и теперь.

На шестом номере трамвая доехал Егор к знакомой остановке. Внизу, версты за две, дымились заводские трубы. Во дворе, уже выпросив у Анастасии Степановны по стаканчику, согнулись над погребом Антошка и сосед Митюха,— Дмитрий подавал им малосольные огурцы на тарелках.

— Явилось солнце красное! — сказал Антошка. — Наконец.

— Да, думаю, дай зайду,— принимал Егор шутливый тон. — Чем на базаре переплачивать, я лучше на дармовщину. Помочь?

— Увольняем,— сказал Митюха, протягивая Егору огурец рукою, утыканной наколками.

— Помогать дак некому! — вылез из погреба Дмитрий. — По какому случаю пожаловали? чем могу быть полезен?

— Пришел наниматься в работники. Картошку окучивать, сено косить не надо? Дурная сила скопилась, не знаю, куда девать. Но гляжу: у тебя столько лбов в ограде. А где еще один, носатый, самый хилый в мире?

— Спину меряет в горнице.

— Никак тулуп шить надумал? Дай-ка гляну,— сказал Егор и, подражая купеческой важности, пошел к двери.

В горнице на стуле сидел Никита; Бабинька старательно, и правда как портниха, мерила ему пальцами спину.

— Пошти што четыре пядени,— насчитала она и отошла. — Ты от правды на пядень,— говорили,— а уж она от тебя на сажень.

— Уж ты наша родненькая,— обнял ее и запричитал Егор,— уж ты, Бабинька, чудесница! Его, лодыря, надо оглоблей по этой спине, и трудов-то всех.

— Мга-га! — встал жирный Никита. — У Ахиллеса померяйте.

— А ну-ка, повернись,— сказала Бабинька. — Да не достану. Ты сядь-ка, сядь. Вот та-ак. Ты жиже: три пядени. Красивые парни. Пошли вам бог невест хороших. Слышу: приехал наш артист, выглядываю, выглядываю — не идет! Я уж все слова приготовила-то. Дак ты чо: опять умотаешь?

— Опять.

— И ко мне не зайдешь? Время будет — дак пожалуйста, я тебе столько про свое горечко расскажу.

— Живете ничего?

— А так, Егорка. Обижаюсь сама не знаю на кого. Никто не хочет понять, что старуха пришла со слезами. Пусть бы люди прочитали. Пятьдесят шесть тетрадок исписала, ношу, ношу.

— И не берут?

— Кого! Можно им понять нашу жизнь? Где бы я ни просила, они в один голос: «О, когда это еще было!» А я думаю: «Милы вы мои: если б этого не было, вы б тут не сидели». Седни вздумала, как мы в етот день с бабушкой мыли в бане колчаковцев, и я заболела, они тифозные. Сиротку заставили. Разберите же мое горе и обиду. Поклонюсь до земли. Не-ет. Никому не надо.

— Повело деревню на село? — сзади подошел Митюха.

— А ну давайте к столу! — сказала Анастасия Степановна.

— Каку лихорадку мне за столом делать,— отказалась Бабинька, но зашла с угла и присела. — Можно хоть кому понять? «Когда это было!» — один ответ. А што такое попасть к Колчаку одной? Тут не царство божие было. Зажгли дома, партизан повешали, порубили, и я побежала, где горят дома,— не задыхается ли кто в дыму? Когда я бежала улицей, висел дядя мой, еще побежала, там был тоже дядя, я ревела: «дядя, неужели это ты? вы пошто из согры вышли, милые вы мои, а я чо буду делать без вас? кому я весенки спою и спляшу?» Хотела кровь утереть, но не достала, сучья были обрублены, и еще беляк подъехал, щелкнул бичом по земле и сказал: «Чего тут стоишь? наверно, свой?» Если бы не повесили партизан, чего бы я век свой плакала? А то нет спокоя...

— Ладно, начнем,— сказала Анастасия Степановна. — Еще вечер длинный, поговорите.

4

Во Сибири я роди-лся-я
Да во Сибири выроста-ал...

— Егор! — закричал Митюха. — Кидаю заказ, как в ресторане: «Глазенки карие».

Митюха уже всеми командовал, подливал себе сам. Выпив, он долго жмурил один глаз, потом стукал донышком по своей макушке: ха! Управлять им становилось трудно. С длинными ручищами, с челкой на узком косом лбу, он напоминал голубятников с нижних улиц. За поножовщину он уже отсидел три года.

— Давай, давай, Егор. А то я могу пощипать. Ты мне друг или портянка?

— Ми-итя... — просила Анастасия Степановна. — Ты не дома. Веди себя по-соседски.

— Сиди тихо,— сказала Бабинька.

— Кто-то что-то сказа-ал? Как фамилия? А? — ухватил он ее за локоть. — Фамилия?

— Урюмцева Таисия Ивановна.

— То-то, бабка.

— Ты чо это, Митя, ты чо это? — построжела Анастасия Степановна.

— Я тебя свяжу,— сказал Антон. — Русский язык понимаешь? будешь бедный.

Митюха затих, и восстановилось прежнее тихое радушие. Опять запели. Уж чего только не вспомнили. И какими маленькими бегали к Дмитрию на улицу друзья. И как уезжали в Москву. И кто кем собирался быть. Пробуждалось чувство к местному, друг к другу, и хотелось не подкачать в жизни. Пели и разговаривали.

— Голос-то еще есть, Бабинька,— сказал Антошка.

— Э-э. — Бабинька с грустью улыбнулась. — «Таюшка,— говорил дедушко мой,— тебя, наверно, никто лучше не поет. И никогда у ней голос не хрипнет! Я ведь слышу, где далеко поет, слышно ее, как она возгудает! А молитвы петь не заставишь». И даже слезы у него. Он хотел меня в монастырь отдать, што я, мол, похожа на непутевого отца: и песни пою, и за гармошку хваталась.

— И я скоро сдам себя в монастырь,— сказал Митюха. — А чо! Житуха!

— Да ты чо, Митя, перебиваешь-то меня? Старше меня, чо ли?

— А чо? Я чо-нибудь опять не так сказал? Или вам показа-а-лось?

— Сиди, сиди,— через стол толкнула рукой Анастасия Степановна. — Нельзя!

— Ладно, теть Насть. Уважу. На чем мы, Бабинька, остановились? Ты с меня ничего не имеешь? Если кто шухер поднимет, я ему камыша подсыплю.

— Ох не я твоя мать,— погрозила Бабинька. — Ты б у меня гусей попас.

— Рабочий класс не трогать. Тиха, тиха-а!

— Я после Колчака никого не боюсь,— шепнула Бабинька на ухо Егору, но все расслышали. — Говорю себе: «Господи, боже мой, господи, где ты был в то время, когда в тебя все веровали? Почему ты не наказывал людей, которые пили кровь из невиновных?» И сколько обращалась в редакции, чтоб написали об етом, никто не изволил понять. Некогда им.

— И где бы ни ходила, Егорка, теперича, со слезами прошу, а им как вроде смешно. Я ж хожу не деньги зарабливать, а горе свое размыкивать. Люди головы положили не за деньги, а за власть твою и мою, поймите, деточки. Разве это мыслимо — старухе отказывать? Головы сложили, а воспоминания не заслужили? Да куда ж мне ехать-то теперь? Кого просить?

— А мне, Бабинька, дашь почитать? — спросил Митюха. — Я шибко грамотный. Хошь помогу? Да я кому хошь глаз выбью! «А чо ты прешь? — задрочатся. — Чего надо?» А я им скажу: «Мне, родной, твоя морда не нравится. Печатай, пока тебе пасть не порвал!»

— Митюха! — предупредил Дмитрий. — Ты не очень. Уважай компанию.

— Запросто.

— Мне скрывать нечего,— не подняла глаз Бабинька. — Кто хочет, дак возьми. Жалко ли, чо ли. Дело же не в этом. Оно вообще так: люди умирали, а никто не помнит. Вот я про што.

Она ласково поглядела на Егорку, и только тот, кто видел ее сейчас, всем сердцем поверил ее милосердной душе.

— Я приду,— сказал Егор. — Ладно?

— А я тебя давно жду, Егорка. Когда приедет, когда приедет? Нет его.

— Приду.

— На пару пойдем,— сказал Митюха и взялся за бутылку.

— Вот ты, Митя, боевой, но без ума. А я сироткой росла, и все удивлялись: что за девочка! Дедушко ругался: «Ей хоть чо говори, она ничо не понимат, она песни бы пела да плясала да перед зеркалом волосы напушнивала. Бестолкова кака-то будет. А рассуждат как больша». Всех стариков в деревне знала,— как зовут; и собак всех знала, и коней, у кого какие, и жеребят, и гусей, и даже уток. Кто если умрет из детей, я причитаю, единого не пронесут, чтоб я не плакала. Мы с Никиткой (и до се его жду!) каждого солдата провожали. Когда какой дедушко пойдет рыбу ловить, я скажу: «Дедушко Сильвеструшко, я пойду с вами; дедушко Абрамушко, я пойду с вами по прутья; дедушко Федулушко, я пойду с вами стрелять косачей». Вот так я и жила. Если в соседях кто помрет из детей, меня зовут попеть молитву: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй на-ас!» А мне двенадцать годиков, о как. Когда полощусь на озере, ребятишек ко мне найдет куча, грязные, матери на пашне, и они, где уснут, тут и лежат. Я рубашки сниму с их, выполощу, выколочу, на кочки расстелю, потом встанут — им головы вымою, вычешу гребенкой и посажу их в кружок на травку. «Робетешки-то спали всю ночь беспробудно, намыла их Таюшка-то»,— хохочут бабушки. Вот какая я была и до сегодняшнего дня не изменилась. Всех бы накормила, умыла и спать положила. Тоненькая, верткая, как трещотка разговаривала. Приходи, дак я порасскажу тебе, ой-ей.

Дмитрий слыхал истории Бабиньки еще мальчиком, помнил их, но сейчас мысленно подталкивал ее рассказывать друзьям: пусть унесут с собой побольше кое-чего из народной жизни, не все забавляться остротами да умными рассуждениями о книгах. Он ее часто вспоминал на юге, немо вопрошавшую по ночам: «Кому теперь меня жалко?»

— Чо плакать-то? — сказал Митюха.

— Рази я плачу? Стони хоть сто лет, никто не придет, не пожалеет. Вот седни и ноченька мне длинна, рученьки болят, стону по всей ноченьки, а кому теперь меня жалко?

— А кто бы запел мне! — сказал Митюха. — Чей это я голос блатной давно не слыхал? Егор, ну-ка «Глазенки карие».

— Покурим! — поднялся Дмитрий, чтобы вывести из-за стола и Митюху. — Песня эта, Митюха, классическая, вас надо настроить, разогреться еще парой стаканчиков, надо, надо, пойдем...

— Глазе-енки карие и желтые ботиночки-и... Значит, так повертываешь вопрос? Ну ладно.

Они вышли во двор. Уже стемнело. Они на минуту разбрелись, каждый с хмельной остротой подумал о чем-нибудь своем, отделил свое чувство и снова сомкнулся с общим настроением. Митюха не давал друзьям поговорить.

— Что там, Егор, новенького у тебя в Москве? Когда я на тебя в кино погляжу? А мою морду можно заснять? Или не по размеру? Ну на широкоэкранный, а? Наколки на руках не повредят? Ты там намекни про меня. А чо! Шофера какого-нибудь, я выдам! Чо, хуже других, что ли? Запросто. Я чо-нибудь не так сказал? Бабинькина брехня лучше? Нас фотографируйте! Дай пять, но не говори, что я б... — Он сжал ему руку до боли. — Чо? Слабак? Потеешь? А хошь насажу тебя на калган?

— Не заедайся,— сказал Дмитрий. — Мы тебя ценим, ты у нас, так сказать, представитель отряда автоколонны, тебя еще изобразят, а к другу нашему не приставай, он слабенький, и какой он актер? Так, барахло. А ты, Митя, герой...

— Подкалываешь? У-у, глаз выбью. А все ж люблю тебя. За что? Сосед. Если бы не сосед, приласкал бы на калган.

— Ты же добрый, сильный, а мы так, босяки.

— Вообще-то правильно. Артист! — Митюха помял Егору плечо. — Мне ничего не стоит его сейчас уделать. Пойдем в общежитие. Новеньких понагнали из деревни. Полазим, пока не обшоркались. О Колчаке слушать? Я лучше расскажу в сто раз! У меня по истории тройка была. Вот она, родимая, иди, иди сюда, Бабинька, не трусь. Соловья баснями не кормят. А прибрана Бабинька как девочка.

— Я всегда чисто ходила,— сказала Бабинька. — Косы заплетены, и бисеров много на шее, и кольца золотые на обеих руках, и браслет. Дедушко мне покупал за то, что я уточек много выкармливала и жеребчика вырастила соской. Сперва за его он мне купил шапку из соболя и пальто, валенки боярковые и перчаточки летние. Сряжусь как купцова дочь и пою песни проголосные.

— А кос тех нет,— сказал Антошка.

— Спросите у людей, может, знают, почему у меня морщины и кос нет. Век не видала и сейчас не вижу таких кос. Как партизаны бросали меня вверх, целовали мои кудри и гладили волосы тяжелые! Уж я чо еще была, ребенок, и то думала помочь чем-нибудь хоть. Я нашим рубашки постираю, снесу покушать горяченького в согру, а они просят: «Согрушка, не устала, дак спой нам *песенку проголосну*». Я и зачну петь «Скрывалося солнце за степью». Ох, добрые люди, вы поверьте мне! Веселая головушка была, хоть несчастная.

— Несчастная! — оскалился Митюха. — Говоришь, двадцать подушек было!

— Что ж, что двадцать. И все вышитые. И две перины, наволочки сатиновые, все расшито цве-

тами, постель до потолка. Два диванчика мягких, скатерть вязаная, до полу, кисти цветами. Половики шерстяные, у койки ковер гарусный, шторы на окнах тюлевые, плотные; двери одне были стеклянные, к дедушке, а другие всяко покрашены. Дак меня на пятом годочке учили стирать, и уж гусей, уток пасла! Заработала! Икона Пресвятая Богородица, на ней полотенцы с петухами, с кружевами. В уголке столик, там мыла и всякие одеколоны, и зеркало до потолка. А то раньше мало работали! Как сейчас ты, Митя, чо ли: встал и пошел, и трава не расти.

— Правильно, Бабинька,— сказал Егор. — Так их. Распустились.

— А нет?

— Вон мордень какая,— ткнул в себя Митюха,— а чо делать?

— И не смейся.

— Вы не обижайтесь на него,— заступился Антошка,— он под клоуна работает. А ты не мешай, парень.

— Сейчас слышу по радио: тот сделал то, другой то, а я охаю: чо я могу сделать? Никакого подвига на моем веку, сиротка была, только и знала работать день и ночь. Я и подумала: не могу ли я подарок какой к празднику сделать, от всей чистой души рассказать про жизнь? На моих же глазах колчаки сожгли дяденьку. Чем, думаю, рассказывать, взять да написать. А оно никому не нужно.

— Нужно, нужно,— успокаивал Дмитрий.

— Время потратила, э-эа,— сказал Митюха,— лучше б мне платочек вышила. Бабинька, Бабинька. Я б сразу девушку нашел.

— Вышью я тебе, ладно уж, но ты ж напьешься и потеряешь.

— Смотря какие слова будут.

— «День и ноченьку страдаю по тебе, мой дорогой, горьки слезы проливаю, што в разлуке я с тобой».

— Законно. А еще?

— «Подарю тебе платочек, на платочке сини коймы: возьмешь в руки — меня вспомнишь».

— Да как же я буду сморкаться? Это надо запасной носить.

— Научи дурака богу молиться, он и лоб разобьет,— сказал Дмитрий. — Так и ты.

— Я в детстве молился. Истинный крест!

— Озорной, озорной сосед. Ни в кого не верит, а крестом святым клянется. Я маленькая тоже озоровала: «Пошли к чертям с попами вашими!» И молитву за царя не пела, а молитва такая: «Спаси, господи, люди твоя, ...победы благоверному государю Николаю Александровичу...» Но я забыла ее уже сейчас. Я не буду, сказала, молиться за царя, ни за попов, а буду молиться только за себя, штоб бог дал мне здоровья и счастья и скорее вырасти без мамоньки. Так мне было-то двенадцать годочков. А ты, Митя, выдул с водонапорную башню и шутишь с этим.

— Я понарошке.

— Что друзья твои скажут. Или вы тоже не крещены?

Никита молчал, Антошка тоже. Дмитрий и Егор потихоньку переговаривались в сторонке. Никита утомился «красной стариной», как он выражался. Ушло это и — забыть, жизнь продолжается. А кому надо, пусть плачет.

Бабинька почувствовала, что ее речи наскучили, пошла без всякой обиды в горницу к Анастасии Степановне.

5

В двенадцатом часу ночи Егор и Никита поблагодарили Анастасию Степановну и пошли домой. До трамвайной остановки провожал их Дмитрий. Антошка смылся раньше.

Никто и не заметил, когда он исчез. Никто и не заметил за весь вечер, что Антошка и Никита ни разу не чокнулись и даже не смотрели друг на друга, а когда стояли во дворе и слушали Бабиньку, Никита помалкивал.

— Мам, а куда Антошка делся?

— Да ну вас,— сердито сказала Анастасия Степановна. — Чего вы сцепились? Я вынесла ведра на крыльцо, смотрю, а он и Никита возятся за воротами. Еле разняла. Чего не помирили?

Никита молчал.

Егор и Дмитрий пытались допросить его на улице, у остановки; повели его через площадь, через сквер возле кинотеатра «Металлист» и все задавали один и тот же вопрос: что у вас случилось?

— Потом, потом... — уклонялся Никита.

— Когда потом? Мы же договаривались послезавтра в Кудряши плыть! Мы ради вас приехали. Пошли, помиритесь.

— Никогда!

— Ну а в чем дело? Ну, Никит, ну ты меня знаешь... я спать не буду,— приставал Егор. — Я не уеду, пока не узнаю. Вы мне оба дороги.

Егор не спускал руку с плеча Никиты и у его дома.

— Э-эх... — тянул он. — Начинается. И у нас начинается. Еще бы: разве мы можем без тяжбы? Тысячу лет брат на брата, друг на друга. Скажи, что?

— То, что держалось на твоей фантазии, кончилось.

Не сказал ничего на другой день и Антошка. Ясно было одно: поссорились они не по-пустячному; вольный безалаберный характер Антошки наткнулся в Никите на то самое, что он называл «заурядным карьеризмом».

— Мам,— спросил Дмитрий, вернувшись,— ты не слыхала, в чем они упрекали друг друга?

— Я до того еще, как они схватились, слышала — Антошка заставлял его взять Бабинькины тетрадки. Никита ему: «Некогда мне!» — «А-а, — на него,— тебе ничего не нужно, стряпней занимаешься, тебе в карман жалобы суют по деревням, а ты хоть кого защищал?» Вот такое.

— Горячий Антошка. Откуда ему известно? Никита как вол трудится...

— Я разозлилась и давай гнать Антошку: «Иди, и чтоб больше тебя не было! За палку взялся!» Пускай обижается. Никогда у нас во дворе драки не заводилось. А это что!

Через день самолюбивый Никита уехал в командировку в Северный район, а Егор и Дмитрий поплыли на катере в Кудряшовский бор. Что делать в первое время друзьям? На чью стать сторону? Все Кривощеково завидовало дружбе четверки. И на тебе. Раскол. Не случайно на юге Антошка упоминал Никиту неохотно.

А был теплый-теплый день, Обь широко раздавалась за городом, и плыли они к тому пионерскому лагерю, который их сдружил когда-то за один сезон.

— Ничего нет вечного,— говорил Дмитрий. — Между Никитой и Антоном с самого начала была маленькая фальшь, но были моложе и старались верить в тот фетиш, который сами создали. Мне неудобно говорить, но все держалось тобой, прав Никита: твоей фантазией, верой. Ты зажигал нас...

— Господи, кто бы меня зажег!

— Можешь самоуничижаться, это тебе даже идет, но так.

— Этак мы и с тобой разойдемся? Для меня это будет конец всему,— сказал Егор. — Моя дурная башка воображала иногда, как кто-то из вас умрет. Ну, бывает такое: влезет в голову, не отцепишься. Спать надо, не могу. Вылетаю на юг, в Кривощеково, через все препятствия пробиваюсь к почившему другу, уже все там стоят, и меня только нет. Подхожу, рыдаю, и черт-те что еще делаю, и клятвы себе даю, но такого, чтобы мы разошлись, бросили друг друга, требовали вернуть письма (Антошка уже послал записку Никите, знаешь?) — нет! извини, на это моего воображения не хватало! Я убит сейчас. Я чую, что это серьезно. Лопнуло!

— А чем мы связаны?

— А чем? Фронтом? Не воевали. Чем? Я говорю: Москва, искусство, таланты, женщины — какого же черта мне интересней, дороже всего было получать письма от вас? Я тихонько гордился, что вы у меня есть. И вот...

— Все наладится.

— Попробуем. Цицерон сказал, кажется: дружба возможна лишь между честными людьми.

И был потом пикник в лесу, костер, вожатые; и до утра гулял Егор с одной из них меж высоких сосен, говорил про Москву, а она попалась такая упрямая, спесивая и немножко глупая, что Егор не стал и задираться. Впрочем, рассуждал он на берегу Оби в одиночестве, женщины всегда наказывали его за мягкость и слишком хорошее расположение к ним в первые же часы.

И снилось ему в то солнечное утро: его полюбила молодая прекрасная особа. Она его искала, ради него бросила кого-то, она принесла его душе столько счастья, что Егор, проснувшись, полчаса, наверное, лежал в задумчивости, желая удержать в памяти зыбкие черты ее лица и храня расслабляющее чувство любви к незнакомке. «А ведь это была, видимо, Наташа... — подумал он. — Написать ей!» Он повинился перед ней; и тут же огорчила его мысль о разрыве Никиты и Антошки.

Побыть в Кривощекове и не проведать родню — значит поставить в неловкое положение и мать и отца: загордился, дескать, ваш сын, уж никто ему и не нужен. Не дожидаясь, когда прибудет ташкентская бригада, с которой отец все грозился расстаться и выйти на пенсию, Дмитрий сходил к дяде. Добрых три часа пробовал он домашние настойки у него на коротенькой улице Демьяновской, притыкавшейся крайними домами к засыхающему болоту. Обратно шел грустный. И Дмитрий и Егор всякое лето поясняли своим международные события и, в свою очередь, удостаивались информацией насчет перемен и перспектив в Кривощекове. Дмитрию нечем было похвастаться: не женат, перебивается в селе, зарплата маленькая. Он, столь всегда небрежный к благополучию, перед дядей стыдился своей бедности и скромного движения по службе.

Все звали его в Сибирь, спрашивали: когда же? Показывали на огороде поздние всходы, еще жалкие в июле огурчики, помидоры, сетовали на майские заморозки.

— А я в мае купался в море вовсю.

— То ж юг. А мы так и будем доживать и помирать в холодной Сибири. Не вернешься?

Еще рано было садиться на одно место. Он шел от дяди и высчитывал, какого числа выедет из Кривощекова. И думал еще о Лиле. Шел по мосткам, под которыми не было воды, и писал ей письмо. Глядя на звезды, густо забившие небо в стороне над Дюканово, он через тысячи верст, заблуждаясь и не принимая трудностей, которые его ждут, сообщал ей все, что с ним будет в ближайшие недели: как поедет он вслед за Егором в Изборск, потом на юге позвонит ей, и начнется (так ему казалось) у них блаженная жизнь возле холма, где стоит Болина хатка.

Поздний час затих над родной областью, над всеми ее водами, лесами, крышами. Во дворе у освещенного окна сидели Анастасия Степановна и Бабинька. И песнь Бабиньки была все та же. Дмитрий только подбрасывал в ее речь угольков.

— По-вашему, Бабинька, все равно не будет. Чего вы от них хотите?

— Конечно, Дима: ето мною столько не забыто. Я сама на себе пережила. Вот, поверишь, болит сердце, плачу по погибших; хоть свои, хоть чужие — мне все равно. «У вас непонятно написано, безо всяких знаков». А кого я знаю, какие знаки? Я знаю, добрые люди, што и сейчас не могу без слез рассказывать. Кто бы видел меня тогда, какая я была, стою в кругу этих колчаковцев, а они скалились и задевали руками мою детскую грудь и косы: «Тебе уже не тринадцать, а, может, восемнадцать?» Зашли в горницу, поду-

шек, говорили, много, собирается замуж за красного? Я пригнала коров и пошла по подойничек, отворяю ворота тесовые, гляжу: ето што такое — полна ограда их в шапках железных! Все цветы мои потоптали. Я забежала и кричу: «Не видали вас тут! Чо вы набрались полну ограду? Господа какие! Наехали, не спросили! У нас ведь нету мужиков, мы с бабушкой двое, и то я ненадолго, я живу в Шаргине, у купцов. Идите отсель, мне надо коров доить». И плачу. «Видите, я воду таскаю поливать, плечи надавила, а вы потоптали цветки». А бабушка все бросила и сидит в суседях. «Что ты, девка, не спряталась, не успела? Своих партизан и комиссаров прятала? Сама не успела? Откидай избу нам». — «Ключ не знаю где,— говорю. — Бабушка с пасеки не пришла, мы в пасеке были». Они уж в окошко увидели, што мед стоит в ведрах. Нашла им на дверях ключ, откинула. А у меня стояла на столе Никиткина гармошка (сиротка, нас обещали повенчать, плачу по нему до се), один колчак говорит: «Чья? Говоришь, мужиков нет, а гармонь». — «Дедушко умер, мне купили гармонь, штобы я училась». — «А не врешь? — колчак сказал. — Гармонь большая, не детская. А хоть умеешь играть-то?» — «Только на одной стороне,— говорю,— саратовскую, я ешо первую зиму училась, и то вечерами, мне некогда». — «Не ври! А то из твоих кос петлю совьем». Я заплакала: «Я ешо маленькая, мне тринадцать лет». А другой за грудь трогает и говорит: «Маленькая, а грудь хороша». А третий за косы: «И косы у тебя красивые и большие». А один был белой на лицо, синеглазой, он сказал: «Не троньте девочку». — «Подушек чо у тебя много?» И стали считать. «Скажи, какой у тебя жених, красный? красивый? У тебя ишь грудь красива, и косы». Опять смеются, я опять заревела. Добрые мои люди! В деревне только собаки лаяли да я разъедина, теперь самой диво. И подали гармонь мне, один колчак говорит: «Если твоя, то играй, чо умеешь». Я взяла на колено на одно и стала играть саратовскую: «Саратов город славной — посередке лавочка...» Все хохотали; один колчак сказал: «Молодчина!» — и потрепал по спине, и взял мои косы в руку, как будто вешал, сколько они потянут, а тот, што белой на лицо, так и стоял хмуро и жалел меня. Добрые мои люди, кому теперь меня жалко?! Главный колчак приказал всем: «Выйдите в ту комнату». Они вышли, один остался, раздевается, бросает меня на кровать и ложится ко мне, смеется: «Вот, скажет, кто у ней жених». Ето прямо ужас! На закате солнце светило в наше окно, и тогда наш дом блестит от озера как серебряный. У заплота мой лен синеется еще пуще, чем днем. И тут тревога, и убежали все! Я оделась, пошла ишо коров подоила, молоко процедила и давай бабушку искать. Но я ешо чо хочу сказать: того солдатика синеглазого, который молчал и не смеялся со всеми, я встретила через тридцать лет, и не я его, а он меня узнал: видно, не все боженька отобрал у меня, я была еще на лицо моложава, косы до пояса, тонка, бледненька, глаза как звезды ясные, а что дальше — пускай Егор не поленится, зайдете с ним, дак скажу...

Но Егор торопился в Изборск.

Глава седьмая

НА ЖАБЬИХ ЛАВИЦАХ

1

Есть великая прелесть открытия новых мест, особенно в молодую пору, когда весь мир еще лежит далеко. Изборск очаровал Егора. Как и вся Псковщина, впрочем. Так это было прекрасно! — всему удивляться, притаенно созерцать на зорьке красоту простеньких скорбных церквушек, благодарить жизнь за разнообразие, которое она вдруг дарит нам ни за что ни про что. Ночевали в псковской гостинице, вставали по-крестьянски, в пятом часу, и ехали с песнями к Жеравьей горе, на которой ждала их пустая каменная крепость. Внизу, под ее стенами, волоском блестела речка Бдеха; через лощину, на высоте, поближе к горизонту, слабо белела часовня Ильи Мокрого. Пока устанавливали аппаратуру и наряжали в одежды кривичей массовку, Егор проминал белого княжеского жеребца по дорожке к Труворову городищу и дальше, почти до погоста Малы.

«Вот где жить-то! — пожелал себе Егор, как это часто с ним бывало в минуты восхищения. — И Димке написать, чтоб скорей приезжал. Вырывайся, Димок! — звал он уже его. — Все для восторга твоей души. Так нужно, чтобы побыл тут человек твоего склада. Я ж о тебе везде думаю, ты все время со мной. И вообще, мне кажется сегодня, надо сюда ездить всегда: летом, осенью, зимой. Это наше. Может, мы созданы для такой тихой жизни в таком тихом углу? И не так даже я, как ты. Приезжай сюда. Торопись, приезжай! Это ж на всю жизнь останется. Какая разница, отчего бывает счастливым человек? Мы — от этого. Не было тебя вчера в звоннице! В Свербееве найдешь себе друга, богатый мужик! А Устье на реке Великой! А Мирожский монастырь... Ну!»

Послал он письмо и Наташе.

2

По сценарию владимирский князь (Егор) и княгиня (Лиза), отстояв службу, выходили из церкви. На съемки этого эпизода и прибыла Лиза во Псков.

Егор не видел ее целых три года. Сразу же вспомнилась ему зима! Лиза заканчивала четвертый курс, когда нагрянул вдруг в студию этот занятный парень, убегавший куда-то в казахские степи. Был конец января. Уйти было просто, но как попасть снова?

Однажды что-то надломилось в нем, он мигом рассчитался и прилетел. Еще не московский, накануне тайком протащивший чемодан в общежитие к Никите, как он был тронут возгласами товарищей, его, полоумного, оказывается, не забывших! Лиза повисла на нем, закричала, покрутила туда-сюда, оглядывая, какой он стал здоровяк. «Нет, вы подумайте! — говорила она и себе, и Егору, и сокурсникам. — Нашелся! Народ, передовые рубежи и — к нам».

Вечером он шел с ней по Москве.

— Ты помнишь мой телефон?

— Два восемьдесят семь... — сощурил он глаза. — Тридцать четыре...

— Две семерки. Верь в цифру семь, она приносит счастье.

Кто целовал ее в эти годы? — подумал Егор. — О, разве обошлось без пирушек, без внезапных симпатий за рюмкой, под музыку, без...? Кто в такие годы не спешит? Лишь тот, кто никому не нужен. Казалось и Егору в степях, что сердце его без стыда вместит всех, кто ему мил. Она завела его в ресторан «Пекин», на первый этаж, сняла пальто и сказала: «Я хочу поесть. Мы посидим, да? Здесь очень уютно и никого нет». Она же заказывала блюда. «Я буду водку, а ты?» Лиза доставала из сумочки зеркальце и подводила карандашом губы. «Не волнуй меня...» — говорила она несколько раз, словно бы предугадывая его намерения, которых вовсе и не было. Егор думал: «Как был я щенком, так и остался. Там мне не надо было выламываться, чтобы не отстать от какого-то тайного опыта в нашем возрасте. Тут с первых часов я уже подумываю: то не так сказал, то не так сделал, недостаточно остроумен, вообще дурак. Там я был сам собой, и нормально. В Москве без этого (без чего «этого»? — он еще не мог назвать точным словом) ты вроде отстаешь в чем-то. Без конца надо выдирать из себя шарм, «что-то значить», выделяться не тем, так этим. Еще в поезде и в общежитии у Никиты он был лихим парнем, пел частушки и вызывал восторг у старых товарищей. Лиза подминала его. Когда они расплатились и вышли, она подхватила его под руку с торопливым значением, задержала такси и назвала свою улицу. Все было ясно. Высокие московские здания с теплым светом в окнах возникали за стеклом. «И можешь не надеяться. Я забыла тебя. Не волнуй меня. Противный». Она брала его руку, подносила к губам и так держала ее. Егор ждал минуты, чтобы отнять руку и всунуть в перчатку. Как это нехорошо предаваться нежностям на глазах у чужого человека!

На лестнице в своем подъезде она стала целоваться — сперва коротко, испытывая его настроение, затем надолго, обещая вечное царство любви, слилась с его губами. «И зачем ты приехал?! — капризничала она в квартире. — Сидел бы там: гений какой. Нет, все же молодец. Что мы без Москвы? Кто тебя любил бы? Им тебя не понять. Ты для другого создан, да? Вырос, отстоялось что-то? И довольно, сударь мой. Теперь тебе нужна Москва! Нужна. Ее воздух, среда. А зачем тебе я, правда? Не подходи ко мне. Мучитель мой». После отсутствия все опять было ново ему, но уже достойнее, небрежнее он слушал ее. «Почему ты не написал мне? Я бы к тебе приехала! — подходила она к нему, касалась пальчиками его волос и тут же скрывалась, носила с кухни чашечки, тарелки, задергивала шторы, вовсе исчезала. — Зачем я тебя позвала? И ты все еще такой молоденький, зачем же так?» Егор понимал, что она шалит, она ни за что бы не приехала к нему в такую даль, просто всегда баловалась словами и покоряла этим, но что-то отвечал ей, даже извинялся, потворствуя временной лжи. Действительно, эта необидная ложь манила к страстной минуте, после которой стихнет игра и слова остынут, обман пройдет. В мгновение любви, которая ангелом пролетела над ними, они внимали каждому вздоху и поклонялись счастью. Вдруг все стало правдой (восторг, блаженство, родство), но правдой слишком короткой. О чем теперь мечтать и какие чувства разгадывать? Они лежали опустошенные. Лиза сказала: «Мне было тяжело, и ты появился. Спасибо тебе. Мы не будем повторять пройденного, ладно? Чтобы это осталось навсегда. А?» Впереди еще простиралось много месяцев, подруга ее щедро бы поделилась квартирой, но они ни разу туда не ездили и в студии общались как все. Ну что ж,— никогда уже не вздернуться его чувству от игры ее глаз, от шаловливой прелести ее голоса; светлые беглые порывы вытекли из души,— ну что ж. Испытывал он когда-то унижения, мучения, горел, мечтал, и как будто для того, чтобы позднее о том не жалеть, дан ему был час победы. Он не следил за ее романами, но когда видел ее с кем-нибудь, вспоминал тот зимний день, о котором никто не знал, кроме них. С тех пор им не надо было беречь самолюбие друг друга, милая сводница-ложь передала место правде, простоте, дружеским подсказкам. Такими, не проверившими себя в совместной толкотне и ни разу оттого друг другу не опротивевшими, они и повстречались в Изборске.

— Здравствуй,— нежно сказала она утром у высокой башни Талавской. — Очень рада, что ты здесь. Ты зайдешь ко мне? Тридцать четвертая комната.

Разговаривая, она гладила рукой по его груди. Видно, она соскучилась по нему в ту самую минуту, когда увидела его. Он был далеко и никак не влиял на ее жизнь. Много известных людей окружало ее в столице, от них что-то зависело, перед ними она старалась. Ее вызвали на десять дней сняться в маленьком, но приятном эпизоде, и она точно вернулась в родной дом, где ее должны были оберегать и любить. Она привезла приветы тому и этому и весело сообщила, как поживают их товарищи, у кого какие успехи, кто получил премии на фестивале, где и когда она

виделась с ними. Приветы, может, и не просили передавать, но каждому она выдумывала что-нибудь лестное. Все повторялось: «Милый, мы о тебе недавно хорошо говорили с...», «Ты сейчас лучше выглядишь», «Надо бы как-то собраться», даже ее ласковые покровительственные жесты. Но мужчины с удовольствием принимали ее женское благословение и пользовались свободной минуткой, чтобы возле нее покрутиться. Егор же стоял в стороне и замечал, как всем было хорошо от простенькой лжи.

Это было удивительно: все давно улеглось, но в Изборске на мгновение что-то взошло.

Чему это приписывать? Грешной человеческой слабости? Влиянию обстоятельств, местности, поистине чудесной, монашески неприхотливой, со следами застывшего времени на каждом шагу? Или Егор соблазнился не пропустить на псковской земле и мига?

Да, чему приписывать?

Вообще, если отбросить мораль, ханжеские недоумения и прочее, каждый должен был славить Лизу, была она замечательна. Добра и великодушна, с нею приходил праздник. Себя она не берегла, не жалела и хныкала порою как-то по-актерски, безмятежно, чуть наслаждаясь своим горем-злосчастием.

— Я такая несчастливая эти дни,— сказала она Егору в обед. — Пожалел бы, что ли.

— Уж ты наша кисанька,— тянул слова Егор,— детка наша заброшенная, мы тебя сейчас искупаем, чайком-водкой напоим, баюшки ляжешь. Тебя надо в Малы на блины свозить, и все снимет.

— А что это — Малы?

— Местечко. Четыре версты от Изборска. Красотища! Есть тут интересный человек, реставратор. Он там церковь, звонницу восстанавливает. Свербеев такой. Кирилл Борисович. Увидишь бородатого, высокого, красивого, в вязаной шапочке — несчастью не бывать! Бросайся на шею, он лю-юбит женщин. И они его. Они-то его-о!

— Познакомь, познакомь.

— Первое, что он скажет: «Поедемте в Малы, в Себеж, в Прихабы! Ай-яй-яй, смотрите, какая конюшня! Это же архитектура, это же прекрасно!» Поспеши. С кем грешна не была!

— А в грязи не лежала, да? Ха-ха! О негодяй, негодяй. Уже ни в кого не влюблюсь. Ямщиков был последний.

— Отчего же ты так любезна со всеми?

— Я женщина, мне сам бог велит дарить надежды. Приходи лучше вечером.

— На лошадях не хочешь покататься?

— Слу-ушай! — загорелась она. — Это спасение. Я в Москве в манеже занимаюсь. Выбери мне поспокойнее. И мы с тобой съездим, хорошо? В Малы! Возьми своего реставратора. Позвони часов в девять.

Пока Егор видел Лизу в Изборске, мысли его были безгрешны. А выпил немножко в звоннице у Свербеева, вышел на мост, сердце умиленно забилось, все простенькое, обычное, как бы никому больше не нужное, ласкало его воображение: то собирался он жить здесь (не вскорости, так когда-нибудь), придумывал себе разные чернорабочие профессии, то хотелось уже нынче, прямо сейчас, *влопаться* по уши в какую-нибудь волшебницу — не волшебницу, а в свою девчонку, то... дурел от сознания, что здесь, во Пскове, красавица Лиза и ждет его в девять в своем номере. «Ах вот как! — плел он тяжелым языком. — Ну что ж, ну что ж. Все хорошо. И Свербеев какой, ай-ай-яй! — передразнил он реставратора. — Димку надо вытаскивать, сюда ему надо, нечего там пропадать, там люди тяже-елые... И за что мне везет? Не заслужил, не заслужил, Егор. Сейчас к Лизе. Она! в номере! ждет! Нет, я еще прогульнусь до церкви от Пролома, а потом мимо Николы со Усохи, мимо Василия на Горке пряменько к ней... И присяду на корточки: «Здрасте! Дайте мне ваши белы ручки... Ай-яй-яй...»

Он зашел к ней, сел на стул и стал рассказывать, кто она, Лиза, такая, как он ее понимает, и польстил ей признанием:

— Я недавно видел *тебя в юности*. Ехал-ехал в автобусе. И входит на остановке девушка. Лет восемнадцать. Очень-очень такая...

— ??

— Да нет. Видно, что еще ничья. С лица можно воду пить,— красавица! Она все про себя знает. Я смотрел на нее и безумно любил. Так нежно, вспыльчиво и безнадежно любил я тысячу раз. *Моей* она никогда не будет, но я ее люблю. — Лиза слушала и одобряла впечатлительность Егора улыбкой. — Она чувствует, о чем я думаю. Я, конечно, никогда больше ее не увижу, она в моей памяти останется идеалом, сказкой о женщине. Так у нас было с Валей Суриковой, я тебе рассказывал. Она, может, давно испортилась, и вообще плохая, всякая, а для нас с Никитой вечно будет сиять этакой звездочкой, чистой и желанной. И тут... И, может, хорошо, что я ее никогда не встречу, и все, что я пережил за полчаса, что навоображал, уж ничем никогда испорчено быть не может. Не это ли неуловимое, недостигнутое, вроде бы мое и не мое, возвышает наши мысли о жизни-то?

— Но что в этом хорошего? — перебила Лиза. — Не знать, не обладать, а лишь... выносить впечатления.

— А то! — выставил палец Егор. — Это и есть любовь. *Ты в юности* — это и есть моя любовь.

— Не буду, не буду тебя соблазнять. Садись,— ударила она ладошкой по одеялу, сбоку от себя. — Поближе. Но не воображай много, ладно? Ты вымирающее в наши дни существо. Тебе никто не говорил этого?

— Таких, извини, глупостей мне никто еще не говорил.

— Слушай, существо мое золотое. Отчего мне легко с тобой? Давай пить чай. Я не буду тебя

соблазнять (а хочется!), поэтому ухаживай за мной посмелее: возьми чайник, налей воды и опусти в него электрогрелку. Ты никуда не торопишься?

— Там у художников в преферанс дуются, да ладно. Поразвращаюсь немножко у тебя.

— Чтобы понять, жива ли я, счастлива, надо, чтобы меня поцеловали. Так я создана.

Она повалилась спиной назад, к подушке, отбросила в стороны руки и закрыла глаза.

— Говори что-нибудь... — просила она, не открывая глаз. — Что-нибудь! Ты молчишь? У тебя нет ничего хорошего для меня?

Егор молчал. Можно было, как раньше, чуток солгать, заблудиться, но зачем?

— Знаешь, в моем возрасте бабу постигает мудрость, которая не обманывает. Когда тебя вижу, из меня выскакивает первокурсница. Более верно, точно, чем в юности, мы проявляться не будем. Чувства вернее мысли.

— Отчего ты страдаешь?

— Заметно? Не то будущее необходимо,— философы пишут (ты ведь ничего не читаешь),— которое произойдет, а то, которое *не может* произойти иначе, чем оно произойдет. Я знаю, что меня ждет. Я ведьма.

— Что за манера: намекать, дразнить и не раскрываться. Что загадала? «Я буду говорить» — и не говоришь. Это с первого курса так.

— Хорошо. — Она обняла его. — Есть такая огромная титаническая душа — в ком ее нет? И есть — такая малая душонка, трусливая, жалкая, хитрая — и все это во мне чередуется. Какой ты чистый, неотесанный — любуюсь тобой. И на кой черт ты мне нужен, и Ямщиков твой, и прочие такие? — я тоже думаю. Я так замучилась, такая некрасивая, такая страшная, издерганная,— не буду никого из вас соблазнять. Недостойна. Посиди у меня подольше.

— Захочется ухаживать.

— Посмотрю на себя в зеркало. — Она встала и подошла к зеркалу на стене. — Моя звезда не горит. И не ищи во мне порочности. Чистый огонь безумия во мне.

— Любишь Ямщикова?

— Иссякли мои лошадиные силы. Я стучала в его хрустальные бока почти три года. Сама удивлялась. Я испытывала к нему такую страсть и за нею не заметила, что он меня совсем не любит. — Она помолчала, вспоминая те дни. — Дура. Хотелось сказать ему доброе и ласковое, но упреки и заклятья брались невесть откуда. Я орала на него, потом жалела об этом. Он женщин в упор не видит, для него все — *одне* бабы! Господи, накажи его.

— За что?

— Он немножко заслужил, прямо скажем. Плут. Я ему писала: «Прислушайтесь, у вас за ушами, за золотыми волосами шелестят мои легкие крылья». Сама мадам Рекамье изысканней бы переписки не завела. Глупец! Он читал мои письма как роман. Мучитель. Можно ли мне говорить такие секреты?

— Можно. Я посторонний.

— Тебя тоже надо бояться как огня. Будь добр ко мне! Всегда. Мне кажется, я никому не приношу несчастья, а одно расточительное душевное тепло. Ах, я безумная дурища! Я сказала ему после того звонка: видеть меня не надо, это мне не по силам. Но тут же покаялась, и он решил меня взять в Изборск. И я ему написала (звонить боюсь, голос услышу — таю): как не хочу я свидания, извини, не хочу! Зачем? я уже от всего отказалась, не надо ничего городить, ехать мне, как ты не чувствуешь,— не надо. Грустно, грустно, не надо ничего выдумывать, поздно. Все колдовство исчезло. Я - погибаю. Погибаю я вовсе. Я приучила его не думать обо мне.

— Я думал, он настоящий,— сказал Егор.

— Он лучший из худших.

— Почему так?

Лиза закурила. Егор смотрел на ее лицо. Показалось, что она старше его, видела и знает больше. Это же Москва. Тут столько замечательных людей, они собираются, толкуют, от них можно набраться всего-всего. Какие пирушки? Темные углы? Танцы, объятия? Она, верно, слушала, слушала и внимала мудрецам. Такое у нее сейчас было лицо: умудренное. Потому и кажется, что она старше Егора.

— Это не мое мнение,— сказала Лиза. Тянула, тянула сигарету, забирая дым без остатка в грудь, глядела куда-то за окно, в простор. Молчала. — Я передаю слова человека, которому верю безусловно. Потому, Егорушка, что самые лучшие умерли или не родились. Понимаешь?

— Ну... т-так... в общем, не совсем,— краснея, сказал Егор. — В общем, догадываюсь.

— Вот что. Лучший из ху-удших. Много поколений пройдет, когда народятся люди, которых нам не хватает. Тебе есть с кем жить?

— Конечно!

— Счастливый. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете», да? Не буду тебя соблазнять и этим. «И пусть — услышит ли судьба мои молитвы? — пусть будут счастливы все, все твои друзья!» Пушкин. Ясно? Скажи мне что-нибудь такое, чтобы я не думала о Ямщикове. Я похожа на шлюху?

— Что ты, в самом-то деле! — возмутился Егор.

— Я никогда не пойду замуж за человека, которого полюблю. Жить вместе — разрушать великую прелесть любви. Постоянно привыкать к ненависти, к тому, что любви нет. Не холодей, не холодей. Не буду тебя соблазнять.

— Давай пить чай. И я письма писать пойду.

— Ах, негодяй. Нет, он негодяй, этот Егор.

— И потому он нальет чаю, съест все печенье и пойдет к себе.

— Достать тебе исповедь Симоны де Бовуар? Ты же по-французски читаешь немного. Учили же нас. Потрясающе наглая книга! Адюльтерная испо-

ведь. О великих. И что же? Впечатление, словно и ты — из их шайки, и все это знал, видел. Тьфу три раза, дура я! Господи, можно ли мне говорить тебе такое?! Ты еще младенец. Приказываю: на глаза мои ясные впредь не показываться. Спокойной ночи, сударь.

— Я тебя разбужу звонком.

— Пожалуйста. Но сначала — стаканчик чаю.

Егор присел.

— Люби меня хоть немножко,— сказала Лиза.— А то и чай пить будет не с кем. Люби! Меня! Совсем немного.

— Договорились: каждый вечер — чай. С оладьями?

— Сколько злости в тебе! Жестокости! Прелесть. Ах, прелесть! Я даже на радости похорошею. Люби всех любящих тебя! Люби! Всех! Грядет моя погибель. Ни капли интуиции у мужиков. Ты не нуждаешься во мне? Совсем?

— Ты меня мистифицируешь.

— Моя любовь похожа на твою любовь к девушке в автобусе. Это самая бессмертная любовь.

— Я сегодня с нею, с бессмертной, шел к тебе.

— Любовь — это миг. Остальное — волынка и семейная жизнь.

— Как много мы сегодня разговариваем.

— Потому что не любим. Неужели ты не понимаешь? Любовь — страсть, миг. Раскаяние? стыд? Зачем? И в том, что женщина нужна всем — несите меня! берите меня! — много счастья. Миг!

— А долгая жизнь?

— К черту эту глупую долгую жизнь! — Лиза кинула подушку к стенке и привалилась спиной.

— Нет, я так не создан,— сказал Егор.

— Да не о тебе речь! Чурка! Куда тебе! Возьми меня в Малы.

— Ночь,— отговаривался Егор.— И зачем?

— Ну что-о? Да это же прекрасно!

— Наверно.

— Не холодей, не холодей. Дура я. Привыкла расставлять ловушки. Ну сойди, сойди на землю... Не мечтай. У тебя глаза блестят.

— Что это значит?

Она приложила пальцы ко лбу, с горечью подумала о недавнем крушении и, наверное, о том звонке, когда в квартире Ямщикова поднимал трубку Дмитрий. На роль ее утвердили в марте, в разгар ее страсти к Ямщикову: нельзя срывать съемки, а то бы она ни за что не поехала в Изборск. Ненависть так же сильна, как любовь. «Я так тебя любила,— написала она ему,— я так мечтала о твоей любви. Прощай». Она ненавидела его за то, что он оставил ее; за то, что любит свою жену и детей; за то, что он сократил и без того короткий миг ее счастья. Но приступы ее бешенства сменялись воспоминаниями о волшебных днях, которым не бывает замены. Ей казалось, что никогда ни с кем у нее не сладится ничего похожего. Конец, и нечего ждать. На возрождение прожитого чувства не хватит сил. Уже не надо было пускаться на всякие хитрости: звонить так, чтобы не подошла к телефону жена и чтобы не сорвался его голос, если она где-то рядом; нечаянно попадаться ему на студии; выкраивать время на свидания, ездить в подмосковные леса на съемки к нему, а создавать ситуацию, будто к подруге. Именно с ним она соблюдала тайну, чего никогда не делала. Она берегла его от молвы, все же приятной мужчине, от славы донжуанской, которая могла ему когда-нибудь навредить — прежде всего в домашней его жизни. Она во всем старалась ему помочь, уберечь от общения с теми, кого он ненавидел и кто ему подкидывал камешки, чтобы он, осуждая безнравственность и пустоту красивой фразой, не служил им, как кому-то хотелось, всею своею жизнью, и распался, потихоньку стер свое лицо. Впервые через него, через любовь к нему, Лиза сама многое открыла и пробудилась, заглушила в себе пороки, которые возводила в достоинство, чтобы вольничать как хочется. Она его упрашивала, умоляла, кричала на него, не разрешала пить и отчаиваться — все ради него, его личности, которую она почувствовала за короткие месяцы с ним, потому что в любви распались все секреты. «Я вас жалела всегда,— написала она ему на «вы» в предпоследнем злом письме,— в самом чистом и высоком смысле относилась к вам всегда, как ангел, ей-богу! Разве нет? Я не колдунья, и мои крики, заклинания, конечно же, впрямую помочь не могли,— вы такая флейта тонкая, что играть на вас очень трудно. Моя откровенность вовсе ничем не обставлена. Благодарю вас, сударь! Вы были добры ко мне, но редко, и я теперь ясно почувствовала, что вы мне приносите мучение, одну беду и муку. Сама виновата. Вокруг так трудно и тоскливо, что описать нельзя. Стихи вашего друга Свербеева вспоминаются: «Беседка муз. На круглой крыше лира. Она уж покосилась, и давно разбито разноцветное окно. Внутри темно, неприбрано и сыро». Не про Державина, а про меня. Вспомните обо мне, когда будет 27, помогите перешагнуть цифру 7, я верю в нее. Всегда во всем должно быть число 7».

— Запомни,— сказала она Егору,— то будущее, которое не может произойти иначе, чем оно произойдет. Нальешь ты мне наконец чаю?

За чаем как о давно прошедшем вспоминал Егор о той первой осени в Москве, когда был влюблен в Лизу. Он заметил по ее лицу, что при желании мог бы с нею обращаться как ему вздумается. Но зачем? Уже ничего не хотелось. Зачем связь время от времени, когда на душе все давно выгорело? Скучно это. Но что же было два часа назад, после звонницы? Остатки чего-то старого?

— У меня в этом году,— сказала Лиза,— такое состояние в душе: я докапываюсь до чего-то, до сути, что ли, пытаюсь восстановить себя, силы свои. Душонку свою пытаюсь назад возродить в высокую такую, хорошую (когда девочкой была), сильную душу. Ты сейчас стоял в стороне, а мне

хотелось спросить: как ты там? Будто ты далеко. Глаза твои блестят. Спустись, спустись на землю.

— Я выше потолка не поднимаюсь.

— Перестань, это тебя портит. И в дневнике у тебя много этого. Тогда ты появился из казахских степей и — помнишь? — ушел на целый день, а портфельчик оставил. Я прочла твой большой блокнот, хоть стреляй меня. Как мне понра-авилось! Бесконечно богат был этот мальчик! Но что делать, нам так лучше, правда?

— Так лучше,— сказал Егор.

— Ямщиков пожалеет. Творцу нужна женщина. Нужна женщина, ради которой он бы, ослепленный ее чарами, пускай обманом, захотел бы расколоться на тысячи звезд и просиять. Он испугался меня.

— Трудно в его возрасте переменить жизнь.

— В любом возрасте трудно. Но когда тебя полюбят, все бросай! Хватай за руку и держи. Не оглядывайся, не взвешивай. Она тебя тащит ночью в море, падай с ней в волны. Ведет в лес — иди. Отчего все погибает? От этой ужасной пошлости людской, от пошлых представлений о счастье. Люби всех. И меня немножко. Не холодей. Поедем в Малы?

— Вот приедет Димка — тоı

Она провожала его до двери и так нежно подталкивала его в спину рукой, что если бы не длинный их разговор, Егор бы повернулся и обнял Лизу. Но он вытерпел жгучую минуту, а потом, на улице, ему стало легко и хорошо.

3

Дмитрий ехал в Изборск к Егору четыре дня. В Москве у него не было ни одной знакомой души, и ночевал он на Казанском вокзале на скамейке длинного зала в третьем подъезде, под тяжелой люстрой. Днем от нечего делать потоптал дорожки в Донском монастыре. На Изборск у него было три дня, и он спешил, спешил туда. В монастыре, в троллейбусах и в метро, у кассы, изнывая от ожидания своей очереди, Дмитрий все думал о себе, как бы со стороны оценивал свое положение в жизни, через семь лет после первой встречи с Москвой. «Куда я еду? Зачем?» Где-то далеко его комната, берег, клуб, незавершенная борьба. Что ему отираться-то на съемках? Кто-то занят любимым делом, а ты будешь наблюдать? Несчастливым стоял он всю ночь в тамбуре, до самого Пскова. Но вынырнул из толпы на перроне Егор, и сделалось легче. Как это важно, чтобы кто-то опекал тебя, был охраной твоих дрожащих чувств,— пусть он и ровесник твой. «Ты должен, ты сможешь, ты еще...» — дудел всегда Егор. Кто бы спасал его словом еще? В группе уже все знали, кого на заре встречает Егор. Был пасмурный день. В Изборске, недалеко от Труворова городища, над речкой Бдехой под кручей, снимали «полет первого русского Икара».

В Изборске Дмитрий был до того тих, мягок и добродушен, что если бы его увидели те, на кого он кричал на юге, они бы выпучили глаза и сказали бы, что он притворяется. Но он был таким от рождения. В Изборске он всех любил, слушал, набирался ума-разума. Дома не будет рядом ни Егора, ни Ямщикова, ни милейшего реставратора Свербеева. Все еще хотелось в кого-то вцепиться, безоглядно довериться, на мгновение хотя бы сотворить себе кумира.

— Силища мужик! — нахваливал Свербеева Егор. — Душа нараспашку. Прозевали мы с тобой любятовский день! народный праздник, село такое, Любятово, под Псковом, ноги моют, чтобы исцелиться. Иван Грозный ночевал там. Но ничего, Свербеев в Печоры свозит.

Они путешествовали целый день. И в путешествии, слушая Свербеева у крепостных Порховских стен, в аллее толстых дубов у села Дорогини, на опушке усадьбы графа Строганова (везде среди мизерных остатков великолепия и благодати, среди уже векового смирения, запущенности и «божьих слез»), Дмитрий то загорался мечтою покинуть юг и выбрать себе здесь какую-нибудь деревеньку или пристроиться в помощники к Свербееву, то ничтожно зачислял себя в пропащие. Небогата земля плодами, да зато проще, добрее, откровеннее люди. И сколько следов немилостивой истории! В Печорах сидели на закате у монастырской стены и говорили о России. Так хорошо, с душою, и будто невзначай касались всего благочестивого, что поглотилось тьмою забвения и что взяло да и вспомнилось. Большое красное колесо опускалось за лесом. И Дмитрий глядел вокруг и думал, что это то же счастье — от всего вдруг отвлечься и тесным кружком поговорить о России так, как умели когда-то.

4

В архиве Кирилла Борисовича Свербеева хранились бумаги, о которых он забывал. До какой-то поры едва ли смотрели ветхие листки и дети Кирилла Борисовича. Архив накапливался понемножку: частично открылся в портфеле отца, кое-что передавали многочисленные родственники, иное реставратор выписал крупным ветвистым своим почерком в государственных хранилищах. Последние бумаги, «рулоны», которые приметил на шкафу Дмитрий, вручил ему как-то престарелый дядюшка — кому же еще? То были жалованные грамоты, подписанные и скрепленные сургучными печатями государей. Там значились имена предков Кирилла Борисовича.

Странно увидеть свою фамилию, выпирающую прописными буквами из старомодного державного текста! Что должно копошиться при этом в душе, кому и как рассказать о связи с темным XIV веком, с Дмитрием Донским, Куликовской битвой через какого-то Акинфа, посеявшего их всех в века? В княжение славного Дмитрия Донского он

числился кем-то у духовных князя («вернейший паче всех») и сидел при его кончине. Два брата Акинфа пали воеводами на Куликовом поле. «Тем воеводам при животе честь, а по смерти память». Мелькают имена: в летописях, разрядных книгах, родословцах, мемуарах. Воеводы, ловчие, кравчие, схимники, послы, опальные, вотчинники, опричники, пленники, смутьяны, ученые, геодезисты, инженеры, художники и т. п.

«Пишу завещание детям моим Алексею, Василию, Сергею в первых дабы почитаема была Мать бояться и трепетать как пред Богом. Аще кто чтит отца и матерь долгоденствует. Такъже прошу, дабы меж вами была любовь неполитичная но суще братняя и о сем письме воспомянул для того вставляю дабы меж вами не было по мне вражды...» «...да и во всех наших деяниях более надеждою и терпением занимаемся, а очень редко временем пользоваться можем, а большею частию все на словах оканчивается...» (XVIII век).

«...полицымейстера капитана Петра Свербеева от правления в городе Пскове полицымейстерской должности отрешить, на его место назначить отставного подполковника Ананья Васильева Пушкина... 20 янв. 1760 г.»

«...однако же видно, что в вас ни страху Божеского нет, ни жалости об нас, то уже на нас не пеняй. Мы уже совсем от вас отречемся. И розсуди, чего от Бога ждать, кто ты так презираешь родительский приказ. Но верь, сын, что Бог тому не попрочит, хто презирает волю родительскую. Самая моя несносная горесть принудила так писать, и вижу неутешно-горькую нашу старость. И больше уже не жди от меня. Мать ваша г. М. С.» — 1747 г.

Приписка: «...и я вам, батюшка братец, и вам, матушка невестушка, приношу мой поклон и любезных детей цалую и у батюшки руку. Впротчем, прося о продолжении любви вашея, остаюсь вам, матушка, верная услужница. Е. С.»

«...благонадежный залог ея грядущих судеб».

«...смешав гостеприимство русской старины с образованностью времен...»

«Ночевал я в знакомом флигеле, в тихой успокоительной обстановке, и отрадно было сознание, что находишься в привольном убежище. На душе было легко. В 9 часов утра ударили в колокол и раздался благовест. Колокол напоминал о двойном празднике — о дне воскресном и дне Преподобного Сергия. Народ все подходил и заполнял церковь. Перед большой иконой Преподобного Сергия, прислоненной к иконостасу, горели свечи; «и бысть молчание». Свежий воздух доносился через отверстые двери храма. В 9 с половиною раздался трезвон. Из алтаря вышел диакон, и послышался возглас: «Благословенно царство!» Дети, парни, бабы с младенцами и без оных, мужики в смешанных одеждах прибывали и прибывали. Отрадно было находиться в этот день в среде сочувственной и родной, вдали от тяжких событий столичных. Драгоценны вековыя могучие связи, и не порываются оне безнаказанно. «Се ныне время благоприятно, и ныне день спасения». Все охвачены единым чувством. Ветер бушевал, качая старыя липы. Мы вернулись в уютный, теплый дом. Опять те же старые, давно знакомые покои; они переносили в заветный мир дорогого минувшего; но оно не угасло: здесь, на родовом своем корне, растут новые свежие побеги. Отрадно это сознание и утешительно. Оно доказывает, что там, где нет уклонений от основных условий нашего быта, там и в XX веке возможны те же положительные итоги, тот же расцвет местной, тихой и благотворительной деятельности. Пока еще живут эти, увы, поредевшие ныне уголки в нашем отечестве; пока правительством не расшатаны совсем лучшие устои ее спокойного и мирного развития, еще нельзя отчаиваться за будущее. Разрушить наши последние устои не так легко и в земле нашей отчаиваться рано.

«Любуйся ими и молчи».

Тютчев.
1905 г. Г. С.».

«Есть целый мир в душе твоей».

В эту ночь что-то сдвинулось в душе Дмитрия навсегда.

Всю ночь проворочался Дмитрий на тахте в отдельной комнатке, которую выделил ему Свербеев, читал грамоты, подходил к окну и поглядывал на белую, знающую что-то церковь Василия на Горке, ложился, опять читал, кое-что выписал себе в тетрадь.

Утром зашел бодрый Кирилл Борисович, поразился ночному бдению молодого человека, свернул бумаги и положил на шкаф.

— Я же говорил вам, Дима: Свербеевы — люди служивые. Не умиляйтесь... мы не хуже.

Указательным и большим пальцем он растирал усы и глядел на портреты в позолоченных рамах.

— Читаю их грамотки,— заговорил тихо, извинительно,— и ловлю себя: какими странными мне кажутся их заботы, ссоры, тяжбы, все бытовое. Через триста лет. Я понимаю прекрасно, «это жизнь», без этого нельзя, все на этом держалось и держится, но думаешь: зачеем? А деньги, пишут, мы издержали, купили соли на 16 алтын, горшков да кадок на поварню. Мы-то знаем, чем все кончилось. Или родственники Свербеевых, Васильчиковы, делят недвижимое имущество после родителей. Зачем? Купи сестрице чулочки немецкие белые; послал я к тебе свои сапоги. То, что было для людей насущным, кажется мелочью,— на что тратились силы, сноровка, ум? Все улеглось, все прошло. И не удивляет только: зачем ездили с ярлыком в Золотую орду? Зачем рубились на Куликовом поле и под Бородином? Не сочтите меня милитаристом, ради бога. Мы читаем историю, а что это такое? История войн. И привыкли, что это правильно, а мирное, бытовое нам кажется незначительным. И главное чувство: все прошло, все как будто было напрасно. Ненадолго дана ра-

дость, и когда читаешь про кресты, святые ордена, золотые сабли с алмазами, с надписями «за храбрость», спрашиваешь риторически: зачем?!

«Как о воде протекшей будешь вспоминать...»

5

— Чудесно, чудесно,— сказал Кирилл Борисович,— вы принесли в мой дом праздник.

— Я всюду его приношу,— ответила Лиза на любезность. — Со мной легко, но каково мне? Извините, две нехороших привычки во мне: опаздывать на свидания и фамильярничать с первых минут.

— У вас так легко получается.

— Но, разумеется, я не целуюсь с первых минут.

— Нет, она замечательна,— захохотал Кирилл Борисович и чуть обнял ее за плечо, заглянул в глаза. — А-а? Отобью, отобью!

— У Егора-то? Он меня отдал уже. Просто выкинул. На ветер. Не буду, не буду никого соблазнять. А что это у вас?

— Мои рисунки.

— А э-это? Ваши родственники? О них много известно? Кто это на портрете? — боярин?

— Ничего особенного,— сказал Свербеев. — Служивый. «А пожаловал государь тем отласом боярина С. за то, что он у государя на светлое воскресение волоски снимал». Ну, было, было. При царе Алексее Михайловиче. Мы лучше их.

— Почему?

— Нам труднее.

— Какая прелесть,— пальчиками погладила Лиза раму портрета.

— Жизнь есть должность,— говорили англичане. Вот и были «вернейшие паче всех». Не умиляйтесь вы ими.

— Ну это же хорошо! — сказала Лиза. — Избави меня бог от безумия, я уже восхищаюсь вами, Кирилл Борисович. Вас надо бояться. Извините, я привыкла дерзить.

— Такой женщине можно все простить,— сказал Кирилл Борисович, подошел к ней и обнял, придержал возле себя. — Ай-яй-яй, как чудесно с вами жить, друзья мои.

— Объясните все же мне, почему мы такие? Я сама видела — у Александро-Невской лавры на Никольском кладбище на сколотые мраморные надгробия вываливают макароны, банки-склянки? Почему за это не судят?

— Ведь и в старое время было небрежение. Вот у меня есть выписка, даме я не могу показать...

Он присел, вытянул с нижней полки папку, нашел лист и подал Егору.

«Царь! На постройку кораблей ты прислал нам сто рублей. Девяносто три рубли мы пропили и про... Остается семь рублей на постройку кораблей. Царь, пиши скорей ответ: будем строить или нет?..»

— Вот,— указал пальцем Кирилл Борисович,— такие мы. Пиши скорей ответ: будем строить или нет.

— Сколько можно дразнить? — захныкала Лиза. — Дайте. Думаете, я не знаю непечатных выражений? Или мне выругаться?

— На, на,— передал лист Егор. — Не красней.

— Ну и что тут такого? — прочитала Лиза и отбросила лист на тахту. — О, не дай бог услышать нас, женщин, когда мы одни!

— И тем не менее мы в вас любим целомудрие.

— Это кто ж любит?! Это кто ж нас развращает, это ж почему мы нынче такие? Ах они, негодяи. Еще и «любим». — Она погрозила им. — Становитесь на колени! Оба! Ой, как хорошо мне с вами, честное слово. Не буду, не буду вас соблазнять, не холодейте. Кто сказал, что я уже в вас влюблена? Так вовсе нет. Но люблю, разумеется. Вы это чувствуете?

— Едва вы вошли...

— Что-о?

— Едва вошли, мне стало ясно, что вы настроены на мою волну.

— Боже мой! И вы тоже плут. Как и он. Как и все мы. Вот скажите: вы бы подошли ко мне на улице? Что бы вы сказали?

— «Такая богиня. Господи, как я уже стар». Я лишний раз почувствую, что возрастом своим так же отстаю от молодой красоты, как отстаю от века.

— Неправда, неправда, сударь! — затопала ножкой Лиза. — Вы так молоды душой. Если бы мне было семнадцать лет, я бы влюбилась в вас до безумия. Вы вечный юноша. Между тем вы мужчина как мужчина, вам сорок пять лет, но от вас веет жизнелюбием, весенними лугами,— вот до чего я договорилась, дура.

— Как-то, в тридцать три года,— начал рассказывать Свербеев,— я был у моря, и однажды мы попали на пустой берег, к которому надо было спускаться с высокой кручи. Я поглядел вниз и увидел огромное слово на белом песке. Оно еще было не дописано, вернее, не вырыто до конца. Под этим словом, если можно так выразиться, сидела хорошенькая девушка лет восемнадцати, темноволосая, стройная. Я целый день пробыл на пляже и наблюдал за ней. Не отрывал глаз, клянусь. В компании двух маленьких братишек ей было скучно, она валялась на песке, плавала на надувном матрасе,— ложилась на спину и качалась на слабеньких волнах. Мечтала, конечно, о любви. И так, наверное, было все дни, с тех пор как мама и папа привезли ее и поставили машину у самой кручи. Мама большую часть дня отдыхала в тени у машины или готовила обед, поглядывала с высоты, как лежала, ходила по берегу, плавала ее дочь — все одна и одна. Никто сюда не заезжал, и только в воскресенье появлялись две-три семьи с сумками, полными вина и закусок, визжали, пели песни, и после них становилось на берегу еще тише, чем вчера, и грустнее. Не скучно?

— Нисколько,— сказала Лиза.

— Как она была хороша, когда вставала и шла к воде! Я горевал. Я только издали мог любоваться ею, боготворить ее и думать, что ее ждет. Она замечала и, когда шла, думала, казалось, о том, что я ею восторгаюсь. Оглядывалась в мою сторону по нескольку раз, все чаще, чаще и... незаметней. Присаживалась и продолжала вынимать песок из буквы «щ». Мы приехали еще раз в воскресенье. Она была с мамой у костра; через десять минут спустилась к морю и стала интересоваться, гляжу ли я на нее. Какое это наказание — любить прелестное существо издалека, знать, что видишь его последний раз! Что будет с ней? Долго ли цвести ее красоте? Когда мы собрали вещички и полезли наверх по тропе, я не выдержал и махнул ей рукой. Она улыбнулась и безвольно легла лицом на руки. Она лежала возле недописанного слова; слово было знаете какое: «Проща...» Как будто это «прощай» было мне. «Прощай, море», конечно. А может, нет? В такое детство впадаешь иногда.

— Да это же хорошо,— сказала Лиза. — За что вас любить, мужчины? Так вы отдали нас самым плохим.

— Так и живут люди: взглянул, восхитился и расстался. Все должно совпадать вовремя. Так вы скоро с Изборском будете прощаться.

— Да, да, я знаю. Я сюда приехала за слезами. Пойдем мы наконец в звонницу?

Высокая белая звонница находилась у моста при церкви Успения с Парома. Кирилл Борисович жил на Завеличье, шли к ней недолго. Открыли широкую дверь на висячих замках. В звоннице художники устроили себе мастерскую. Настлали второй этаж, поставили тяжелые низкие столы и лавки, работали здесь и зачастую ночевали.

— Такой славный терем,— одобрила Лиза. — Хочется говорить о чем-то приятном. Я вырастаю рядом с вами, Кирилл Борисович. Дайте мне слово, что когда будете в Москве, позвоните мне. Я полюбила жизнь и людей первее себя. Раньше была другой. Скоро я буду счастлива. Я загадала, и все сбудется. — Она при этом нескрываемо нежно глядела на Кирилла Борисовича. — Но нет, не пугайтесь, я не ведьма, я такая же смертная, как все, прошу не доставлять мне ненужного страдания.

— Государю моему Кириллу Борисовичу Свербееву Васька Ямщиков челом бьет!

Свербеев поднял руки и закричал:

— Ай-яй-яй, какой вечер! Ура!

Но Ямщиков не позволил ему обняться и продолжал:

— Здравствуй, государь, со всем праведным домом...

— Милости просим.

— Сказывали мне твою ко мне милость, приехали мы, холопи ваши, по вашему указу, а письма от тебя и крепостей нет, принимай беглых крестьян своих. Могу?

— Слава богу, слава богу,— сказал Свербеев. — Хоть что-то да почитал. А дворня твоя киношная в преферанс ночами дуется, водку пьет. Как же они играть будут?

— Здравствуйте,— не ответил Ямщиков Свербееву и поклонился Лизе и Егору. Дмитрий, шедший за ним, тоже поздоровался.

Лиза нехотя кивнула, будто сказала знаем, знаем, кто вы такой. В белых узких брюках, в куртке, накинутой как бы спешно на простую синюю рубашку, Ямщиков имел вполне рабочий вид, и после шуток лицо его приняло выражение заботы о чем-то недоделанном на площадке.

— Чаю, что ли,— сказал он, сел на конец лавки и вдруг повалился к коленям Лизы.

— Всю жизнь мечтала,— сказала Лиза. — Но не в звоннице. Как вы небрёжны со мною.

— Терпите. Уютно живешь, Кирилл Борисович. Устал сегодня. К бодёной матери,— как говорили твои предки. Не чувствуют время.

— Внуши им.

— Как внушить?

— Вот начнут сейчас,— укорила Лиза. — Общественно полезные разговоры. Не могут, не могут сойтись и посидеть по-человечески.

— А что это значит — по-человечески? — Свербеев перестал наливать чай.

— Обязательно про это?

— Но про что же, если не про это? И про это...

— Да ну вас...

Эти мужчины! Бестолковые! Неужели они думают, что сдвинут что-нибудь с места своими бесконечными разговорами. Переменили тему хотя бы при ней! О да, конечно, она во всем с ними согласна, она понимает, что эти двое страдают, но все равно ей порою становится тошно. В разных домах, на днях рождения и просто на пирушках, она ненавидела женщин, которые как будто тоже участвовали в этом разговоре, поддакивали своим мужьям или любовникам, но с зверьковой ловкостью от всего отрекались, если переходили в другие мужские руки. Знала она одного холостяка, до того помешанного на идее фикс, что с женщиной долдонил только об этом и еще и оправдывался перед друзьями: «А о чем с ними говорить можно?! Пусть знают, братец! Хватит им рассматривать шведские журналы и изучать инструкции к любви!» Нет, Лизе надоело. Говорят, говорят, говорят. И что толку?

— Садимся,— пригласил Свербеев. — Чай с вином.

— Хорошо! — повеселел Ямщиков. — Есть еще к кому прийти. Хорошо у тебя, батюшка. Когда мы вот так сидим кружком, все ясно и понятно. А вполне возможно, что *так* думает всего каких-нибудь сто человек. Или меньше.

— Как? — спросил Егор.

— Некому вас любить, мужики,— сказала Лиза. — О традициях толчете воду, а как вы живете? Вас любить, беречь некому. Уж простите меня, дуру, я часто ругаюсь, но любуюсь вами тоже.

— Мы живем прекрасно,— сказал Свербеев. — У меня все есть.

— Не знаю, не знаю. Любить вас некому.

Она имела, наверное, в виду любовь-почет, любовь-благодарность за то невидимое всем, но известное ей, что сейчас умиляло ее в них. Оба высокие, красивые. Свербеев, пожалуй, благороднее и горестнее Ямщикова, и она его чтила больше; зато Ямщикова любила. Глаза Свербеева постоянно чему-то удивлялись, такие изумительные прозрачные глаза. Можно представить, как ласков и бесподобен он был, когда влюблялся в женщин. Ямщиков счастливец, баловень, а труд Свербеева неблагодарный, почти никому не нужный сегодня, и он согласился давно на гораздо большие жертвы, чем киношники и прочие. Всякому, думала она, кто хоть раз постоит возле него, должно быть ясно: перед ним редкий незаменимый человек. И понятно, почему в санаториях, где он часто лечился, его всегда провожал хвост новых знакомых, которым он, расписав адрес, еще раз кричал из окна: «Приезжайте на нашу Псковщину! Вы нигде больше не увидите такой красоты!» И ей он сказал уже дважды: «В Устье свожу! в Себеж! в Прихаабы!» При этом мелькнуло в ее голове: если ехать, то только вдвоем. Так он хорош, и хочется полетать с ним мгновение на легких крыльях.

Заговорили о Василии Мудрове. Свербеев переписывался с ним по поводу реставраций Печорского монастыря. Когда Егора взяли на роль князя и стали известны места съемок, Дмитрий, читавший письма Мудрова к Боле, назвал другу имя «какого-то там подвижника-хранителя» Кирилла Борисовича. В феврале с ним познакомился Ямщиков. Так сходятся в нашей запутанной жизни концы одной подковы. Тесной стала земля. Василий Мудров, рассказывал сейчас Свербеев, сообщал ему из Парижа, что все сведения, выписки, тонкие рекомендации на будущее о сохранении архитектуры Псково-Печорского монастыря отосланы им в Академию наук на родину и много писем по тому же поводу направлено разного рода хранителям русской старины. Поражали старательность и дотошность, с которыми заботился он о памятниках, стоявших далеко от него. Упоминал он о каждой мелочи: об иконе с рисунками обители, которую, может быть, не увезли немцы; о служебнике вечевых времен; о фундаментах, о древнем узоре на Успенской звоннице, о восьмискатном покрытии Никольской церкви, о золотых шатрах средь дубов на Святой горе и о «Титовом» священном камне, которому приносили жертвы и в XX веке. Все помнил, все любил.

— Ему надо ехать сюда,— сказал Ямщиков. — Чего он там сидит?

— Он уже хлопочет в посольстве,— сказал Дмитрий.

— Нечего ему там делать, в Париже. Кому они там нужны, эти допотопные старики? Я их видел и во Франции, и в Англии, и в США. Мудров-то чего сидит? Кто-то желает вечно продолжать гражданскую войну, а этим-то что скитаться?

— Ты в Париже бываешь,— сказал Свербеев,— нашел бы его и позвал.

— Да он сам скоро приедет. Ему бы только гражданство дали,— пояснил Дмитрий.

— Сколько лет прошло — шутка сказать. — Свербеев прислонился к стене.

— Но у него никого здесь нету,— сказал Егор. — Разве что Боля...

— Вот о чем пьесы писать... — выделяя каждое слово, проговорила Лиза, и с улыбкой подошла к Свербееву, и, сцепив руки, положила их на его плечо. — Эта борода-аа... ах... — И смысл ее замечания сразу как-то погас в нежности, в шутливо-остром мгновении возможного счастья: судьбы, мол, история — это одно, а есть еще...

— Кончится это тем, Лиза, что я полюблю вас, а вы будете любить Ямщикова.

— Что вы там? —спросил Ямщиков.

— А вам, сударь, не надо знать... У нас маленький секрет. Не холодеть! Мне с вами так хорошо, что я не знаю, как я буду уезжать...

«А мне,— думал Дмитрий,— а мне что делать? Кому я нужен на юге?»

6

В молодые свободные годы в кругу друзей и знакомых, за чтением книг, в кино или в прогулках по улицам навалится вдруг тоска по той личной жизни, которая неизбежна, но еще не создана. Пора прибиваться к берегу. Потом это забывается, снова кружит голову свобода. Где же тот берег и кто на том берегу?

— Что я тебе могу сказать, Димок? Милая женщина, да. — Они говорили о Лиле. — Любишь, дак бери.

— Плохо, когда у женщины есть прошлое.

— А я как-то спокоен насчет этого. Оно и у нас было. Забудется, все то уйдет, и заживе-ете, в гости к вам ездить буду. На борщ. Я вот провожу тебя, дай-ка вырву у Ямщикова денька три-четыре и слетаю к Наташе.

— В Верею?

— Ага. Я ей написал.

— Ну и давай! И давай! Она мне нравится.

Они гуляли по Завеличью, дошли к реке, поднялись к Гремячьей башне, к церкви Космы и Дамиана.

— Она тебе пишет?

— Два письма было,— ответил Дмитрий. — В Кривощеково. Митюха на Западной пел у нас: «И хочется, и колется, и мамка не велит». Там у нее все изжито, новое ее манит и страшит.

— А я зимой к Наташке приехал — не говорил? Ну, приехал, она рада, ляля-ля-ля. Черте чего мы с ней не делали! С горки катались-валялись, песни пели, ве-есело нам было! Я ей про вас, конечно, дудел через каждые двадцать минут. Но

я ведь обидел ее! — покаялся Егор на мгновение. — Я ж ничего не сказал. Уехал — как пропал.

— Значит, не любишь.

— Она написала: «Ты как плитой придавил меня своим молчанием». Мне под конец что-то не понравилось, и я ушел пешком до станции. Снег, мороз! Ушел, догадываешься почему. Ночью прямо. «Я готова стать для тебя другою, ровнею». В Изборске дурею, сны вижу, думаю о ней. Поеду! Эту, однако, Свербеев собирается обмерять?

Опять выросла какая-то церковь, высокая, со звонницей в стороне. Наконец увидели они любимицу свою, церковь Богоявления с Запсковья, сели у кривого дерева и все так же громко говорили. Хорошо тогда было в чужом городе им, они клялись навещать его всегда, но, увы, вместе они больше там не сидели. Дмитрий уезжал в воскресенье, и провожали его все — и Свербеев, и Ямщиков, и Лиза. Скромный, зачастую не уважающий себя Дмитрий смущался от такой чести, которую ему оказывают Ямщиков и Свербеев. Однако Ямщиков всего-навсего прогуливался и очутился на вокзале «за компанию», что же до Свербеева, то для него не существовало ни рангов, ни заслуг, которые бы влияли, отпугивали или приближали к себе. Он подарил Дмитрию виды Пскова, Изборска, Пушкинских мест — снимки, рисунки — и с утра приговаривал: как жаль, что вы, Дима, нас покидаете! Дмитрий, мало сказать, полюбил его; он уже предвосхищал свое счастье, если Свербеев когда-нибудь ему напишет, он расстраивался оттого, что не живет с ним рядом, отправляется в свою конуру, на землю, где такой души он не встретит. Опять его провожали, и он горевал и завидовал тем, кто, может, не ценит милостей судьбы. Они стояли кружком у вагона и шутливо наставляли Дмитрия:

— В Москве передайте,— сказал Ямщиков,— чтоб нам денег подкинули. Тысяч пятьдесят.

— Смотрите, моя золотая,— сказала Лиза служившей проводнице,— чтобы его никто не украл,— не отдавайте его в белые ручки.

— Ждем от вас, Дима, грамотки, напишите,— прижимал его к своему плечу Свербеев,— не пускайте своих крестьян по миру, приезжайте, дом мой для вас открыт.

— И буди захочешь прислать нам винца и рыбки,— брался за подражание Ямщиков,— и твое нам, государь, благословение станет. А мы тебе пожалуем две сорочки да порты да полотенце да платочков пять и скатерть немецкую и кружево кизылбацкое.

— И мне грамотку,— сказал Егор.

И, как бы слушаясь их, сочинил Дмитрий дома забавное письмо.

«Государь мой Егор Владимирович здравие твое да сохранит десница Божия на многия не-нищетные лета, а я по милости Божии еще жив до воли его праведной, мне воистинно в скорби своей мочи нет. Послал жалобную грамотку Астапову яко чадолюбивому отцу, от кого и помочи чаять, больше за меня на Москве побить челом некому, молю чтоб его государя милость взыскалась, и мне перемена буди вскоре. Чиню тебе государь мой что княиня моя Сундулея Алексеевна (Лиля то есть) докаместь мешкает с сопряжением брака со мною, уповает на время. Жить бы хоть не с большим достатком да только б без большого дурна да чтоб от людей добрых стыду не было — пока нам, до бодёной матери, на правеже ноги не переломают. Ведение мне учини а что завладел ты своею княинею Наташей, дала она видеть очи свои. Повсечастно вспоминаю вас. Всем бью челом до лица земного. Слуга твой Митрий».

Подержал, подержал заклеенный конверт на столе, да и порвал — постеснялся.

7

В Устье, любимом местечке Свербеева под Псковом, сошли они с катера и остались в целой округе одни. Отсюда до города недалеко было и пешком. Солнышко косыми острыми лучами прощалось с ними. Егор разделся, поплавал в реке Великой, чуть подальше расползавшейся в озеро. Наташа, поджав колени, сидела на берегу.

Оба чувствовали, что сегодня свершится между ними неизбежное, и оба старались не спугнуть друг друга, мало говорили, заранее стыдились, все читая в глазах, и Егор навсегда запомнил, как ему было жалко ее и как она смирялась, поглядывая на мерцавший краешек солнца, что скоро стемнеет. Каждые пять — десять минут пробегали самые разные желания и соображения: что после тайны? Сейчас так хорошо! Егор обсох, и они пошли вдоль реки, неожиданно развеселились.

— Все,— остановился Егор перед водою. — Дальше некуда.

— И завел ты... И заблудимся мы, и кто нас найдет?

— А и не надо. Не надо, правда? Мы столько лет не были вдвоем.

— И были, и не были.

Когда он приехал к ней в Верею, она в первую же минуту поняла, что прежнее кончилось. Уж больше тянуть было нельзя, глупо и неосторожно. И он, и она нагулялись, но, в отличие от Егора, Наташа довольствовалась некрепкими узами прогулочных знакомств. «Ну нравится немножко,— говорила она подругам,— но нет чего-то. Та-ак... Всегда знаешь, что скажут, к чему дело ведут. Скучно мне с ними».

Когда он приехал, она от радости все делала и говорила невпопад, садилась, вскакивала, мельтешилась. «Опять, опять поссоримся... — предрекала про себя и взглядывала на Егора, терпеливо ожидавшего ее. — Зачем он такой хороший? А я — ни прически, ни рыла, ужас, ужас».

— Что ты возишься? — спросил он наконец. — Не выдумывай ничего, пожалуйста, я ничего не хочу. Подойди ко мне.

Она стала перед ним: ей тоже хотелось касаться его, притихнуть у груди и молча просить союза. Ее покорность передавалась ему. За дверью ее комнаты пили чай дед с бабкой, деда звали Евлампием, Наташа, видно, рассказывала им про Егора: они его встретили улыбками, расспросами, одобрением, что он явился. Вечерами они с бабкой читали вслух «Дон-Кихота». Наташа стеснялась присутствия стариков даже за стенкой. Казалось — они все видят, слышат, обо всем догадываются. Она нарочно почаще выходила к ним. Они намеренно притихали, лежали по койкам и думали о чем-то с открытыми глазами. И вдруг собрались в гости, постучали в дверь и несколько раз предупредили, что, наверное, задержатся. И когда во всем доме повисла тишина, Наташа и Егор, думая, что ее искусственно создали для них, встали и пошли на речку.

— Верея, Верея... — повторял Егор под высокими густыми деревьями у маленькой речки. — Приедешь ко мне в Изборск?

— Когда-а? — спросила Наташа.

— Поедем хоть завтра.

— Поедем...

— У меня там дня четыре, если не больше, намечается выходных — свожу тебя к Пушкину, в Себеж, в Устье, в Приха-абы,— произнес он а-ля Свербеев. — Везде будешь со мной. — Она равномерно толкалась в его плечо, одобряя уже его во всем. — Тебе здесь скучно? Что ты делала вечерами?

— Письма тебе писала.

— Во-он что. Не получал.

— У меня их целая подушка. Я дам их почитать при одном условии... Нет, я не дам их тебе никогда. Зачем? Писала в плохом или возбужденном настроении, упрекала, проклинала — я и так могу тебе все сказать... Неужели трудно догадаться? *Сегодня* мы не будем вспоминать ни о чем таком... Договорились?

— А когда?

— Когда будем вместе.

Наташа думала свое. В неотправленных письмах было много правды, но и то всего она не посмела открыть ему. Жизнь перепутывает хорошее с плохим, и всегда есть тайны, которые потом никому не расскажешь. У него они тоже есть. Что бы могла она вспомнить из того, что пережила без него? Если бы хотела.

«Все зыбко было, ни в чем определенности. Меня любили — конфузилась и жалела. Хотела делом заняться, но какое может для женщины быть дело? Раздражение: живут все не так. Раздражение за вечные разговоры о ком-то, живущем за стеной, рядом: и как он, и зачем, и почему? Бесило, когда ловила себя на том же. Бесстыдство — как норма жизни? Не хотелось лгать, приноравливаться, быть «не хуже других». И выдумала себе одно прибежище: горы. Двадцать дней в горах — двадцать дней настоящей жизни. Будто и люди там веселее и строже, сильнее, добрее. Там нельзя притворяться. Подъем затемно, и сквозь непогоду, усталость, апатию — только вверх. И когда, вымокшая, окоченевшая, вылезешь на эту чертову вершину, увидишь внизу облака и синеву в соседнем ущелье — будто иллюстрация из книги, которую листала в детстве. Потом внизу падаешь в траву, пьешь из ручья, бродишь среди зарослей. Видел ли кто-нибудь голубой, сиреневый снег, цепочку кроваво-красных следов за собой? Это высоко в горах живут на снегу крошечные водоросли, они окрашивают снег. Горы, лес, ночь, хижина. Свеча робко горит. Девять уставших спутников, и я, десятая. Тепло. Чай. Пуховые спальники, потрескивают полешки в печи. Город далеко внизу. Там летние вечера, в скверах пенсионеры и влюбленные, неоновые рекламы, ленинградское мороженое, уютный свет торшера. Но мне-то туда зачем? Пока удивляешься — живешь. Я думала: почему все так хорошо, когда все так плохо? Чисто, будто не на земле. Радоваться. И любить. А тебя где-то забывают. Не придумала ли я себе этого человека? Нет его? Бросить все, устроиться буфетчицей на корабль, плавать в океанах? Не по мне. И заснешь с этим.

А потом город — суетный, душный. Книги, театры, прогулки и воспоминания. «Войдешь в дом — и прежде всего услышишь запах яблок». Боялась, возраст сломит меня. Хандра. От хандры к веселью, у меня всегда так: чем хуже, тем веселее и отчаяннее. «Хандра ниоткуда, но та и хандра, когда не от худа и не от добра». Счастье или спасение от грусти ищешь в книгах. Закрываю глаза, и мечтается о местах далеких, то ли о коралловых рифах, то ли об островах Соловецкого монастыря. И уже почти уверена, что должно что-то случиться. Все имеет конец. Уехать бы и долго жить в пути, надеясь, что вот приеду — и все изменится. И оттого вся хандра и грусть, что женщина без мужчины никто. Все теряет смысл. Вроде и поездила я достаточно: Казахстан, Кавказ, Тула, Ясная Поляна, Константиново, Ленинград, Таллин, Тянь-Шань — впечатлений хоть отбавляй, а любви? Ждала чуда. А люди все бегут, переругиваются, сплетничают, флиртуют, продают нейлоновые ресницы, покупают нарциссы — для чего? И наблюдательность становится нехорошей, злой. Все оттого, что одна. Плохих не нужно, а *он* — где?»

Вот что. Но она не сказала *ему*. Зачем? Когда-нибудь скажет, а сейчас — нет. Мужчины не любят жалоб. Уже сейчас ее прошлое как далекий свет, грустный, но уже вроде бы и не ее.

— Хочу в Изборск,— сказала она.

— Что ты чувствуешь сейчас?

— Тебя,— сказала она после молчания.

— Ты о чем-то думала...

— О тебе.

В Пскове Свербееву она понравилась в первый же час, он хлопотал, чтобы ей дали в гостинице номер, к обеду раздобыл легковую машину и повез

их в Себеж. Там, на полуострове, в окружении озер, он снимал их «Зенитом» и приговаривал: «Если вы, Наташенька, вздумаете забыть нашу псковскую землю, я все равно вам напомню о ней!» Он без конца отвинчивал крышку флакончика и глотал таблетки, но был весел. Робкий директор музея, поблескивая толстыми стеклами очков, до кривизны искажавших его глаза, водил их по такому милому полудеревенскому городку, в котором она бы согласилась жить, но с Егором. К ночи они тронулись обратно. В машине играла музыка, передавали последние известия, подступали и срезались за окошком холмы, и Наташа думала, как все меняется на сердце, когда ты не одна. Свербеев сидел впереди и подсвистывал мелодиям из радиоприемника, оборачивался, благословляюще улыбался; он украшал их маленький союз, ни разу не возникло желание от него отстать и укрыться — что редко бывает у наскучавшейся парочки.

— Ай-яй-яй, какая ночь! — вскрикивал он и щурил глаза. — В Москве такой нет, а, Наташенька? Вы полюбите нашу землю, а-а? Мы вас крестили Себежем. Хотите, обвенчаем в церкви?

Устье она не забудет. О том, что в темноте не разберешь дороги назад, что Свербееву обещана прогулка до Мирожского монастыря, а в пять утра надо выезжать Егору в Изборск на съемку и Ямщиков наказал зайти к нему перед сном, не думалось. Какое! То все пустяк. Разве способно что-нибудь устыдить, когда все в мире гаснет и никого в нем нет, кроме слабой, самой родной и желанной женщины?..

Не так как-то светили звезды, когда медленно — он виновато-ласковый, она смелее, чем прежде,— шли, подбивая ладошкой ладошку; не то думалось о Москве, в которую он вернется в августе и где-то поселится; не столь расплывчато вставала и будущая, хотя все еще неопределенная жизнь. Миг с Наташей что-то прибавил сердцу.

И тайной полуночных кратких минут был заслонен весь день. И проснулись, открыли глаза они с этим чувством: уже покарало их небо последним стыдом и великим счастьем! Наташа улыбкой смущения и радости спрашивала: ты со мной? ты рад? И где бы они в тот день ни ходили, с кем ни видались (Егор возвратился из Изборска после двенадцати), думалось: у нас есть тайна, но ее никто не знает! Молчание им не мешало, наоборот — как бы заметнее сказывалось в выражении глаз то, о чем они думали. Весь день Егор оберегал ее, и не то что обидеть страшился даже чем-нибудь крошечным, а просто не знал меры в любви к ней. Ночь открыла в душе свежие истоки, и не на один день, на всю жизнь: за что они могут обидеть друг друга?

Первой повстречала их Лиза. Она совершала обход магазинов, купила какие-то безделушки-сувениры и книжки о Псковщине.

— Слыхала, слыхала о вас,— протянула беспечно руку Наташе. — Вы как-то пропа-али, господа, не позвать ли милицию?

— Я уже сняться успел,— оправдывался Егор,— а вы вот, мадам, где бродите?

Лиза, как нарочно, блистала красотой, то есть предстала на улице еще ярче, соблазнительнее обычного. Умные бесовские глаза ее не смущались; голос переливался то лениво, то серебряным всплеском; ножки игриво топтались и так и этак. Странная неловкость застигла Егора. Он сперва выпрямился от желания погордиться Наташей, представить ее как должно — ведь он уже знал достоинства ее души,— не унизить во всяком случае, но не мог: Лиза забивала ее очаровательной вольностью красавицы, тем площадным шармом, которым славятся актеры и актрисы; он хотел их сблизить, сдружить на минуту, но по их взглядам заметил, что этому не суждено сбыться вовеки. «А вот и она ничего не знает, что было вчера у нас...» — проскочила у него независимая мысль в то мгновение, когда Лиза прострочила Наташу взглядом с головы до ног. Они говорили, говорили, и память Егора бегала от года к году, от истории к истории, и ничего нельзя было вычеркнуть: все случалось у него с ними, обе заняли свое место. Уж теперь одна посторонилась навсегда, и так надо. Тайным сверканием глаз передавала ему Лиза свои летучие воспоминания, свое *право* вспоминать о нем все такое, чего, может, не достанется этой, конечно, милой, с пушистыми ресницами *женщине* (без всякого сомнения, определила Лиза). Но то было все скрытое, угадываемое нервными кончиками, а так, на поверхности, ничего нехорошего не возникало: стояли, улыбались и говорили о чем придется. Лиза даже пригласила их в гости.

А вечером они сидели в звоннице у Свербеева и пили чай. Свербеев писал метрику на церковь Нерукотворного Образа у Жабьих Лавиц.

— Почитайте пока письмо от Мудрова из Парижа,— сказал,— а я еще пять строчек — и все. А вам, Наташенька, вот, посмотрите мои альбомы со снимками нашей Псковщины. Или живопись полистайте. Вы любите Возрождение?

Он включил проигрыватель и поставил пластинку Моцарта.

— Привык работать под музыку. Вы пришли ко мне какие-то тихие,— улыбнулся он им и отвернулся к бумагам.

Наташа сидела на тахте, Егор в кресле; они переглянулись и подумали о своей тайне.

— Когда мне хорошо с женщиной,— сказал Свербеев,— я согласен умереть.

— С какой?

— О господи! Я вообще. Я поглядываю на вас и радуюсь: молодость, чистые глаза! Я бы с удовольствием сейчас выпил за это,— не найдется там у нас чего-нибудь?

— Вам же нельзя!

— Когда мне хорошо с друзьями, я тоже согла-

сен умереть. «...и горело Запсковье по Жабию Лавицу». Поэзия!

— Что ж я еще не видел ее?

— Допишу, и пойдем.

И в тишине, в той тишине, когда каждый занимается своим делом и чувствует присутствие других, они пережидали часок, чтобы всем подняться и выйти на прогулку к Жабьим Лавицам.

А через четыре дня они поругались — бессмысленно, глупо. Недавно возникшая зависимость друг от друга, недавние ласки только удесятеряли их вспыльчивую нетерпимость и настырность. Ссора завелась «из-за ничего», но с каждой минутой неуступчивость костенела все более, причина обиды забывалась, а выпирало желание не уступить первому.

Два часа спустя они помирились, вновь искали уединения, и, когда Наташе стало совсем хорошо, она покаялась: «Прости меня, ладно?»

За день до ее отъезда вражда пробудилась еще раз. Точно так же, как семь лет назад, в зимнем Коломенском, Егор стоял перед ней, уговаривал — и напрасно: Наташа глядела на него зверенышем. Все дорогое, чудесное мигом отлетело куда-то. Его пугало сознание того, что в самом начале жизни с ней (он так и считал — уже *жизни*) он не мог с ней справиться! В обиде она разрушала все. Свербеев? Ямщиков? Ваш мир — божественный и тонкий? Да плевала она на это, на всякие авторитеты, величие! Она так бы не сказала, но это чувствовалось, искрилось в ее глазах. И выходило: все вы только треплетесь, будто не можете без идей, работы, святого искусства, пятого — десятого, а на самом деле — недели не проживете *без нас*, и ваши разговоры о высокопарных вещах просто смешны, когда подумаешь, как вы жалки без женщин. Вы все равно к нам прилезете, сомнете в темноте свою гордость, кинетесь упрашивать и т. п. Нет, она молчала, сжав свои губки, но *все такое*... током било Егора. Странно: мужчина немного тускнеет, теряет ореол после того, как станет доступен и знаком загадочному утробному женскому чувству.

К ночи они непримиримо разошлись по номерам. Егор потащился искать сигаретки.

Не спалось.

Закрывал глаза и думал, как она лежит там одна. Завтра ее провожать в Москву, а съемки растянутся до конца сентября, и два месяца они так и будут дуться вдали?

В час ночи он постучал к ней, позвал: «Наташа...»

Ничто за дверью не шорохнулось.

Егор спустился вниз, вышел на проспект: подстегивая свою досаду упрямым желанием бродить до рассвета, потащился к Довмонтову городу.

Нашел в темноте он и церковь на Жабьих Лавицах. «И свершили однем днем и освятили...» — вспомнил он запись в метрике. Была же это заурядная, подлатанная и не раз перестроенная церквушка, гораздо хуже названия, данного когда-то метким народным словом. Никаких лавиц-мостков и в помине. И так часто бывало: воображаешь с чужих слов одно, а находишь другое.

В три часа в приоткрытую дверь его номера кто-то стукнул.

— Я видела из окна, как ты шел, — сказала Лиза.

— Садись.

— Не спится? И почему один?

— Так...

— Пришла помешать твоему счастью.

— Каким же способом? — спросил Егор.

— Самым простым. Не холодеть...

— Я женюсь, ты знаешь?

— Но какое мне до этого дело? Какое мне дело, кто тебя будет обстирывать? Хороший мужчина принадлежит всем. Ты не дрожишь, что она войдет? Господи, какие мужики дураки. Еще не началось, а уже кончилось. Не слушай, не слушай меня! Дай мне какой-нибудь журнал, и я уйду. В Москве будь, пожалуйста, моим гостем. Это безопасно. — Она встала и выключила свет. — Не хочу быть никому в тягость. Страдаю. Не от тебя, не от тебя. Но страдаю ужасно. И не разбить мне вдребезги свое одиночество и отчаяние. И пусть, — сказала она уже от двери. — И пусть — услышит ли господь мои молитвы? — пусть будут счастливы все, все твои друзья...

Егору стало жалко ее, но теперь он не мог украсть у жизни нескольких минут, приносивших ему когда-то с Лизой несказанное счастье...

. . . . мы ли
Переменили жизнь свою,
Иль годы нас переменили?

Е. А. Баратынский

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЖИЗНЕННАЯ ЛАМПАДА

Глава первая
БЛАГОРОДНЫЙ НАПИТОК

1

Егор увидел ее во сне, счастье было долгим, мучительным, и, когда открыл в темноте глаза, горько удивился, что нет ни снега, ни сибирских домишек, ни ее,— он снова один на своей кушетке. Счастье перешло в страдание, и он не представлял, как ему жить дальше. Еще не пробило на старинных тестевых часах и четырех. Он зажег лампу и сел к столу писать ей письмо. Он начал с тех непридуманных слов, которые глухим криком вырвались из него, едва он проснулся: «Как же я теперь буду жить без тебя?!»

2

И как же это странно! — ее не было, не было с ним раньше. Можно было бы состариться, умереть, да так никогда и не узнать, что жила на свете такая волшебная женщина. Даже в кино ее не придумаешь. Еще в марте он укладывался в дорогу, жалел Наташу, потом на юге снимался, вечерами играл в преферанс, и ничто не предсказывало перемен в его жизни.

И вдруг: «Я долго к вам шла и пришла...»

3

Съемки в Херсоне заканчивались в самом начале мая, потом перевезли бы их в Керчь, потом он бы спокойно улетел в Москву, и сезон этот мелькнул бы в его судьбе подобно многим другим. Из Керчи намечал он еще заскочить в гости к Дмитрию.

Со съемок их привозили к вечеру, Егор поднимался в ресторан гостиницы, ужинал и запирался у себя в номере. Кому писать на листочках с силуэтом римского отеля? о чем? Все, кажется, уже написал. Нечего больше. Сидел в кресле у стола до самого поздна и перебирал свои прошлые дни. Тикал будильник, который Егор возил с собой. Целый день крутились у камеры, спорили, говорили о том о сем, а едва закроешься один — душа вспомнит все свое. Или в час, когда не боязно нарушить тишину соседнего номера, брал он свою спутницу-гитару и тихо пел один романс за другим, и не мог уже остановиться; тогда казалось, сколько чувства еще в нем — кому передать? кого растрогать или успокоить? Или пел песенку про гримерную, которую сочинили актрисы:

В этой комнате десять столиков,
Десять талий, толстых и тоненьких.
В этой комнате шум не кончается,
В этой комнате что не случается.

Иногда перед сном он гулял по Херсону с Владиславом.

— Так хорошо мы здесь с тобой живем,— говорил тот. — Даже в Москве я не бываю так празднично счастлив, как здесь. Одиночество иногда очень полезно. Зачем люди так долго живут вместе? Не лучше ли, думаю порой, жить одному?

Перед гостиницей они еще раз любовались замирающим городом.

— Запоминайте, господа, этот вечер,— прощался Владислав. — Жизни у нас так мало... Вот, видите, мама ведет девочку. Ей лет десять. Она еще будет жить в этом мире, на звезды поглядывать, а нас уже может не быть. Я всегда об этом думаю. Время! Запоминайте вечер.

4

«Пропадаю... Заснул с этим чувством, проснулся с ним; днем это же чувство... И так уже много-много недель... Остановился. В тридцать-то лет! Только бы в гору, в гору, брать перевал за перевалом... А неохота, не манит вершина, главное — не ма-анит, мне скучно, и я ничего не могу. Перестал удивляться. А я и жил-то, трепыхался и летел оттого, благодаря тому, потому и т. д., что без конца чему-то удивлялся, обманывался, придумывал себе забаву. Это несло меня. Мне хочется жить, когда на сердце есть что-то волшебное. Я любил похныкать (в письмах к друзьям), посамоуничижаться, но сейчас мне в самом деле горько, нехорошо... Пропадаю, пропадаю... И никому не пишу. Про что писать? как мне плохо? Раньше, если писал об этом, то *в связи с чем-то*, в связи с желаниями, которым что-то мешает. А сейчас ничего, ну ничего ровным счетом! — никаких желаний. Болото. Тихое горе. Разочарование собой. Сколько раз было! Но я знал, за что себя ненавижу. Нынче ничего не знаю. Та-ак... Просто пропадаю. В старое время дневнику своему жаловался. Лень, неохота. Да и где он? — в чемодане где-то в Москве. Эх, Егор! — достукался, додрыгался... Пуст, выхолощен. Уже тихо, без восклицательных знаков, но очень сильно хочется, как-то меланхолично, что ли, навестить Димку, пожить с ним рядом. Все вроде бы нормально: и Херсон, и степи, и на съемочной площадке меня ценят-любят, и женские взгляды, и детки у меня растут, а мысли чик-чик-чик: пропадаю, пропадаю, пропадаю...»

5

Так думал Егор у окошка в автобусе накануне того воскресного дня, когда его разбудили стуком в дверь. Был полдень.

Утром позвонил ему Владислав:

— Давай-ка мы немножко прогуляемся. Мне не хочется одному. Надо купить вина, какой-нибудь закуски.

Медленно они шли по городу.

— Как хорошо никуда не спешить.

— Поглядеть на тебя со стороны,— сказал Егор,— ты похож на хорошего хозяина. Сумка, кормилец семьи.

— А на самом деле я хочу побеситься с девицей. Бобыль, что делать... Знаешь, я бы с удовольствием сыграл в кино человека (но кто такого напишет?), который думал, что у него с женщиной ничего не может быть общего. И потому она от него ушла. Когда мы начинали жить с Лилей, я...

Это была его вечная тема: он, бывшая жена, молодость. С чего бы ни начал, к ней возвращался. Егор ему сочувствовал; в предыдущей киноэкспедиции они так же ходили в магазин, и на ночь, перед расставанием, Владислав шутя-серьезно просил: «Напомни мне завтра, что я должен жениться».

По воскресеньям после обеда они спали.

Кто же мог стучать?

Как она рассказывала после, ей пришлось долго искать Егора. И почему-то, решила она, что застанет в его номере женщину.

Она ему сразу понравилась: высокая, с глубокими глазницами, несмелая. Она села в кресло и вздрогнула плечами, попросила сигаретку. Замерзла?

Но Егор ошибся: она нервничала.

Серьезность, задумчивость, солидность (таким она его загадала) — ничего подобного не нашла она в нем. Он был так молод! И такой простяк в общении. Рыжеватые волосы чуть-чуть поблескивали на висках сединой, взгляд был легкий, добрый. Что будет? На столе лежали карты, она собрала их, вытянула одну, другую, они сворожили ей неудачу, но первые минуты с мужчиной уже не сулили ей плохого.

Егор ни на что не рассчитывал. Прозрение тогда отказало ему. Он не задумался над тем, кто приехал к нему. К нему! Издалека. На поклон. Редкость это, что ли, в профессии киноартиста. Женщина и женщина, одинокая — ну и что ж? Ему и в голову не влетело, что она ради него провела две бессонные ночи, что она, может, страдала, не так это все просто — пуститься на встречу с артистом, не интервью же она брать налетела?

— Вы получили мое письмо? — спросила К.

— Какое письмо?

— Я просила разрешения приехать.

— Нет.

Она резко выдохнула дым и округлила зеленоватые глаза.

— Я вас обеспокоила?

— Да бросьте. Хорошо то, что неожиданно. Вы устали?

— Я замерзла. — Она двинула плечом. Егор снял с вешалки свой летний пиджак и подал ей.

— Как раз? — Маленькая услуга интимно сближала их. — Грейтесь, а я пойду. Поесть-то надо. Вы с поезда? Ну вот. Шампанское! — поднял он руку вверх и чуть вскрикнул: — Раз так, отметим историческое событие. Хорошо?

К. быстро, покорно кивнула: да, да.

— И сигарет.

О чем она думала без него, пока он толкался у прилавка, звонил Владиславу, Егор никогда не спрашивал. Он ходил больше часа. Ему бы спешить, волноваться, а он ничего. На город спускался вечер; завершалась суета дня, солнце бледнело, и что-то просящее, вместе с сумерками, подступало к душе.

— Ты у себя? — спросил он по телефону Владислава.

— Мой милый! — ласковее, чем с глазу на глаз, сорвался на крик Владислав. — Где ты? Я тоскую! К восьми жду тетку, а пока мы с тобой послушаем музыку. Заходи, мой милый, жду. Я пасьянс разложил. Конечно! На тетку, именно. — И он захохотал, ободряя свои слова.

— Сейчас и я разложу,— сказал Егор.

— И чудесно. Теток на свете много.

Владислав, смахивающий в зеленом арабском халате на барина, полулежал на диване и дергал карты из колоды. Его узкие татарские глаза не взглянули на Егора, когда он вошел и стал напротив.

— Сошлось хоть?

— Из шести — один раз, а надо три. Думать постоянно о ней, и сойдется. «Много хороших,— сегодня вычитал,— да мало любовных».

— Что за пасьянс, научил бы.

— «Мария Стюарт», есть и другие, а я люблю этот. Проще. Ко всем чертям! — смешал он карты и спустил ноги к полу. — И так придет. Придет, милая, потешит старичка. — Он встал, похлопал Егора по плечам сбоку. — Жду ее, и не хочется. Та-ак. Не нравится. И не молодая. Двадцать четыре года.

«А К. двадцать пять,— подумал Егор. — Нормально».

— Разбаловали тебя.

— От молоденьких я и сам молодею. Взгляни: разве мне дашь тридцать три года? Мальчик! Возраст Иисуса Христа.

Он и правда выглядел моложе, ни одной морщинки на тугих, с редкими волосками щеках. Разве что живот да прямая тяжелая спина намекали на солидность. Егор был статью, костью куда крупнее, породистей, но выправка была дурная.

— А ты-ы? — строго сказал Владислав. — Что это, что это! Раскисать. Суворова на тебя нет. С такой внешностью — и запустить себя. Ты запустил себя, прости, мой милый, давно хотел подсказать. Почему ты не оденешься, почему носишь эти лыжные ботинки зимой, а летом кеды? Джинсы на тебе какие-то из забытого сарая. Окстись! В Москве живешь, все есть. О каком тебе свидании мечтать? Ты и не мечтаешь, я знаю. А жаль,

мой милый. Нужны нам, беднягам, встречи, так сказать, на выс-шем уровне!

Егор виновато слушал.

— Водочки выпьешь? «Старокиевская»!

— А давай! Отглотну. — После маленького замечания Владислава цепочкой развернулись в нем грустные мысли. Во всем другом, более насущном в его жизни, он опустился еще ниже. Захотелось прогнать огорченье. Подумалось еще: там его ждут, а как это не нужно сейчас — привечать, болтать о всяком.

— Не сердись,— сказал Владислав. — Рано пропадать.

— А вот пропадаю...

Владислав наклонил к рюмке бутылку, наполнил ее до краев, в другую, себе, выливал остатки, терпеливо держал, дожидаясь, когда упадет последняя капля.

— Ах! Живем еще, живем! Мой милый. Как мы живем? Надо падать, разбиваться, неделями валяться в постели и думать, что все кончено. Но однажды — встать! собраться! и устроить себе внутренний террор и снова взлететь! Так вот за это, Егор. Ну что это, ну что это? Раскисать. Что это?

Владислав поднес ему рюмку.

«Сказать ему, что ли, о К.?»— подумал Егор и не решился. Его пугал цинизм Владислава.

Дружбы между ними большой не было, они при встречах развлекались зубоскальством, серьезное, доверчивое отлетало в сторону, но иногда, в усталый час, нисходила на них задушевность, и даже пожелания «спокойной ночи» звучали както родственно, тепло.

— Ты куда-нибудь спешишь?

— Нет,— солгал Егор. — Куда нас повезут завтра?

— В степь. Вставать в четыре утра. Разбуди меня.

— Если проснусь.

— Что-то таишь?

— Таю...

— А я не таю! — сказал Владислав. — Хочу я тетку!

— Гляди, наградят они тебя.

— Что ж, за грехи. Весь в грехах. С малышками мне не скучно. Я замечаю, что у меня к ним какое-то отцовское чувство.

Егор нехорошо засмеялся.

— Правда. Мне хочется ее накормить, обогреть, устроить. Но когда я ее жду — не сейчас! — когда она звонит, я волнуюсь, как мальчик.

— Интересно с историей,— сказал Егор. — А так что?

— Всякая встреча — история. Я ей расскажу все-все про себя, и она.

— Да какая это история? Побыла — и отправил. Не всегда и...

— Ужасно хочется жениться, мой милый. Но на ком? В Москве жениться не могу. Найди мне. Не старше двадцати пяти! Ну, в крайнем случае, двадцать семь. А лучше восемнадцать!

— Такая не полюбит. Обчистит и уйдет.

— Мне надо, чтобы я ее любил, а она меня — не важно.

— Я бы нашел, но тебе с неиспорченной скучно. Ты вспомни, как женились в старину. До тридцати двух, тридцати пяти они гуляли, а потом выбирали девушку *для жизни,* для дома, важно, чтобы у нее характер был хороший, душа честная, теплая. А тебе подавай блестящую куртизанку.

— Посиди, Владимирович, посиди, прошу тебя. — Владислав не принял его исторических примеров. — Всякое бывало. Я такой человек. Что делать, что делать.

— Сколько было бы сейчас твоей дочери или сыну?

— Если бы не ушла от меня Лиля?.. Много!

Он вздохнул. Вздох был как заблудшее издалека эхо переживаний, которых лучше не трогать. Такого беспомощного, огорченного, слабого Владислава Егор любил и жалел.

— Посиди! — поднес Владислав синее кресло. — У меня есть к свиданию «Кокур». Тетке, так и быть, оставлю шампанское.

Он вытянул из тумбочки бутылку.

Они выпили и не спешили нарушить молчание. Даже не смотрели друг на друга. Владислав подлил себе еще, глоточками отпивал из рюмочки, смаковал. Странно подействовал его комплимент на Егора. Как будто старец похвалил мальчишку. С тех ребячьих времен на Трифоновке вроде бы ничего не изменилось: Владислав по-прежнему обгонял Егора в знании трезвой, порой низменной жизни, которой, выходит, полезно коснуться. А зачем? Чтобы никогда не быть обманутым? Чтобы тащить ее в искусство, опрокидывать зрителя правдой, которая уничтожит его веру в доброту и святость? «Нельзя все тащить в искусство»,— говорил и Владислав. Но еще страшнее падать на дно в жизни, путаться среди тех, кто уже пропал. Должна вовремя дернуть за руку здоровая брезгливость к трухлятине. В иную минуту печальная мудрость Владислава как бы наказывала Егора за непрестанный сон о благости, о том, что жизнь все равно беспорочна. Но только когда они были наедине. Без Владислава ущемленности не возникало.

— Я вспомнил, что когда Ваня в Краснодаре сказал мне, будто Лиля мне изменяет, я чуть не потерял сознание. Я опустился на пол. Значит, я был не такой уж... — Он спросил взглядом, понимает ли Егор, какой он был. — Значит, я любил ее. Она была равнодушна ко мне. Как к мужчине. В этом, к сожалению, все. Без этого нет ни любви, ни семьи.

Егор присел на диван, потрогал карты, отсчитал тринадцать штук в стопку, четыре положил рядом, рубашками вверх.

— Да если бы Лиля захотела вернуться в прошлом году, я бы ее взял. Время затянуло болящие раны,— говоря высоким слогом. Но если бы... Когда Лиля ушла от меня, возвращалась и снова уходила (о, как я страдал, если б кто

знал!), друзья говорили: «Она *не может* жить без тебя, она *не хочет* жить с тобой». Как это верно! Я иногда так напивался, шел домой (свет не гасил, хотелось создать иллюзию, что дома у меня кто-то живет), прислонялся к стене и стоял добрый час, думал, что лягу и сердце замрет. Пишем, снимаем, а все не про то. Нет личного счастья, и никакое общественное благо не радует. Когда Лиля меня бросила, все упало: мне ничего не нужно! Все опостылело. Меня обкрадывали, разоряли мои карманы — не жалко. Вещи потеряли свою ценность. Потому что я потерял главное, я потерял человека, дороже которого, как оказалось, у меня не было. Я оглох и ослеп. Это я-то? На всех углах я кричал, что семья — последнее дело. Оказывается, я не могу жить один. Живу, живу, мой милый, но как? что это за жизнь?

— Подумай о возрасте своем,— сказал Егор.— Охота тебе просыпаться и видеть чужие потолки?

— Но разве твои пробуждения под собственным потолком приятнее? Извини, я, конечно, не прав. Дело не в том, Егор, чтобы покрыть себя женским панцирем. Я должен любить ее. Лилю или другую. У меня свой идеал красоты. И если я ищу, то ищу похожую на нее. Будешь? — тронул он бутылку.

— Ну, давай, что ли,— сказал Егор и вспомнил о гостье.

— Возьму и женюсь! Я сегодня, как всегда, спал с седуксеном. Не помогало, я встал и написал невесте. Ты ее видел у меня в Москве?

— Хороша. Меня для нее не существовало. Как уставилась в телевизор, так и не повернула головы.

— Девятнадцать лет. Ах, на ней бы я женился. Она мною крутит, как хочет, но я поддаюсь, мне интересно с нею. Она тащит из меня деньги, обманывает, конечно.

— Не женись. Рогов наставит.

— Мне уже будет все равно,— слабо качнул он головой. В согнутой руке он держал рюмку, смотрел в окно на крыши домов вниз. Глаза его не цеплялись там ни за что, они прокалывали пространство и где-то далеко, в общей картине прошлого, отыскивали памятные зарубки. В глазах сверкало несчастье, к которому Владислав привык и относился как к чужому. Его манера говорить о себе тоном постороннего, то резко, то с улыбкой, отстраняла; утешать его жалостливым словом — нанести ему досаду.

— Я человек декоративный. Люблю внешнее.

— Жалею тебя. Пропадешь.

— Ну что же. Знать, судьба. Приходи, прогуляемся по городу. После девяти я свою тетку отправлю. Не осуждай.

Егора потянуло к гостье. Надолго он бросил ее одну. Теперь наговорится с ней, что-то пришла такая охота.

К. сидела в кресле, спиной к двери, и не оглянулась, когда он вошел. «Знаю, знаю, что это вы»,— могла бы сказать она ему. Егор поставил шампанское, прикоснулся рукой к ее плечу и, улыбкой признаваясь в хмельном грешке, заглянул ей в глаза. Она слабо, неуверенно улыбнулась ему в ответ. Она еще была ему незнакома, чужая, с тайной.

— Простите...— сказал он и принялся долго смотреть на нее.

Она закрыла ему глаза ладонью.

— Я стесняюсь...

— Меня? Я плохо себя веду? Вы знали, какой я?

— Я приехала к вам,— значит, я верю, что вы порядочный человек.

— Вы ко мне прямо из дому?

— Не совсем. Я отдыхала в Евпатории.

— Вы голодны, хотите сыру? Шампанского?

Она, как тогда, быстро кивнула: да, да.

— Шампанского! — крикнул Егор и вскинул в руке толстую бутылку. Открутил проволочку, налил. — Прошу! Плохой актер сегодня гуляет! Простите меня... Я пропадаю, пропадаю... Можно, я присяду поближе? Пейте, это благородный напиток. А порядочный я или нет — увидите сами... Можете ложиться и спать, а я уйду к товарищу.

— Нет, не уходите!..

— Тогда выпейте... Для смелости.

— ??

Глава вторая

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

I

Невероятно! — неужели это случилось с ним? Егору было так хорошо, что ничему не верилось. Действительно, все на душе было как в первый раз, как когда-то давно. И, как когда-то, казалось, что все это будет вечно, до смерти, свежо и ново. При Наташе чувства его обленились, улеглись, точно ненужные больше, и на их место выставились нервные волнения, раз за разом губившие что-то в душе. Неужели он еще так молод? Он и не считал себя постаревшим — тридцать лет, подумаешь! — но окрылился теперь словно юноша, и мысли были одни, о К.

Егор ехал к другу из Керчи, в которую перебралась киногруппа. Выпадало на его долю четыре свободных дня. Надо было очнуться. На высоком пароме, под музыку из рубки, он почувствовал, что счастлив. Отчего же? Ведь ничего между ними не было. Да, счастлив — тихо, спокойно, неожиданно. И синяя вода с дельфинами, и чайки, и солнце, и белые зернышки хаток в голубом отдалении, где жил когда-то на высоком берегу его друг, и мысли *о ней* утрешней, с чистым зоревым румянцем — все соединялось в одно слово: счастье. Оглянувшись на керченские серые холмы, он даже подумал: не затлелось ли в Херсоне, в последние минуты у поезда, нечто такое, что займет

целиком его будущую жизнь,— по крайней мере, этот год? Неужели это случилось с ним?

В книжке среди писем друзей и родных затаилась и ее записка, красивая открытка с птицами и прощальными словами — на развороте. К. подсунула ее под дверь его номера на следующий день, когда ждала и не дождалась его в холле,— Егор пришел к себе во втором часу ночи.

Егор перечитывал ее и на пароме.

«Я ждала вас долго. Не могу больше, мне тут страшно. Я ведь хотела только взглянуть на вас и уйти. Я не боюсь, что не понравилась вам, но меня пугает, что вы меня можете не так понять. От утрат и горечи душа моя стала маленькой и старой. Но в ней есть еще место для добра и радости, и это место принадлежит вам. Мне стало хуже. Знали бы вы, кто вы для меня! Изредка вспоминайте. Прощайте, долгие проводы — лишние слезы. Я буду тосковать без вас. К.»

В три часа дня Егор ступил на берег порта «Кавказ».

К другу, к другу, скорей!

Автобус на Краснодар только что ушел. И Егор тут же переменился, настроился на другое. Ушел — ну и что? Счастье с ним, и можно оттянуть прощание с украинским берегом, со степью. Друг почти рядом, четыре-пять часов потрястись — и у него дома, теперь уж они встретятся точно. И не гадал, что так будет. Сколько раз подводил его, обещал, обещал и что-нибудь ломалось в его киношном расписании.

Через час он прикатил на такси в Темрюк. Но и тут автобуса в краевой центр больше не предвиделось.

А городок на холме стихал, лезли с воем в гору последние машины.

Егор вдруг вспомнил Павла Алексеевича, клубного режиссера, этого заводного бодрого неудачника, славного в чем-то и болтливого. У него тут связи, и, может, он рискнет подбросить артиста к другу на легковой машине на ночь глядя? А что! Шоферу Егор заплатит. На месте ли только очкастый Павел Алексеевич?

Ну конечно! В темном гулком зале сидело не больше пяти человек; еще несколько смотрели со сцены на режиссера и слушали, как он их отчитывает.

— Она же не истукан, не кукла-манекен, не телеграфный столб! Она женщина в соку, вы желайте, желайте ее, черт возьми, как троглодит! Обнимите же ее дерзко, страстно, нагло, кушайте ее,— вы что, первый раз трогаете женщину? Шире текст!

Это кричал Павел Алексеевич. Егор улыбнулся. Годы проходят, а человек все тот же. Возможно, и он, Егор, всего только воображает, будто народилось в нем что-то другое, а Павлу Алексеевичу, другу Дмитрию покажется он прежним, каким был.

В минуту своих гениальных указаний Павел Алексеевич всегда смахивал на *кого-то:* и поза, и жесты, и взрыв темперамента вызывали в памяти больших известных мастеров, в компанию к которым по какой-то несправедливости не попал Павел Алексеевич. Чего стоила эта откинутая на кресло рука: сидел бог, метр, светило европейского масштаба, «он все видел, все знает, все понял». Он все делал как *кто-то,* сам себе он не был нужен, таким его знали жена, дети или товарищи. В этом, как ни странно, была его особенность, иногда даже смешная прелесть, которая манила к нему неискушенных и добрых. За четыре года Павел Алексеевич еще более полысел, отпустил гриву, да и отъелся наконец. Но с первого же взгляда Егор заключил, что он еще не утомился создавать себя на людях таким, каким быть не мог.

В смутные дни свои Егор не раз уступал в мыслях свое место любому, так оно ему опротивело и столько порою угрызений испытывал он, и вот Павел Алексеевич — случись такое! — это бы место выкупил себе не моргнув. Суровая жизнь, ее повсечасная правда, навевали Егору, слава богу, спасительные верные советы: чего уж! не боги горшки обжигают! не отвергай и дорожи тем, что послано свыше судьбой, чего она не отняла у тебя с младых ногтей и не дала многим. Трудись, хлопочи, гордись.

Павел Алексеевич несказанно обрадовался Егору. Во-первых, любил его все-таки издалека как киноактера, а в дни встреч у Дмитрия в станице — за простоту и откровенность. И кроме того: ему было приятно позадаваться перед участниками драматического кружка знакомством с «большим человеком», что он и выпалил первым делом; и раз обнимал его — значит, в какой-то мере был ему свой.

— Я знаю! я все знаю! — предупредил он жестами. — Ты из Херсона? Роль главная? Жду с нетерпением.

— Плохой фильм будет,— кисло сказал Егор.— Дерьмо собачье. Тысячи вогнали, а такое... ни в какие ворота не лезет. Говорю: тыщи на ветер летят!

Но Павлу Алексеевичу, кажется, не важно было, какого качества сценарий и какой вырядится фильм,— важно другое: творческая атмосфера, имена, сама жизнь в разъездах, встречи со зрителем, все то, чего нет здесь, в дыре. Он прервал репетицию и тут же, в зале, обратил личную встречу в историческое событие, в пресс-конференцию.

— В семь часов я уезжаю в станицу,— объявил Павел Алексеевич. — Вечер поэтов. Кто желает, приходите к автобусу.

— Как же мне уехать? — вздохнул Егор.

— Завтра я тебя отправлю. Оставайся, переночуешь у меня или в гостинице. Хочешь послушать поэтов? После вечера устроят банкет, поговорим, на типов посмотришь, тебе же надо!

— А то я их не видел.

— Поедем, Егорка,— тянул Павел Алексеевич Егора за локоть. — Послушаешь великие признания: «Моя жена недавно Пушкина мне вслух читала. Ну до того здорово, ну до того здорово!» Это

называется: постижение классики. А, Егорка? Ну просто, наконец, выпьешь, икры поешь! Я, честно говоря, и еду-то из-за икорочки. — Он захихикал. — А у тебя нет повода напиться?

— Есть,— сказал Егор и подумал о К. — У меня в Херсоне начался роман.

«Роман? но почему бы и нет?»

— Так что же ты молчишь?! Едем! И навестим Болю.

— Она еще жива?

— Ударилась в религию.

— Ударилась... Она и раньше была религиозной, но не всем же докладывать. Как с тобой богу молиться? — у тебя Смоктуновский выше Христа. Верно?

Павел Алексеевич одобрительно улыбнулся. Пустой, но почему-то приятный в общении человек, подумал Егор. С ним легко, часы летят, и не скучно нисколько. Можно представить, как он заговаривал женщин. Для жизни столь ветреное компанейство, пожалуй, выгоднее ума, тяжелой серьезности и молчаливого достоинства. Иногда в сознании, отравленном на секунду здравым смыслом, мелькнет сомнение в своих правилах, и душа скрытно застонет, позавидует простеньким чужим удовольствиям. Зачем было в восемнадцать лет удирать из студии, лелеять в своем воображении ту идиллическую жизнь, которой нет? Куда как проще тереться без претензий, без снов, добывая любыми способами хлеб насущный, карабкаться по ступенькам карьеры! Вот Павел Алексеевич — пожалуйста! Перебираясь с места на место, он целых двадцать лет ставит одну и ту же пьесу «Таня». И ничего.

Они пообедали в «Маяке». Павел Алексеевич в основном пересказывал содержание фильмов, которые Егор пропустил.

— Я вот, кажется, влюблен, Павел Алексеевич,— сказал Егор и повернул голову к окну, долго смотрел на Кубань.

— Роман? Ну и чудесно. Это хорошо, это хорошо-о! — потянулся Павел Алексеевич через стол. — Радуйся. Благословляю! Я по глазам сужу, что ты не тот, ты одухотворен, «в глазах горит огонь желанья-я!» — пропел он.

Павел Алексеевич умел льстить, но на сей раз бурная радость перехлестнула его холопство, которое все же было в нем.

— Любовь преображает, я не поэт, я ста-ар, я стар, я никто, ничтожество, я часто плачу от своего ничтожества, но, когда я читаю о любви, гляжу кино, когда я сам, грешный человек, прохожу мимо красивой девочки, я чувствую, что вся жизнь в *этом,* ни-че-го без любви — чушь, ерунда, скука, помойка, если сердце застыло и чахнет в быту. А, Егор? Поздравляю! Мне бы, мне бы!

— Подожди поздравлять. От твоих речей выпить прямо...

— Возьмем? Нет, дождемся банкета. Там врежем, а?

— О, как неохота, на банкет-то. И неудобно.

— Я тебя представлю начальству, книг они не читают, а фильмы смотрят. Люди интересные, председатель — во! Поглядишь, послушаешь. Обогатишься деталями. Выйдешь к морю, помашешь ей в ту сторону, где она живет. Ах...

— Она теперь уже дома.

— Где, если не секрет?

— В Ярославле.

— Я пел там с ансамблем в пятидесятом году! Меня вызывали. В городе меня все знали: «Павлик, здравствуй, Павлик!» — Слезы выступили у него на глазах. — И тоже был роман.

— Сижу с тобой, хорошо,— чиркнул спичкой Егор,— а я должен быть сейчас дома. Четыре дня свободных дали. Впервые не хочется домой.

— А кому хочется? Им, думаешь? — Он метнул взгляд на раскрасневшихся мужиков за соседним столом. — Они уже крышу пропили, взялись за столбы.

— Я всегда рвался. И так почти не живу дома. Пять лет в отпуске не был. Никак не дождусь, когда выпадет экспедиция в родной город или где-то возле Димки. Семью не вижу.

— Ты изменял Наташе?

— Ну как ты думаешь?

— Думаю, нет! — захихикал Павел Алексеевич. — Она у тебя хорошая,— с умилением сощурил он глаза,— она, я представляю, как она тебе верит! Она с тебя пылинки сдувает!

— Нет, Павлик! — вздохнул Егор. — Она чует, она у меня за тысячу километров чует. Она сейчас, уверяю, ночами не спит, ей *кажется,* что у меня кто-то есть. Это точно. Но главное: как я только войду — и ничего спрашивать не надо: по моей роже все будет видно. Я чем-нибудь да себя выдам. А то еще проще: я сам скажу.

— И раньше говорил?

— Раньше-то я умней был,— засмеялся Егор. — Раньше я еще на запас оставлял: вдруг любовь? Раньше! Я же как изменяю-то. Сижу в аэропорту в Воркуте. Пурга, аэропорт закрыт. В трех шагах гостиница. Шалопутная, очаровательная восемнадцатилетняя техничка, весе-елая! Такое милое трепло. Плясала со шваброй, убирала пол, вызнала мою кинобиографию, все заглядывала в мою комнату и приглашала к себе в дежурку «поговорить про любовь». Трепло. Милая, с безбожно подведенными глазами. На другой день стерла: «Лучше? Правда, я так лучше?» Визжала, водила в столовую, не давалась взять за руку, а в первый день поехала провожать на железнодорожный вокзал и прыгала, что не досталось билетов, что не уехал. Вот такая. А когда дали билет на другой день и когда действительно уезжал, выскочила раздетая на пургу и не отняла руку, подставляла щеку, чтоб поцеловал. Я ей до этого со скуки дневники свои читал, свои записи про Лизу, про Наташу, стихи свои давние — она-а! Попрыгали, поболтали — и вся любовь. Ничего! Приезжаю к Наташке, говорю: «Изменил тебе, мать, вчера!» — «Хоть с хорошей?» — «Во тьме не разглядел». —

«А ты вернись и разгляди». — «А пустишь?» — «Ведро сначала вынеси, потом пущу». И рассказал. Посмеялись. Такие мои измены. — Егор налил соку, примолк, что-то вспоминая. — Была одна встреча и на выс-шем уровне!

— На высшем уровне — хорошо!

— Не мое, Владислава. Светило. Лучший знаток книги о «любви».

— Никогда не читал.

— А «Войну и мир»?

— Нет. Каюсь. Кино видел.

— «Война и мир» все-таки нужнее,— зло сказал Егор. — Вот. Меня трудно затащить. Я должен либо полюбить, либо обмануться, как с Лизой. Бывает, конечно, и так. Сижу как-то в гостинице, в Суздале. Выпросил у оператора большой лист бумаги, заправил авторучку,— я неделями готовлюсь письмо писать,— сел, пишу Димке. А зима! а снег! а солнышко над церквушками! — это днем я ходил по сугробам. Вся краса тысячелетней Руси. Пишу другу: «Вечная несправедливость судьбы: я в Суздале, а тебя нет. Мы должны быть здесь вместе, надолго (где только не должны бы мы были быть эх!..). Ждет тебя Суздаль, сюда тебе, сюда! Найти конюшню и верхом объезжать угодья (это уж мои мечты). Пожить в гостинице, которая не намного лучше той, станичной, где-нибудь под стенами Спасо-Евфимиевского монастыря сядем, два старых друга, пообсудим все, поругаемся немножко. Приезжай-ка». Знаю, что не приехать ему, работа, а пишу, зову. Написал, заклеил, лежу себе от скуки. Выходной. Бажова сказки почитал. Раньше я к грусти относился скептически. Всем оптимизм навязывал. И вот Бажов. Сказка, выдумка — и грусть. Неизбежно. Неизменно. Грусть, грусть, грусть! — Павел Алексеевич завороженно, с завистью влюбленного глядел на Егора. — Везде грустный конец. Реальный сказ, жизненный — грусть. Волшебный — все равно грусть, грусть. И в этом жизнь и прелесть. И вдруг где-нибудь через сто страниц откуда-то радость прет! Не сама собой, а через эту грусть, вместе с ней. Ну так вот. Выходной у меня. У всех. Чего-то хочется, как женщине — кисленького. Звоня-ят. Женский голос. Просят зайти в такой-то номер. Может, кто из наших, но что так таинственно? А ну-ка, интересно! Как молодая, жаждущая новых впечатлений стерва, встаю и иду. Чего мне терять? Стучусь. Открывает женщина. Весьма хороша собой, я бы к такой очень долго стеснялся подойти, да так и не подошел бы. Зазывает. Сама. Ага! В темную комнату. Очень заманчиво и непонятно, но не отступать же? Иду. Уже прикидываю: так, этак. Вспыхивает свет и — дружный хохот: вся наша группа (бомонд), стол ломится, день рождения у жены главного героя картины, а та, что открывала,— сестра жены. Вот мерзавцы! испортили песню. Что ж, ладно: мои донжуанские порывы — как рукой, я скорей к столу. Пригласили как тапера, попеть да поиграть им на гитаре. А мне что! Пою. Пью. Много пою, много пью. Глядь, гости встают. Совсем. Совсем уж растаяли. Я все пою.

— Ха-ха!

— Ну а чо? Пою. Сестра жены героя сидит. Пора и мне. Прощаюсь, выхожу. Она за мной. И очень быстро, ни за что не вспомню, с чего и почему, страстно, исступленно целуемся. А надо было еще написать письмо домой, потом Никите, матери, бабке, деду. До писем ли? И Бажова дочитать, чем кончится: не радостью ли? Она мне «благодарна за этот вечер», она «страшно не хочет» меня отпускать! И полетел Егор в такую дремучесть, в такие белые сугробы, что все позабыл.

— И не кайся!

— Да нет, все нормально. Но это очень, очень редко со мной, Павел Алексеевич. Один раз. Чаще всего как? Ручки целую, в щечку, пиджаком их укрываю от ветра, кормлю, советую им, как парней своих в руках держать, они мне драмы свои рассказывают — прекрасно! А зачем просто так? «Зачем вам это баловство?» — мать Димкина говорила. Правильно.

Павел Алексеевич молчал. Неравенство в карьере лишало его порой мужества отстаивать в беседе свою точку зрения. Разговоры дальних гостей царапали его уязвленную душу, опять хотелось бросить городишко и улететь за золотыми снами. Вот Егор говорил о пирушке на день рождения, и он, Павел Алексеевич, уже в годах, воображал, как бы он там играл на гитаре и нравился. Непременно нравился, покорял, был нескончаемо интересен. И это не Егора, а его увела бы незнакомка. Ему давно казалось, что среда отняла у него все на свете; ему странно было ловить в голосе Егора несчастливые нотки, отмечать самокопание, слышать жалобы (даже нытье) в те периоды, когда другой бы, и Павел Алексеевич тоже, носился с собой как с писаной торбой, не спал бы и не ел, а все накапливал свалившиеся с небес преимущества. Сунуть бы Егора сюда, в дыру, что бы он тогда запел? на какую ерунду растратил бы он свои силы? За что людям счастье? Одним талант, слава, богатство, красивые женщины, другим — участь мелкой сошки, унижения перед теми, кто ниже, совещания, суета, горькая зависть! Понимает ли Егор, сколько людей не видят ничего, кроме противной работы и тесных домашних стен? Слава богу, Павел Алексеевич счастливее их, все-таки так. И если уж на то пошло, он бы устроился не хуже Егора — не затяни его быт и не поддайся он в свое время цыганской лени. Он сидел сейчас и по привычке сравнивал себя с Егором. Человек неволен в своих мыслях: Павлу Алексеевичу мелькнуло, что он богаче Егора, и таких женщин, какие его любили, тому и не знать.

— Как твоя семейная жизнь?

— Так все и покатится до гроба: в непонимании, в непрощениях,— Павел Алексеевич опустил глаза. — До самого конца. Женщины — дуры: на другой день после свадьбы превращают любовь в занудную службу по дому, они всего добились —

теперь можно повелевать, неряшливо одеваться, беситься от ревности.

— Мы с Наташкой больше двух-трех часов не можем дуться. Наоремся — и спать. И помиримся.

— Странные природа выкидывает штуки,— продолжал задумчиво Павел Алексеевич. — Отчего, так, скажи, отчего? Отчего самые нежные живут с жестокими? Я не спрашиваю, я вопрошаю. Риторически. Отчего, а? — Лицо его сузилось от печали. — Несправедливо. Несправедливость всюду. Если посмотреть, а? За что наказание самым добрым, самым умным, самым чистым, самым...

Егор не отвечал, а Павел Алексеевич и не ждал.

— Я в душе не могу с этим смириться. Не-е могу. Я все понимаю. Но... — Егор подумал, что он тысячу раз смирялся. Не дома, так в других местах. Павел Алексеевич слезно глядел в окно. — Я про себя не говорю. Но и я! Если на то пошло. Пускай я прибедняюсь, но я человек уже старый. Плохой, плохой. Ужасный. И ласковый. Ласковый! Да. И люблю ласку, ласковых, нуждаюсь! Ласковости, ласковости хочу к себе. Жизнь идет к концу, и — чувствую — я ее никогда, ласки, не получу. Потому и лезем мы на сторону. Там все коротко, зато с чувством. Жизнь проходит — жалко. Хочется того, чего не было. А было: Ленинград, две тетушки, давно. Я задыхаюсь. Мне нужна ласка — такой дикий противный человек я. Я отдаю жизнь человеку не затем, наверно, чтобы на меня орали день и ночь, день и ночь из года в год. «Шалопай! проваливай! видеть тебя не могу!» Как это ужасно! Зачем жить? Я вижу, ты сегодня другой. Благословляю, Егорушка. Иди за ней. Другая душа пришла к тебе, наверное, хочется крикнуть: где ж ты была раньше?

— Наверно, закричу скоро. Чую.

— Рад за тебя.

«Я хотела только взглянуть на вас и уйти»,— вспомнилось Егору.

С каждым часом усиливалась власть простеньких слов. Все так быстро кончилось, и он лишь теперь понимал, что с ним произошло. Зачем он ее отпустил? В первый вечер, выпив с К. шампанского, лениво ответив на ее расспросы, вывел, так и не притронувшись, ее из номера и проводил на окраину к домику, где она предусмотрительно сняла уголок у хозяйки. Обратно шел скучный, позвонил Владиславу. «Мой милый! — обрадовался тот. — Так где же ты? Я ждал. Тетку я давно отправил, да, да-а, пообщались замечательно. Га-га. Поговори-или — конечно! Даже о положении в Южном Иемене. Она сказала: «У меня не было мужчины с прошлой осени». —«А у меня была женщина четыре года назад». Хо, хо, хо! Каждый врет по-своему, что делать, что делать. Ты бы зашел». Егор выкурил у него сигарету и отправился спать. Как всегда.

За Сенной, когда поехали в семь часов в станицу, нежно горела над проливом прощальная заря. Опять везли его на запад, к Черному морю, к горизонту, где Керчь. И в том, что он еще кружил возле пролива, тоже была какая-то радость, и *об этом* хотелось написать ей.

От поэтов на сцене он морщился. Они читали дряблые вирши о хлебе и бригадирах людям, которые и без них знали, как растет хлеб и чем терниста миссия бригадира. «Я выйду»,— шепнул Егор Павлу Алексеевичу и, согнувшись, задевая чужие коленки, выбрался к стене и — бегом-бегом.

Как в нирвану окунулся он сразу в тихую сельскую ночь,— под великими первородными звездами, со сверчками на задах огородов, с дыханием морских волн, с криво висевшей над Лысой горой Большой Медведицей. И забылся зал, и стал он счастливее в одно мгновение. Высокая стена, на которой стояло несколько хаток, заслоняла море. Егор подошел к круче возле раскопок и заглянул вниз, на узкий берег с пахучей травой. Он искал то местечко, где они обычно сиживали с Дмитрием. Нашел. Жил тут друг, и нету, уехал. Вдали рассыпалась огоньками Керчь. Один раз Егор уже снимался там. Оттуда привозил его каждый вечер катер к другу, а утром, на зябком ветру, Егор плыл обратно на съемки. Когда сводило время их вместе, они спали мало, а курили столько, что можно было отравиться. Дмитрий отпрашивался с работы, провожал Егора до Керчи, и на катере не смолкал их разговор, непременно вспоминали Кривощеково, куда они однажды все равно вернутся. «А ее тогда не было... — подумал он теперь. — Жила себе, как тысячи других, которых я не знал и не узнаю...» Какой она сошла с поезда? Счастливой? обыкновенной? Обо всем рассказала подругам? Егора это не смущало. Сядут гадать на картах? Что ж теперь гадать? — ведь гадали перед отправкой, и все карты наврали. Какие-то дамы ложились вокруг заветного короля, и мешало еще что-то. Женщины в любви и в несчастье хуже темных старух — верят во все приметы, им всюду что-то мерещится. С каким отчаянием К. бросила на стол две карты! «К плохому». Могло бы сбыться, если бы уехала, не дождалась наутро, Егор бы почитал ее записку, обругал себя, но уже через неделю забыл. Или нет? «Я долго к вам шла и пришла». Что же это такое? Отчего, после каких ее слов и взглядов зародилось чувство, которое уже было не спрятать? Ее не было в его жизни, она его не соблазняла, ему бы в эти дни все красавицы мира не составили счастья, он весь принадлежал жене и детям — и вдруг! И вдруг он притих как ребенок, мысленно гладил чужие волосы, лежал головой на ее груди, чувствуя наскучавшуюся душу женщины, произносил во тьме: «Я так тебя люблю!» И подумал: К., видно, застала его в несчастливую пору. Да, несчастливо он жил весь последний год. Почему он не ценил те часы так, как нынче вечером, на краю обрыва? Вот теперь под этими небесами, под Большой Медведицей над портом «Кавказ» (и над всею землею тоже, если там ночь), *она* была одной-единственной, о ком он думал, и ее нету, она уже далеко от

южных красот, в каком-то древнем, неведомом ему Ярославле. И все, в чем он по легкомыслию и непонятной холодности своей был виноват перед нею, что ставило ее в положение навязчивой гостьи, все то, что дико и греховно отзовется в чужом рассудке, лишь возвышало ее в глазах Егора. У вагона, на людях они прощались скованно. Он както нелепо стоял возле нее, глядел мимо ее лица и был нерешителен. Утро наполнялось солнечным светом, думалось, что впереди еще долгое лето, скитания, дни и ночи, дни и ночи в далеких местах.

«И вы будьте ровнее, успокойтесь,— сказала К. — Вы, я вижу, устали».

Егор оглянулся. В станице совсем стихло. Неподалеку, в Болиной хатке, ярким пятном в стене горело окошко. И во дворе был виден белый круглый колодец. Егор пошел к воротцам.

2

У Боли пили чай гости: два старика в толстых очках, вежливо ненавидевшие друг друга. Оба терпеливо сносили дозревание катаракты, ходили с палками, ощупью, но Аввакум как-то умудрялся замечать в автобусах красивых женщин. Все ли еще рассылает он молодящимся дамочкам свои стихи с намеками, а Болю мучает коварными вопросами о Харбине? И кончил ли Леонтий коряво пересказывать романы Тургенева?

Они словно не вставали с венских стульев с того дня, как был в станице Егор у друга, четыре года назад.

Действительно — Леонтий педантично продолжал знакомить Болю с прославленными старинными романами и даже романами в стихах; в прошлом году он своими словами передал драму Онегина и Татьяны. На сатанинские речи Аввакума Леонтий уж махнул рукой. Аввакум писал элегии, одевался, как молодой, и всех пичкал будто бы секретными новостями. Боля среди них казалась попавшей в засаду. Дважды в неделю отнимали они у нее тихий вечер. Когда по телевизору давали спектакли и Аввакум комментировал игру актеров, она нервничала и выкуривала полпачки «Памира». Если пьеса была классической, Аввакум выдерживал пятнадцать — двадцать минут, стукал палкой и произносил одну и ту же фразу: «Переодетые лакеи играют господ!» И уходил. Но задерживался нудный Леонтий. За годы соседства Леонтий так и не уразумел, что Боля видела хотя бы чуточку больше его. Аввакум, когда проникал к Боле один, смеялся над Леонтием, над его махровым упрямством. «Ему коров пасти, — ругался Аввакум,— он читал лекции по истории. Упал тут как-то сослепу в раскопки, прямо в яму одиннадцатого века — в самый раз бы ему там сидеть!.. Милый человек? Оч-чень милый. Душечка! Чудесный такой сукин сын. Ему не книгу, а бич в руки — и на выгон к коровам. Кафедру поставить, пусть читает им лекцию. Замечательно, хехе». Леонтий тоже не отставал по части характеристик своего собеседника. Но говорил как-то униженно, ныл, плакал: «Ой-ой-ё-ёй, это что же такое! это что же творится! Ой-ё-ёй. Все-е ему не так, все-е ему не нравится. Ой-ой, какой злой человек, ну разве можно так? Ну сколько мы его терпим, ну куда это? Чего не хватает? Образование дали,— загибал он пальцы,— пенсия, огород, чего еще нужно? Это что, это что настало, ой-ой-ёй. Куда идем? Распустили, одно слово... Еще стихи пишет. Разве таким людям стихи писать? Не поэт, а пишет, кто дал право?» Боля все помалкивала, помалкивала. Они бранятся между собой, да никогда всего прямо в глаза не скажут, прячут из-за какой-то воспитанной в себе робости свои непримиримые чувства. Что ж ей вмешиваться? Разберутся.

Отцу Аввакума в этот день исполнилось бы сто лет. К скорбно-торжественной дате он сочинил стихи; Егор вошел, когда он дочитывал последние строчки.

Правда — как будто вчера оставил он их. Боля сидела у стола в том же плетеном китайском кресле. В туго стянутом теплом платке она была похожа на монашку. И вокруг все то же, то же. Ни одна вещица не сдвинулась с места. Репродукция средневекового шедевра, «Три возраста», стопки подписных журналов, невиданной красоты овальное зеркало, стакан, из которого он пил, и прочее — все тотчас напомнило ему о времени. Только за стеной не жил больше Дмитрий. Старостью, печалью одиночества, которое достается все-таки немногим, кто в распавшемся, некогда общем кругу родных и знакомых несет крест жизни последним, повеяло на Егора. Мельком, скоротечно, но повеяло. А он вошел молодым и красивым; звонким голосом поздоровался. Его век еще бесконечен.

Впервые, быть может, пока он около часа поддерживал беседы со стариками, ему стало скучно. Все повторялось. Леонтия беспокоило накопление частного капитала в руках торговцев цветами и капустой. Аввакум жужжал о каких-то книгах и ахал, как это Егор не удосужился их найти. «А зачем? — спокойно отвечал Егор. — И у кого я достану? Я семью-то месяцами не вижу, а значит, и Москвы, а потом... вот я вожу с собой Булгакова, мне хватит его надолго». Аввакум его почти ненавидел за такое равнодушие... А Панин в разговоре с Ямщиковым твердил: многие ошибаются, будто воспитывает честность тот, кто разлагает. Простоватые на это клюют. Егора тоже иногда укоряли дерзкие приятели на киностудии. И Егор усмехался: почему же он менее правдив, нежели те, кто полон желчи? И почему Аввакум уже подозревает его в некоем пособничестве тупости, отсталости и коварству? Да как же так можно! Разве у него, у друга Дмитрия не дрожит сердце, когда они видят рядом бездушие и хитрость? Разве уступил Егор кому-нибудь свои убеждения? И откуда же столько жестокости именно в тех, кто ее клянет и якобы борется с ней? О, какой жестокости! Панину она и не снилась, а уж на что крут и рьян.

Ужасна эта привычка: прежде упрекать, упрекать и упрекать других, а когда коснется — загребать жар чужими руками. Егор и перестал отвечать Аввакуму. Бесполезно. Он слышит только себя. Боля тоже была недовольна. Она к тому же еще и побаивалась, что Аввакум непременно затеет ненужные споры в ее доме.

Егор отступил к порогу и думал свое.

Егор судил так: может, он и отстал от времени, может, душа его консервативней прочих, умеренней. Но он знал про себя и другое и никому не говорил об этом. Случись что грозное, и он добровольно, в числе первых, пойдет и отдаст все свои жемчужные и простенькие радости, погибнет ли в первый же день, умрет ли от ран — все равно. Этим не хвалятся, но про себя надо знать заранее. Другие, те, кто слишком часто храбрился, и те, кто кричал о застое в жизни, попробуют, может, отсидеться в интендантских обозах, пристроиться в тылу на сцене, а он пойдет в самое пекло. Иногда с какой-то даже сладостью он думал о такой смерти, это было в дни, когда он уничижался, жизнь свою считал хлюпенькой, когда было так больно, что хотелось умереть. Но и не только тогда. Вдруг проносилась в душе, в его памяти вереница прекрасных жизней всех поколений в Отечестве, вереница событий, касалась заповедных струнок история и красота русской земли, вспоминались лица людей, которые его на этой земле обогрели,— и думалось то же самое. И никого он не хочет слушать, и нечего ему смущаться своей позиции. Да что! — жить тихо и честно каждый день труднее, чем смело выставлять грудь «за чужой спиной».

Егору хотелось остаться с Болей один на один, но старики запросили чаю еще.

— В клубе поэты выступают,— сказал Егор.— Вам интересно?

— Бо-оже сохрани! — вскинул палку Аввакум. — Галиматью слушать.

— Вам все галиматья,— заметил Леонтий. — И спектакли галиматья, и стихи галиматья, и все галиматья.

— Я пойду,— встал Леонтий. — Не могу. Ой-ой-ёй, нет на вас...

Леонтий даже не попрощался, стукнул дверью.

Боля с облегчением провожала до колодца и Аввакума.

Егор поблуждал взглядом по стенам, отошел к столу, прочитал в «Известиях» корреспонденцию из Вашингтона, потом в «Неделе» статью о Брижитт Бардо. Актриса меняла мужей. Боля подчеркнула ее слова красным карандашом: «Я ухожу до того, как меня покинули». На маленьком столике лежало письмо, которое Боля начала, видно, вчера-позавчера. «Дорогой Кирилл Борисович! Не можете себе представить, как я рада...» Егор давно не писал Свербееву. Сейчас тоже не до того. Подождут и родные, и Никита. Перед сном он напишет ей. Он поминутно вспоминал К., что-нибудь говорил. Она, она, она — второй день. Ничто не могло им завладеть нынче, он только вежлив с людьми, не больше. С ним редко случалось, но теперь он хотел выпить и ждал Павла Алексеевича, пусть уж ведет на банкет. «Я долго шла к вам и пришла». Нету Москвы, дома, ничего. Она!

«Здравствуй! Знаешь, где я? В станице, где жил мой друг. Хожу и разговариваю с тобой. Люблю тебя. Зачем отпустил тебя рано? Я тебе ничего не сказал *там*, где все осталось: наша встреча, вокзал, не те слова. Все еще, как дым, висит там. А нас нет. И теперь, когда я один, никого не вижу и не слышу, все кажется мне волшебством. Где ты сейчас? Давно я таким не был. Я так тебя сейчас люблю... Когда же мы встретимся?..»

Потом толкнула его память к Никите. Он и ему сказал несколько слов: «Друг мой! Подожди. Большо-ое письмо пришлю. Уж поговорим. Еду к Димке, на два дня. Неожиданно. Хорошо то, что неожиданно. Будешь ты смеяться надо мной, ну да ладно, Егору не привыкать...»

И с Димкой он уже повстречался, сидел на кухне и рассуждал:

«На первом курсе я мечтал-то: идеально было бы, если б и она меня (Лиза) полюбила, сама изменилась и меня изменила, не перевоспитала бы, а *открыла*, раскрыла, оживила меня. Опалила меня чистым, могучим пламенем, ну как великое искусство иногда. Вошла бы в мою душу сквозь этот пламень, разжигая его и сама пылая им же. Мечтал. Мал был, не достоин. И вот через столько лет нашло меня тихое пламя, а сразу я не зажегся. Зато потом...»

И матери сказал, услыхав ее вопрос — надолго ли? — сказал весело: «Без меня не можете? Ну, сделаю, сделаю... О-ох, беда мне с вами. В няньках я. А брат на что?»

И домашние в Москве мелькнули. «Здра-асте! — обступили его. — Его вели-ичество пожаловали. Откуда же? А группа ваша в Керчи, между прочим. Жить без друга нельзя, конечно. Ну, жив-здоров? Едем за город».

И опять она. «Вы будьте ровнее, успокойтесь». Она! Ему.

А на стене сквозь запыленное стекло проступали три головы, «Три возраста» — шедевр живописи. То было чужое время и чужая судьба.

Вошла Боля.

Ах, старость. Вошла Боля тяжело, взглянула на Егора: что будем делать? Егор подумал и испугался своей мысли: ей не с кем здесь жить! Сама она, может, и не выразилась бы этими словами, она бы пеняла на старость, на место, где она все-таки не жила столько, сколько другие, и обрести родство с кем-то теперь уже не так легко. Соседи ее жаловали, но они были совершенно, совершенно другого воспитания. Они были другие люди. Так все понимал Егор. С кем ей жить здесь? Недаром она посылала за неделю кипу писем. Куда? Прежде всего подругам, с которыми она разделяла судьбу почти полвека. У нее с ними было общее прошлое.

«Но, впрочем... — думал Егор. — Это только *мои* догадки. Ее так любят, и она так добра ко всем».

— О чем мечтаете, мон птн?

— Думал о вас,— сказал Егор. — Скучаете?

— По кому ж мне скучать? Я одна. Вы-то как?

— Да вот... — хотел было признаться он, но не стал. — Ничего! Кажется, еще не стар, а устал.

— Отчего, мон пти?

— От славы, Боля, от славы,— иронизировал Егор.— Прямо по пятам гонится за мной, как девушка какая. Ни ума, ни таланта, ни имени, а славы хоть отбавляй.

— Вы такой же забавный. Представляю, как вас любят. Вы обаятельны!

— Ну Боля... Хорошо, что нет никого. Я краснею, мне сразу хочется выпить и пойти на танцы. Я и без того сегодня на парусах. Влюбился. Предал семью, забыл свое имение, лошадей, упразднил кучеров, рассчитал — все улетело как во сне за лобзанья.

— Неужели?!

— Да шучу. Я же плохой шутник. А чуточку и правды есть — ночью буду писать послание. Интересно жить: ничто не обещало мне счастья. А может, это горе? Ведь я женат. Я никогда не насиловал свою душу. Сижу вот у вас, и как приятно думать, что снова, как в студии, мне хочется волноваться, нарушать все свои распорядки, мечтать о ней, по-школьному, по-глупому дарить ей такие слова, о которых я позабыл. «О чем мечтаете, мон пти?» Я солгал. Я разговаривал с ней.

— Она скромная, порядочная девушка?

— Хорошая, Боля! Про легкую связь я бы не сказал вам.

— Вас, мон пти, должны были любить лучшие женщины, но теперь, когда у вас дети, прекрасная жена, с романами надо быть осторожней.

— Это от меня не зависит. Был прекрасный миг, а что дальше — увидим. Это пробуждение души, чего уж тут...

— Я вам верю. Вы для меня с Димой — образец, вы хорошие. Конечно,— задумчиво добавила Боля,— сердцу не прикажешь.

— Я чувствую, что жил по инерции, одно и то же, одно и то же во всем, должно было что-то ворваться. И пожалуйста! Но я не страдаю, не-ет, Боля, я сегодня возбужден, может, я выдумал все — хотя какая разница: иногда и в обман верить полезно. Да я всю жизнь обманом живу, самообманом. Во что-то надо верить, к чему-то, кому-то должна быть страсть, иначе что же? Устал, устал я, это точно. И даже о Наташке не думаю.

— Я получила письмо из Парижа,— сказала Боля и встала, пошла к маленькому столику. — Где оно? А вот. И тоже как вы: с трудом вспоминаю прежнее чувство. Пишет Василий Мудров, я вам рассказывала историю с прапорщиком?

— А-а! стихи Надсона, что на открытке написал?

— Вот, вот. Он меня искал двадцать лет и нашел. Он не знал же, что я до пятьдесят шестого жила в Харбине, а тут ему отвечали: нет такой. И нашел случайно и теперь пишет, пишет, но ведь столько лет прошло, мы стали чужими. Хотите прочту?

— Конечно!

— «Олечка,— пишет,— дорогая моя! здравствуй! Получил твое письмо от 30 апреля. Очень рад, что оно полно бодрости и хорошего настроения. (Я писала в ужасно плохом настроении, но старалась.) Я тебя понимаю: воспоминания о нашем счастливом прошлом действуют как эликсир. Оно действительно было необыкновенно. Оно сковывает меня и сейчас. Разве я могу выбросить тебя из своего сердца? Знаешь, что было драгоценно в наших отношениях в ту пору? Полная гармония душ, чистота. Можно ручаться, что ты никогда бы не стала наперекор принимаемых мною в жизни шагов, а они были бы неожиданными. В тебе никогда не говорил женский эгоизм, женская капризность. Скажи, разве я могу это забыть?» Ну и так далее.

— Вот что не могло присниться Надсону.

— У него не хватило бы воображения. Вам не нравится Надсон?

— Нет. Но я не к этому. Если я доживу до вашего возраста, как же все изменится! У каждого поколения свои страсти, наивность, кумиры, и вдруг это все исчезнет бесследно.

— Когда я перечитывала открытку Мудрова (она у меня есть) и думала, что он давно погиб, я страдала, вспоминала, плакала. Первое письмо меня ошеломило, я рада была, что он жив. А потом... я привыкла к тому, что он жив, и он стал мне чужим человеком. Все прошло. В моем сознании он молоденький изящный прапорщик, и любила я *его*, а этого человека, с неизвестным мне опытом, страданиями, я не могу воспринять близко. Это уже другой человек. И в самом деле другой. И я другая. И пишет-то он мне той, Олечке с бантиками, и ему вспомнить-то разве, как он мне ботиночки завязывал и просил надеть белое платье. Что уже у нас общего? Все забывается.

— Главное, чувство не воскресишь.

— Какие чувства в наши годы.

— Нет, я вообще. Забывается все! Как будто никогда и не было. Я по лени своей мало записываю, но блокнот ношу в кармане. Дневник давно забросил. И вот иногда воображение разыгрывается, делать нечего, я возьму и запишу. Что-нибудь ворохнется и... Как-то рылся, читаю на листике и руками развожу: ничего не помню! Неужели это мое? Это я писал с таким чувством? Забыл!

— Вы-ы?!

— Честное слово!

— Придумал — ну сюжет не сюжет, так что-то: какая-то тоскующая женщина, поездка на Гору в

монастырь, у нее последний день у моря, она хороша и одна, конечно.

— Конечно?

— Коне-ечно, Боля! Ехала, допустим, с надеждами, мечтала о милом мужчине — познакомиться, полюбить, а ничего не получилось: срок кончается, надо домой. Там скука, работа, опять одиночество. Грустно, тяжело. За ней волоклись, она сперва выбирала, капризничала, гнала, а потом даже струсила и согласилась на флирт с костлявым длинноносым механиком, каким-нибудь чудовищем, который ей мгновенно опостылел, груб, торопливо похотлив. Она и его прогнала. И накрутил я тут всего! Придумал ей чистую любовь свою! И все записал. И по записи видно, что ночь не спал. Ни-че-го не помню! Где-то же я видел эту женщину, помечтал, полюбил издалека, убей меня — не помню: где? когда?

— Впечатлений было много.

— Положим, так. Но не помнишь и самого прекрасного. То есть, как не помнишь? Остается схема, рассудочное, то, из-за чего, конечно, никогда бы не страдал и не переживал. Сколько чувств, страсти, внутренних монологов — и как в воду: прошло, улеглось, стихло. Вот я о чем. Как я страдал, любил на первом курсе! Только изредка под какую-нибудь мелодию что-то вздрогнет. Страшная штука — время.

— А вы как думали,— сказала Боля.

— Ужасно это. Все затягивается толстым илом. Наверное, моя Наташка и не вспоминает, какой приезжала со мной в Коломенское. Я ей Фета читал. Такое состояние у меня нынче, неужели и оно забудется? Мир перевернулся. Никого нет вокруг: я и она. Весь день с ней. Поверите?

— Охотно верю.

— А у вас... сколько лет прошло.

— Он просится сюда.

— На время?

— Навсегда.

— А вы?

— Куда же я его возьму? А если я умру, с кем он останется? Прожить, знаете, столько в Париже... а тут кому он нужен? Старик. Умирать? Это другое дело. Я пока «нет» не говорю, а звать не решаюсь. Так и останемся разделенными... Пейте чай.

— А уж пора. Под Большой Медведицей еще постою.

— Мо-он пти,— перехватила она его намекающий взгляд,— смотрите, смотрите... Любовь — да, конечно, но...

— Как прекрасен миг! Знаете, я что-то в жизни потерял. Не пойму что, но и вчера, и сегодня думаю об этом. Что-то не свершилось в моей жизни. Что-то такое...

— Женщины играют в вашей жизни большую роль?

— Как вам сказать, Боля. «И жить торопится и чувствовать спешит»,— помните? Женщина на время вытаскивает из трясины. Я говорю: оставался этот сладостный обман, что жизнь выше и чище, чем она есть. Да что же это не идет Павел Алексеевич?

Егор подошел к зеркалу. Вид был уставший. Перед зеркалом он снимал легкий грим на съемках или отдирал бороду, брился, в остальных случаях мельком заглядывал, чтобы проверить прическу.

Боля потягивала дым из крепкой сигареты, вставленной в длинный мундштук. Всякий раз, отмечая, какие у нее прекрасные большие глаза, Егор думал о ее молодости и горевал за нее, сетовал на мать-природу, столь жестоко обходившуюся с женщинами.

— Мое почтение!

Как на сцене из-за кулис, появился Павел Алексеевич. Он и руку держал долго над головой, точно пережидая аплодисменты. Медленно поклонился и подскочил к Боле целовать руку и заговорил, заговорил. В задумчиво-пустую паузу он внес оживление, и если бы это было в театре, зал бы стал поднимать головы и таращить глаза. Наконец Павел Алексеевич успокоился, сел, зачесал рукою жидкие волосы.

— Эт-то был кошмар! — со злорадством сказал он. — Я бы лучше выступил, даю вам слово. Я никто, но уж тако-ое нести... Аввакум по сравнению с ними — Петрарка. Разбрызгивали слюни до первых рядов. Такое ощущение, что люди в бесконечном долгу перед стихоплетами. Удивительно, удивительно!

— Ничего, Павел Алексеевич,— сказал Егор.— Время сотрет случайные черты.

— Время? Когда же оно придет?

— Вы думаете, вам лучше будет?

«Что ты тогда делать будешь? — подумал Егор. — Ты даже грязной рубашки не заработаешь. А сейчас там на халтурку, тут на халтурку».

Боля принесла стакан, налила ему чаю.

— Вы когда-нибудь дома бываете, Павел Алексеевич?

— Как можно реже. Я сижу в клубе до тех пор, пока не приходит за мною жена. С первых же минут мы ссоримся и уходим. Дорогой тоже. Дома тоже.

— Из-за чего?

— Из-за власти. Шучу. Вне дома я веселый, меня слушают, я нужен. Дома я тоже разный бываю, и все же... Люблю к ночи сидеть один на сцене и в темноте поиграть на фортепиано. Я очень сентиментальный.

— Я заметила.

— И контрастен. То я задумчив, то трепло невозможный.

— Вы любите себя.

— Я себя ненавижу! — Он болтал ложечкой в стакане, но не пил. — Мне говорят: «Вы единственный интеллигент», а я кланяюсь мальчишке, ему двадцать восемь лет, а я кланяюсь. Я ужасный приспособленец. Я умею поговорить со всеми, подмажусь, завлеку, я умею понравиться. Но мне

противно. При мне ругали Диму, я молчу, я хитрый. Подло, я знаю, а что делать? Я понимаю, что глупо смотреть каждый вечер какие попало фильмы, но я хожу, хожу. У меня лежит Сервантес — никогда не читал! — а я поехал слушать этих стихоплетов. Стыдно. Я хочу ласки. Моя душа еще не удовлетворена, но где я это возьму? В Ленинград бы. И я иногда иду ночью и, поверите, плачу.

— Вы сгущаете.

— В речи, когда соединяешь беды одна к одной,— это, конечно, густо. Егорка смотрит, ему не понять меня. У него седьмое небо. Эти стройные культурные сказочные актрисы. Это общество. Я барин, извините, потому и страдаю.

— Какой же вы барин? — жалея, нежно спросила Боля. — Вы типичный лентяй, и в этом смысле только барин: за вас все делают. Перестаньте плакать. Вы прекрасно живете, а ваши стоны, так называемые неудовлетворенные запросы — лишь зависть: ах, они еще лучше живут, им больше почета, у них слава. Это детство.

— Вот потому я себя и ненавижу. Клянусь вам. Нет чего-то высшего во мне.

— Жена должна убирать за ним,— продолжала Боля,— мыть полы, возиться с детьми, а он весь «в высших порывах». Павел Алексеевич! А где они, эти высшие порывы? Господи, все хотят ничего не делать и быть на виду. И чтобы ласкали, надо уметь любить. Да. Что отдашь, то и получишь. Надо с себя начинать.

— Заслужил, заслужил, не сержусь. Но что за *надо, надо*? Я слушал сейчас поэтов этих и думал, что они ужасны потому, что пишут не про то, что на сердце, а то, что *надо*. Кому? Им? Но заче-ем? Они прячут душу. Или у них ее нет?

— Они не поэты,— сказал Егор. — Ну пожалели, приняли.

— Надо. Всюду, во всем это *надо*. Ужасное слово. Я жил без него. Во всяком случае — часто. Оно отнимает у нас исконное счастье. У меня была любовь, а *надо* было жить без нее. Дети. Как жить? Зачем жить? А *надо* жить так... В семье! Все исчахло, уж ни любви, ни уважения нет и в помине, а *надо* существовать,— Павел Алексеевич осклабился,— делать вид, что все не хуже, чем у других. *Надо* отказывать себе, считаться со всякими условиями, которые мы сами же и придумали. Зачем? Надо, надо, надо. Сколько раз я себе говорил: так больше жить нельзя! Говоришь себе, а потом: надо. Встал и пошел кланяться. Ужасно, ужасно... Я что-нибудь не так?

— Ты завтра про это забудешь,— сказал Егор.

— Какая разница! Все равно это со мной. Послезавтра вспомню.

— Павел! Банкет отпадает. Что-то я не того, расхотелось. Ты иди, а я подожду.

— А может?..

— Ну хорошо. Позволь тогда отлучиться. На десять — пятнадцать минут.

И вышел во двор с белым круглым колодцем. Постоял, не вытерпел и подался к круче. Так было тихо у моря и вдали над крышами хаток, на Лысой горе, что явилось желание покричать и позвать кого-то. Да не кого-то, а *ее*. Он и позвал ее, про себя. «Я счастлив»,— подумал он, вернее, ничего он не думал, а все со всех сторон внушало ему это. Сзади грустным напоминанием о тысячелетней жизни чернела раскопанная археологами яма. Перед глазами желтые точки Керчи. Он поднял голову и отыскал Большую Медведицу. Под ней много чего наговорили они когда-то с Дмитрием. И вот стукнуло только что тридцать лет.

«Я так тебя люблю. Пусть я тебя выдумал. Пусть все будет не то и не так, если мы встретимся. Когда мы встретимся? Не знаю. Знаю, что любовь в душе моей. Любовь издалека, вот так, как сейчас, сильнее, может, чище и глубже. Ты как южный снег: спустилась на землю, порадовала и растаяла. Когда-нибудь я тебя найду. То есть скоро. Мне виден Крым, я все еще кружу поблизости, на юге, где мы были и где (если бы!) могли бы стоять вместе и сейчас. Зачем я тебя отпустил? Никого не помню, мир перевернулся, и что станет со мною — мне неинтересно. Ты привезла мне счастье, и спасибо тебе... Неужели я пропал? — подумал Егор и потер виски. — Люблю ее».

Глава третья

С ДРУГОМ

1

«А я действительно пропадаю! — думал Егор в городке, разгуливая у реки в течение сорока минут, которые по чьей-то глупости отводились на стоянку автобуса. — Но от другого. Она нашла меня в несчастливую пору».

С чего-то вспомнился последний банкет в честь просмотра фильма «Горе-злосчастие», в котором он сыграл роль князя, единственную приятную роль за все пять лет. Фильм просматривался в январе, и не первый раз. Егор всюду возил с собой вырезку из газеты «Юманите», с ехидной надписью Дмитрия, который и прислал ему,— сам Егор газет не покупал. Еще три года назад фильм с бешеным успехом шел в Париже. На рекламном рисунке, изображавшем монаха и поодаль князя на белой лошади, приводились слова французской прессы (например: «величие силы этой чудесной фрески...», «неизвестный фильм потряс фестиваль...»). Помнится, это щипало сердце. Егор, ранее говоривший, что заслуги его в этом фильме самые мизерные и отдаленные, что весь груз вытянул и пронес на себе режиссер Ямщиков и все мучения за судьбу ленты обрушились на него, теперь вздумал гордиться и с легкостью, позабыв свои самостоятельные суждения, занес себя в списки страдальцев за святое искусство. Он защищал фильм на каждом шагу, и по мере того как расширялась его демонстрация, чаще хоте-

лось кричать и хвалиться своей работой. И сами съемки в Изборске воскресли перед глазами дивной стародавней картиной невозвратного начала жизни в кино! Месяца два Егор ликовал. А банкет устроился как будто и не ради фильма,— «изборцы» (так группа себя окрестила) тосковали по встрече «всех вместе» давно, и на их счастье подвернулась причина. Сам режиссер Ямщиков собрал только группу, да вызвали женщины с его согласия из Пскова Свербеева. В сопровождении художницы, костюмерши и второй помощницы режиссера Егор встречал его на вокзале. Москву как раз оцепил дикий мороз. Свербеев приехал в назначенный день.

«Боярин!»— дразнили его за глаза.

«Ну что ты! — рассказывал, бывало, о нем Егор Дмитрию. — Дитя! Он еще чемодан из вагона не вынес, а уже: «Ах, как я устаю в вашей Москве. Насколько же Псков лучше, милее, в нем все родное, согласны? Я уже тоскую». И тут же забудет, куда ни пригласи — идет, всем раздаст адрес, и уже куча друзей, он вовсю выпивает, храбрится: «Ах, как мне хорошо среди вас, я счастлив и люблю, люблю вас, друзья мои. Налейте! — мне можно».

Таким же Свербеев был на банкете. Фильм он не принял и обмывать бы не поехал, его к группе тянула память о времени, когда всем было так хорошо в Изборске. Съемочная суета кончалась к вечеру, и тут уже властвовал дух Свербеева. Так и кажется, что без Свербеева глуше звучала бы та мелодия, которая таилась по углам старого города, в пролетах звонниц и на холмах Изборска с его белой тропой от каменного креста Трувора, не осталось бы в душе умиления, которое вызывало раньше улыбку, а потом грустное сочувствие, потому что ребячьи вскрики Свербеева при виде мягких окрестностей были только приглашением восхититься надолго сказкой родной старины, им уже открытой, понятой и оберегаемой. От Свербеева шла радость, он умел жить и забываться в простом, и подарил он им в Москву не иконы и цепи из погребков, а чувство дружбы и щедрости. Они сидели и вспоминали.

Режиссер Ямщиков сидел в конце стола перед роскошным букетом цветов. Прошло пять лет, и был он уже не тот, что в Изборске, но инерция чужих представлений о человеке велика, и старый ярлык засох на нем. Одни его обожали и как бы нарочно добавляли к его образу, ими созданному и раздутому шепотом, черты обреченной греховности. «Друзья» от него отвернулись. Конечно, поводы к распрям были. Он всковырнул старые чуткие раны и, пожалуй, чересчур увлекся. Свербеев и Панин терпеливо молчали, но когда посыпались на Ямщикова тупые стрелы, полетели булыжники, они кинулись защищать его, позабыв о своих тонких претензиях. Но то случилось давно. Надо было пройти через это. Сейчас бы он даже актеров выбрал других. Богиня победы протянула наконец к нему свои руки, он поклонился ей молча, улыбнулся с горечью, но радости, с которой он когда-то приступал к работе, не было. Он устал, вырос и хранил обретенное в тайне. И вот такой, сам про себя все знающий, никому не открывшийся, он сидел на банкете и слушал «изборцев». Пять лет пронеслось-пролетело. Он пережил одиночество и вышел из него. Вышел ли? До какой поры?

«Надо быть вместе!»— твердил ему Панин год назад.

«Ах, милый Саша. Да если бы было с кем! Ты посмотри: что ему все? Он тянет руки к жирному куску. Ты посмотри на этого: дурак и большой негодяй. Грустно, грустно... Ты всегда будешь противоречить, я знаю. Но это так, Саша, это так».

«Зачем же ты? — нападал Панин. — Ужели (он любил выражаться именно так), ужели ты думаешь, что лучше отмолчаться?»

«Да не отмалчиваюсь я-я! — с протяжным актерским плачем отвечал Ямщиков. — Хочешь опереться на человека, а он как кочка в болоте: наступишь — она тут же провалится. Не с кем, не с кем идти рука об руку».

«Есть люди! Свербеев тебе чужой?»

«Свербеев прекрасен, я очень-очень люблю его. Он прежде всего натурально добр (что важно, важно, Саша,— указал он пальцем,— ты жесток, между прочим), он добр, изящен, души необыкновенной, он русский до мозга костей, но себя не осознал. Сколько раз он от одного щедрого слепого сердца делал то, что на руку было его недругам. Он большое дитя. К тому же... ну ладно. А ты?»

«Что я?»

«Ты... а не хочу! не хочу, не хочу! — вставал он и заламывал руки. — Ты... а!.. Я вспомнил, вспомнил, недавно... — устало тянул Ямщиков,— что за всю жизнь я встречал только двух близких мне людей, и я не могу (заметь, не могу!) сказать тебе в чем. Их уже нет. Их нет! — вскрикнул он отчаянно. — Они уже умерли! умерли! Мы думали одинаково, страдали от одного. Когда мы говорили, так все было понятно и просто и, кажется, не нужно никаких доказательств. Поставить вот старинный марш «Тоска по родине»— слушай, а что же объяснять, что это не только прекрасно мелодией, а... ну вот уже объясняю. Зачем? Есть глубокие, многими утраченные сочетания мысли и чувства, которых, как писал Бунин, и не нужно объяснять, если они в тебе есть. А ты мне долдонишь про... С кем ты предлагаешь быть вместе? С этим вахлаком, который продаст родную мать? с этим, который — ты сам говорил — сунется в бездарнейший фильм, лишь бы еще раз пронести по афишам свое имя? Господи! — закинул он голову,— и почему я не задержался в армии (умоляли), люблю армию за четкость и ясность задачи, проиграл стратегию — уходи. Ну, ладно. Прости меня. По коням».

Тихий дружеский раздор, еще более явственный, когда они расстались и повелись наедине уже совсем тайные мысли, запомнился тогда Егору.

В чем-то он схож был с пререканиями Егора и Дмитрия нынешней зимой в Сибири. Это уже примета: честные друзья пререкаются, не прощают друг другу малейших вывихов.

Они прилетели в Кривощеково на три дня. Встречались вечером, спали мало. Ночь перед отъездом провели у Дмитрия. В четыре часа Дмитрий захотел покурить, встал. В большой комнате горел свет. Егор лежал на диване и читал «Три мушкетера» по-французски.

— Ты что это? — сказал ему Дмитрий. — В шахматы играл — спать хотел, а теперь не спишь.

— Не спится. Были бы мы умные да талантливые, какую бы книгу можно написать о нашей дружбе. Читаю Дюма и думаю. Каждый бы по-своему об одном и том же. А чо!

Потом заспорили о фильме Ямщикова, как-то сразу, горячо.

— Ну и дурак, ну и дурак! — говорил Егор. — Дурак, если не нравится.

— Почему он мне должен нравиться? И почему я дурак, если не нравится? Не мне одному.

— Да потому что это великий фильм!

— Ха-ха.

— Вот дурачок,— засмеялся и Егор.

— Это в тебе актерское тщеславие. Ты снимался, гордишься. Забыл, что ты вякал тогда, в Изборске?

— Что?

— Что тебе все-всешеньки надоело, до феньки, что ты не нужен фильму, и вообще никто из актеров не нужен Ямщикову, он *сам*, и вообще поскорее бы кончилось.

— Правильно! Под конец. Но когда я смотрю фильм теперь, я не эмоции свои вспоминаю во время съемок, не недовольство, а поклоняюсь художественному произведению, законченному, сработанному вот так,— вытянул он палец,— был я там или не был.

— Такое впечатление, что из всего коллектива не выбрать человека, который бы знал русскую историю. А главное — чувствовал бы ее. Разве что художница по костюмам. Что вы сделали с духовенством? А? С духовенством, которое не согнулось под татарами. А вы нам кого показали? Ублюдков? А художник? Неужели это ничтожество могло написать такие светлые фрески? Да хоть в глазах,— Дмитрий свирепел и повышал голос,— да хоть в чем-то проблеск какой, душа, озарение, ну не знаю что! чем-то хоть на столько покорил бы нас. И неужели он только и шел, шел по грязи, видел всюду одну грязь, ложь, насилие, резню? Откуда же тогда такие радостные фрески? Хоть один раз посетил его восторг?

— А языческий праздник?

— Голые бабы, что ли? За три рубля у вас там бегали они? Не знаю! Я представляю, как это естественно было тогда, а у вас какой-то свальный грех! Не знаю! У вас там, на снегу женщина мочится.

— В дублях.

— Коров на костре жгли! Палачество. Боролись с жестокостью? Чем же? Жестокостью же. Как же это, милостивый государь? Цель оправдывает средства? Добро должно быть с кулаками? Да, вы побудьте добры без кулаков, покажите его через милосердие, просто добро, и все. Какого там гения мог родить этот несчастный затурканный народ? И ничему не веришь.

— Ты как в этом... в одной районной газете... Когда какую-то Клаву спросили, почему она выбрала профессию парикмахера, она ответила: «Хочу видеть всех красивыми». Нельзя же так.

— Не было тогда величия в вашей душе...

— Боюсь за тебя, Димок,— сказал Егор наставительно.

— Почему?

— Куда-то не туда ты пошел. Это все влияние чье-то.

— Опять влияние! Да что ж ты мне отказываешь в самостоятельности? Ты уж давно ничего не читаешь, кроме глупых сценариев, отстал, держишься на интуиции, а как что скажи — «темный», «глупый».

— Боюсь я... — опятв предупредил Егор. — Боюсь, заведет тебя эта мысль, вытащат тебя, разденут и выпорют. Не назад глядеть надо, надо как-то в этой жизни крутиться, строить.

— О, демагог, о какой демагог, зараза. Я ему то, он мне это.

— Боюсь... Я поражен!

— Я больше поражен, а терплю.

— Боюсь, боюсь. Откуда в тебе это? С чего бы? Ты ж крестьянин! У коровы в стайке навоз чистил. Приду, бывало, в драмкружок звать, а где Димка?? «В стайке навоз откидает». И на тебе: полез! С чего, почему — не понимаю! Ну, Свербеев — понимаю, Ямщиков — понимаю, а ты-ы-то?

— Я не могу себе простить,— клялся Дмитрий так горячо и с той злостью, которая допустима лишь в старой дружбе,— что всю юность молился на этого нехристя, тянулся за ним: какой друг у меня великий! А он дерьмо, отсталый человек.

Егор улыбался.

— Дим,— положил Егор руку на его колено,— Дим, Дим, обожди, не вопи, чадо, зде... Послушай, ты послушай. Да ты послушай, скотина! Дим. Я, знаешь, чо думаю сейчас? Сколько раз я тебе писал: ни черта мы друг друга не знаем! Ну ни черта ты во мне не понимаешь. А я в тебе. Мы с разных сторон ходим вокруг одного и того же. И уже без подначки не можем общаться. Ты меня не слышишь, я тебя. И что еще, почему я тебя не воспринимаю сегодняшнего. Дима,— приподнялся он и стал ласков, как только он мог,— ласточка ты моя, ты послушай меня, скотина. Ты для меня всегда был живой, безумно интересный, с воображением, когда ты кого-нибудь изображал, когда мы в станице с тобой берег рисовали — вдруг мне вчера это так дорого стало, детское, очень простое,— ты был сам собой. А тут ты полез — мне

кажется, я не уверен,— полез куда-то не в свое, не твое это, понимаешь, не тебе гореть на этом костре. Ну если не гореть — что поделаешь!

— Эх, Егор, Егор,— опечалился Дмитрий.— Если уж снимаешься в историческом фильме, то надо бы про Сергия-то Радонежского почитать! Почитать, почувствовать. А у вас интуиция, на все заранее ясный догматический взгляд. Это плохо, это отстало, это... В восемнадцать лет ездил народ изучать, а теперь водку пьешь, на гитаре играешь — промотал свой талант.

— Может быть...

Мать Дмитрия, Анастасия Степановна, проснулась и с испугом спросила:

— Вы что, подрались?

— Да нет, мам, это у нас разговор такой.

Они вышли на крыльцо и закурили.

— Может быть, Димк...— подтвердил Егор упрек друга.— Говорили моряки в старое время: «Сундук адмирала Лазарева три раза обошел вокруг света, но так сундуком и остался!» Про меня. Мне еще два раза можно. Я на банкете надрался, призывал всех кино бросать.

Такое с ним действительно было. И он громко, нарушая обет не уснащать свою речь грубыми восклицаниями, тарахтел о зимнем вечере в кругу «изборцев», о своих сомнениях. Другу можно было сказать все.

— Сейчас уж всего точно не помню,— говорил Егор,— но на дне рождения Ямщикова Панин закатил такую речь. Компания собралась своя, а что-то не ладилось, посмеивались друг над другом, как вот мы с тобой, но тонко, с намеками, упрекали в тостах, в общем, легкий давнишний разлад. Тогда Панин встал и сказал (помню приблизительно, он говорил блестяще): «Друзья мои! Мы проводим прекрасный вечер. Да-а, прекрасный. Пусть, пусть в отличие от прочих компаний, где всегда подчеркнуто-вежливое единство, пусть у нас чувствуется в подземных этажах нашей беседы некоторая разноголосица, неприятие, мы обмениваемся стрелами... Мы страдаем от этого. Но упаси нас боже быть другими! Если мы будем тем стройным муравейником, в котором каждый знает, что и куда несет, и все похожи один на другого,— тут мы и погибнем! Иными быть мы не можем. Мы живем в разладе, но есть что-то выше наших неприятий,— это, может быть, наше *лицо*, наша *самость*, неповторимость. Мы счастливее!» Когда так красиво (со страданием в голосе причем) говорят, хочется встать, обнять, поцеловать, поклясться в вечном братстве. Так и было. Заорали, встали, чокнулись, сблизились, а разошлись и принялись обсасывать косточки друг друга, называть «чудовищем» того, того. И мне горько от такого вот поведения. Зачем? И сам Панин: что он! — говорит, воодушевляет, а в душе нет простого чувства товарищества. Надоела ложь — простая, обыденная, в самых малых отношениях. Чего-то хитрят, мудрят друг перед другом, выглядывают, вынюхивают. И тут же рядом снимают о добре, о красоте души, спорят, ищут ракурс, «подайте глубже», «скажите теплее». И почему я стал чувствовать в кино, что пропадаю? Идей тьма, а личности нет. Человека нет. Мало! В искусстве без друга тоже нельзя. Микеланджело сказал? — забыл. Есть же обыкновенная повседневная человечность. Так будь же с душой! Горсточка, горсточка, к кому хочется подсунуться, побыть с кем. Мне жалко было Ямщикова на банкете. Может, потому и ору я так на тебя. Не знаю, не знаю. От умных речей циников меня тошнит. Простоты хочу. Я становлюсь какой-то игрушкой в руках мастеров, холодных, умных, во вся святая святых проникших и... как говорил кто-то: «Я что-то знаю, а вам, дуракам, не скажу». Как будто иду мимо жизни. А ты меня ругаешь — я истории не знаю. Я уже ничего не знаю. Ничего не пойму! Или я дурак, или весь мир не такой. Как сказку вспоминаю Казахстан! Там мне все понятно было: мост перекинули через реку, так это ж мост, его не подделаешь! Пропадаю, Димок.

«Пропадаю, пропадаю...— вздыхал он и теперь.— Может, ты меня спасешь? Моя милая, моя северная волшебница! Надолго? Пропадаю!.. Есть минуты, когда чувствуешь сладость и в том, как ты пропадаешь...»

2

Хороши самые скучные города и деревеньки, если живут там свои люди.

Лиля, жена Дмитрия, встретила Егора как родного. В Краснодаре, за два квартала до подъезда друга, его настиг ливень, и в дверях Егор стоял перед Лилей насквозь мокрый. Через полчаса, по солнцу, вела его Лиля к своей матери на борщ. Дмитрий был на даче. В одежде друга он и поехал к вечеру за город.

Лиля проводила его до трамвая. По ее ласковости, заботе о нем у матери во время застолья и по тому, как она усердно просила: «Ты ж, Егорушка, поскорее, наговоритесь — и к нам, посидим!», он чувствовал, каким ореолом Дмитрий окутал их дружбу в разговорах с женой, как часто, наверное, он хвалился Егором, возносил его выше небес, да и сама Лиля понимала, что на юге таких друзей у Дмитрия нет.

— Мы живем замкнуто,— говорила она,— я его знакомых не жалую, не дождусь, когда они перемоют все чужие косточки и уйдут,— всем же чего-то надо, а Димка, он видишь какой: уши развесит и поддается. Кто хороший появится — почему же не принять... А так — с работы на работу.

— А мы с Наташкой дак в приемы ударились. Как послы прямо.— Егор разводил руки.— Сперва звали черт-те кого. Как приеду, уже висит на телефоне: «Дома! дома! ждем!» У нее свои хитрости какие-то, я даже так и не умею, дипломатка-а-а — с ума сойти. И простушка! Разберись в ней. У нас такая шутка: «По какому разряду

сегодня столы накрываем?»—«Этим надо по первому». —«А в субботу?»—«Икры достанешь, так и в субботу по первому». —«А потом?»—«А уж потом кто что принесет!» Я устаю от ее хозяйства. Це-е-елыми днями стирает! Жду, жду, жду, жду — злю-юсь!

— Сразу видно, что ты жену любишь.

— Откуда?

— А по тону.

— Я ж актер.

— Не-ет,— с радостью за Наташу и Егора сказала она. А Егор вдруг тоскливо подумал о К. — Любишь.

— Друг подает пример!

— А-ага! — воспротивилась Лиля похвале и засмеялась. — Ты еще его не знаешь: он себя любит больше. Ты поругай его, он совсем распустился, меня не слушает. Ладно? Ночью сыро, там два одеяла, укрывайтесь...

Дачу — шесть соток земли, домик под орехом — Егор отыскал легко, он бывал там. Четыре года назад Лиля бросила Владислава и перебралась в станицу к Дмитрию. Егор поспешил навестить их. Что-то вольное, безалаберное кончалось в жизни друзей. Первым женился Егор, за ним Никита. В минуты сообщений о переменах они грустили чуть-чуть: пропала дружба! накрылась вольница! Ну что ж. Они боялись друг за друга. Каждый чувствовал, понимал другого по-своему, за что-то любил особенно, воображение туманно нарисовало, у кого какая должна быть жена. Все казалось, что друг ищет не то. Егор, видимо, не ошибся в Наташе. Вроде бы подходили друг другу и Лиля с Димкой. Лиля, как и Наташа, не отгораживала Дмитрия от того прошлого, которое крепко держало их вместе с седьмого класса. Старая мальчишеская страсть к письмам, тоска по свиданиям прощались им долго; уже пошли дети, а они все трещали при встречах на кухне до полночи о каких-то совместных плаваниях по Оби, о сенокосах и черт знает о чем, совсем не семейном. Та жизнь, в которую они честно, без досады, впряглись, равняла их со всеми, кто был до них и будет после, а в дружбе таилось еще очарование сказки, сотворенной только ими, и что-то еще, словами не объяснимое, чего нету у многих и многих. Всегда набегали мысли, с которыми хотелось бежать к другу; всегда (и чем далее, тем верней), даже в блаженные дни, семья обязывала роковым принуждением, тащила покорять быт и постепенно, постепенно заглушала что-то в душе. Слава богу, до тридцати лет они еще были молодцами и кричали в письмах: «приезжай! разговоров — тьма! очень, очень надо встретиться! где? когда? приезжай, змей!» Легче было летать Егору, по пути в Москву с каких-нибудь съемок. Откуда он только не рвался к Дмитрию! Даже из Рима. Вот как раз после Рима он и попал как-то на тихую южную дачку. Рим — Москва — Симферополь по воздуху, до Керчи на попутках, в станицу через пролив на катере. Вез кучу новостей, письма Никиты, заложенные, как всегда, в книгу, а книга под мышкой, на плече пиджачок с оторванным хлястиком, в руке сеточка за пятьдесят копеек, в ней подарок. Налегке мотался по свету Егор. Два дня они болтали у моря. И повезла их Лиля в Краснодар к матери кормить борщом и клубникой.

Был в их дружбе период — года два назад,— когда они остыли друг к другу, а при встрече вздорили с первого слова. Егору начинало не нравиться, что Дмитрий частит шутками-подковырками, а то и впрямую ехидничает и обвиняет. Дмитрий в эту пору потерял свой восторг перед другом и почувствовал, как в то время, когда даже тупицы и середнячки росли и познавали всякие премудрости, Егор топтался на месте и, значит, отставал. То, что раньше казалось забавным и мило смешным, вызывало теперь у Дмитрия раздражение. Они не понимали уже один одного в самых простых вещах, писать стало не о чем, да и что толку: все упреки, упреки, упреки. «Как странно! — говорил ему Дмитрий. — Ты самоуничижался в юности и восхваляешься сейчас. Читал «Героя нашего времени» и говорил: «Все понимаю и ничего не могу». Сейчас, по-моему, ничего не понимаешь». Постепенно скопились обиды. Крошечное невнимание огорчало как никогда. «Надоел ты мне,— сказал как-то Егор. — В письмах с тобой легче общаться, чем в жизни. Если б ты мне не был дорог, скотина, я бы тебя направил в одно место. Не учи ты меня».

Так было. И вдруг все стало на свои места, их дружба заблестела снова. Что их спасло? Прошлое? Одиночество в своем далеком кругу? Разочарование в себе? Неизвестно. Кризис прошел, и все.

— Хозя-яин! — закричал Егор в открытую дверь дачного домика. — Работников не надо? Что-нибудь вскопать, спилить.

— Его-ор... Напугал меня!

— Принимай гостинец... — подал он сумку с продуктами. — От заботливой жены. Балует ишо. Наверно, частенько бьешь ее. Моя дак не слушается, совсем прям от рук отбилась. Здравствуй, что ли...

Наконец-то они были рядом, одни; и так кстати! Наконец-то можно было вдоволь излиться перед другом, ничего не стесняясь. Другу, как и дневнику, чаще всего хочется пожаловаться, и душа втайне ждет сочувствия заранее. А стоит только завести песню о себе одному, как тотчас возгораются в душе другого собственные несчастья, сомнения и неудачи. Никогда они не чувствовали такого удовольствия говорить о себе, как при встрече. И когда Егор приближался к городу, в котором тянулся по жизни Дмитрий, он уже знал, о чем будут бесконечные разговоры, хотя они всегда отвлекались и зацепляли по мере беседы что-нибудь неожиданное.

Но начиналось все с шуток, с самой жуткой болтовни о том о сем и с поддевания друг друга. И на этот раз было так же.

«Тридцать лет,— сказала бы им мать Дмитрия,— а послушаешь вас...»

Солнце село, и, когда они, погуляв вдоль чужих участков, подошли к домику, незаметно, вместе с сумерками, сникла игра, и Егор воскрес в своих чувствах к К.

— Не зря,— сказал Дмитрий,— я тебе к дню рождения пожелал: жить, любить, страдать.

— Ну. Люблю и страдаю. Подожди-и... это еще ягодки. Чует мое сердце: в Москве вообще...

— А ты поезжай, поезжай к ней.

— Когда? В Бухару запрячут до осени.

— Вернешься.

— Димок... Она-а... в ней все сошлось, все мои мечты и любови с седьмого класса по четвертый курс. Я ее еще не знаю, но она чудо, она радость, она счастье. Извини малахольного друга. Я ее хочу видеть и боюсь ее узнать! Вдруг что-то разрешится. Идеал все-таки нужен, скажи, а? Обман нужен. Любовь нужна. Без любви ничего нет. Скука. Серость. В ней, кажется, все от Вальки Суриковой, разве что без суриковской броскости (девичью любовь завоевывать в мильон раз труднее, чем любовь бабью). Это умная, скромная и как бы незаметная. Все вспоминал тут «Шуточку» Чехова. Она чиста и хороша, но только *уже* несчастливая. Это как дивное кино, которое я, может быть, и не посмотрю второй раз. Приятно бы было знать, что еще все впереди. И чувствую, что уже все кончено, хотя ничего и не было.

— Ну ладно, ну и хорошо.

— Что? — испугался Егор.

— Хорошо, что застрадал. А то такой неинтересный стал. Ты прямо другой!..

— Наташке моей не скажешь? — праздно спросил Егор.

— Доложу, доложу обязательно! «А знаешь, Наташа, твой-то сукин сын...»

— Кто тебе письма писать будет? Утешать, советовать? Я же вас, паразитов, нигде не забываю.

— Потому и промолчу. Я тебя люблю, и Наташку твою люблю, и уже люблю ту женщину, которую ты полюбил. Это и есть жизнь. А искусство морали читает. Составишь себе представление о чем-то, оно закоснеет до такой правды, что ничего иного не принимаешь, а приедет друг и все перевернет! Всегда ты встряхивал меня.

— Уезжай ты отсюда! — вдруг сказал Егор.

— Куда, к кому, зачем?

— Надоело врозь. Давайте в Кривощеково съезжаться. Что мы! — живем не с теми, с кем хочется. Ну, поехали во Псков. Никиту перетянем, Свербеев там. Себеж, Малы, Изборск, Прихабы! Знаешь, как жить будем!

Они лежали в темноте — Егор в углу на кровати, Дмитрий у двери на диване. В форточку дуло теплым, но свежим садовым воздухом.

— Какое, спрашиваешь, окружение? Да так... Ближе всех Ваня. Милый мальчик, одаренный, когда-то чистый, но весь уже полинявший в соперничестве. Ценит тех, о ком говорят громко и часто. У вас есть всякие Дома, салоны, везде можно найти дело по вкусу. У нас пойти некуда... Жизни города не чувствуешь... Собраться негде... Собрались как-то под вывеской «Театра кукол», поскучали и разошлись. Потому что друг другу неинтересны, и вообще-то чувствуется, что занимаемся чем-то не тем,— скукой, чепухой, далее-е-кой от того, что таит в себе сама профессия. Много безликости. Художники никогда не читают местных писателей; писатели не бывают у художников в мастерских; композиторы пишут деревянную музыку и сами ее слушают. Это удивительно... В Москве тяжело, ритм, беготня, нервы — как ты живешь там, не знаю. А в провинции скучно. Недаром же зовет Москва к себе пирогами.

— Нету у нас пирогов.

— Выбрасывают, тебе просто некогда.

— Не ерничай... Проверю.

— Вот, Егор. И между тем столько судеб, каких судеб, но все врозь, нет какого-то пятачка, на котором бы все сошлись и раскрылись. Поврозь, поврозь. Иногда надо пойти к кому-то и поговорить о са́мом-са́мом.

— Домой! домой! — сказал Егор. — Надо в Кривощеково возвращаться. Навсегда. Домом должна быть Сибирь.

— Приезжала тут выступать перед зрителями Лиза. Что такого, казалось бы, было? Выступит, придет — сядет за столом, пьет вино и шутит, изображает в лицах знаменитых москвичей. На прощание показывала нам сценические наряды — белое платье, темное, парижское. Было ли ей хорошо с нами — неизвестно. Зато когда проводили ее и на другой день уже незачем было собираться и не с кем, не для кого, думалось целый месяц, что вместе с нею покинуло наш маленький город что-то живое, умное, загадочное и прекрасное...

— С Лилей-то как? Хорошо живете?

— Ничего. Мне кажется, иногда она тоскует по старому своему времени. А может, лишь кажется... А где...

— Владислав? В Москве. Сейчас вот я снимался с ним. — Егор молчал, как тот горюет. — Гуляет. Мы его не раскусили тогда. Умный, очень талантливый. Но рамок для него не существует. Имя уже заработал себе, нарасхват.

— Тебе тоже нужно имя.

— Еще ничего не имея, я отказался от многих ролей, которые бы мне принесли имя. Какое? — не важно. Имя. Все говорят, произносят, ты везде — на открытках, на встречах, в рецензиях. Это я пропустил, не жалея. Для чести хорошо, конечно, но имени нет. Нету. Ты пойми меня: я не жалею. Во *что бы то ни стало* — движущая сила многих. Взлететь. Закрепиться. Куда, зачем? Не важно! Лишь бы имя, положение. В романах люди

говорят, страдают, но о том и из-за того, что слишком высоко или как там?

— Нравственно.

— А в жизни есть такие простые потребности, и они такие неискоренимые (потому что без этого всякий пропадает), которых искусство никогда не касается. А если и коснется, то опять не в жилу. Имя, положение мужа, теплая выгодная работа, детский садик, пища, хорошая квартира, отдых — вот на что уходят силы. Как сказать об этом, чтобы не было пошло, низменно? Как? Ведь почти все думают о своем положении. На этом часто стоит жизнь. Высший смысл? Очень немногим нужен. Я лишил себя многого, но это ничуть не значит, что я прав. Ты тоже лишил себя. И много ли таких, кто тебя за это уважает? И даже жена, наипреданнейшая, тихо, по-своему, может корить тебя, чувствовать себя не совсем счастливой, оглядываться на чужое гнездо, а бабы похуже — просто бросают всех тех, кто уже на пути к положению, но за два шага до победы. Устали ждать. Намучились. Это жизнь, жизнь человеческая. К чему я это? Не знаю даже. К тому, как это выразить? Или мне плохо? Да нет. Нормально. А если плохо, то опять же от другого, *имя* тут и прочее ни при чем. Из-за этого другого вот я, дурак, и пропадаю сейчас... А тебе надо, Димок, домой.

Они помолчали несколько минут, и в темноте на Егора опять нашло, он думал о письме к *ней*. «Люблю, люблю тебя, волшебница моя. Ничего не знаю и знать не хочу. С другом говорю и люблю тебя... А ты где? Где ты, куда унес тебя этот ветер времени? Вот сейчас бы сидеть вместе. «Я к вам долго шла и пришла».

— Видишь, Егор... — снова послышался голос Дмитрия. — Ты заснул?

— Нет.

— О ней?

— Ага. Ага, Димок. Что ты хотел? Говори, говори.

— Да я уж писал, наверно, тебе. Раньше я как думал? В станице-то. Раньше думал: ну, поживу, наскучаюсь, а потом это брошу и куда-нибудь уеду, на север ли, в Россию или поближе к Москве. Сначала здесь перееду в город. Это временно, оно кончится, сил у меня много, я еще добьюсь своего. Меня возбуждали книги, фильмы, твои письма, я казался себе лучше, на что-то способным, на большее во всяком случае. Никогда не высокомерничал, как Павел Алексеевич, но про себя все знал, огонек в себе поддерживал. Переехал и здесь еще надеялся: что-то случится со мной. Осел, оброс бытом, ну не-ет, я это все равно поломаю, думал. Там где-то ждет, ждет меня прекрасная яркая жизнь, я готов страдать, биться головой, вгрызаться ногтями, но не коптеть, не сохнуть. Наконец — дело любимое я нашел себе здесь. Институт закончил, я нужен, все нормально. Еще немного. Дальше — больше. Дни идут, недели. Уже и год проводили. И я стал чувствовать, что никуда я не уеду. Летом еще, когда все легко, распалишься: ах! брошу все! А в ноябре встанешь утром, холодно, забот полон рот, — куда я поеду? На какую жизнь? Кому я нужен? Да и что я там не видел? Мысли мрачные.

— Как у меня с Кривощековом, — сказал Егор. — Я ведь песню услышу про Сибирь по радио — реву. Честное слово. До того мне неохота на всю жизнь застревать в Москве. Но я еще решусь! Дай мне закурить, что ли... Дай дотяну!

— На целую! Знаешь же, что терпеть тебя не могу за это!

— Ладно, ладно.

Друзья помолчали еще; взошла луна.

Прежде, когда Егор при встречах рассказывал о Москве, о тамошней среде, Дмитрий помалкивал, стеснялся своей якобы серой неудачной жизни. Теперь он думал: если бы Егор жил в его городе или неподалеку, насколько бы полнее и радостней были дни Дмитрия. Правильно говорил кто-то ему: мы живем среди тех, кого не любим.

— Я, как ты помнишь, был страшный эгоист, «разумный» или неразумный — уж не знаю. Я был занят только собой, своими действительными или мнимыми несовершенствами. Я считал себя да и был жутким разгильдяем. Корил, корил себя и продолжал оставаться таким. Я и в Казахстан-то сорвался еще и поэтому: жизнь потрясет меня за грудки, обчешет. Но! Но никогда не переставал я мечтать о самоисправлении, не уставал надеяться, что, может быть, как-нибудь, когда-нибудь сам ли, условия ли, но сделают из меня *человека*. Такого, каким я мечтал быть.

— Ну каким?

— Я писал же тебе. И всякие глупые мечты были, но это от детства (ах, если бы я нашел миллион, всем бы его раздал), не такое. Я в самом деле мучился совершенством, а вы надо мной посмеивались. Утих, разменялся и вдруг чую — опять... Опять мне тошно прежде всего от себя самого. Какой-то слабенький я, маленький червячок...

— Да брось, Егор. Правильно тебя Никита учил: тебе вредит самоуничижение.

— Переменю свою жизнь, вот увидишь...

— Телогрейку наденешь? мотористом пойдешь на Обь?

— А хотя бы!

Они зажгли свечку, послушали приемник, потом вышли на дачную аллею. В нескольких верстах от города совсем иной была ночь, и, когда они глядели на небесные звездные чащи поверх веток фруктовых деревьев или над головой, им вспоминалось тихое просторное Кривощеково времен детства и казалось, что и Кривощеково и детство баюкали их души бесконечно давно...

Через сутки Дмитрий сидел в городской квартире в кресле и читал у настольной лампы. Егора проводили на автобус в полдень. Лиля тоже не спала, заглянула в комнату в первом часу, поругала:

— А накурил! И сидит.

— Не буду. Садись.

— Мужчины скоты.

Она повалилась на него, потом села к нему на колени.

— Не нравлюсь тебе? Как ко мне относишься? — начинался их разговор-игра, оба были в настроении.

— Оч-чень средне,— сказала Лиля.

— Почему?

— Моль летает, а тебе все равно. — Она схлестнула ладошки, стараясь убить моль. — Оч-чень большой ты человек, Дима. На землю не спускаешься. Дважды прошел мимо магазина и забыл купить хлеба.

— Нет практичнее человека, чем я.

— Оч-чень практичный. И Егор твой. Друзья твои тоже чокнутые. Совсем. В вашем возрасте уже все стали задумываться кое над чем, а вам это не нужно. Кто из ведра вынесет? Бэчики бесконечные твои. Когда будешь бросать? Шрам на носу,— провела она пальцем. — Молодец. «Ногтем поцарапал». Так себя хорошо помнишь. Убей моль. Ложиться когда будешь вовремя? Толстенькие гантелями занимаются во дворе, а ты за сигареты. Знаю, что скажешь: «Давай есть!» На ночь. — Она прыснула. — Творог со сметаной принести? Чтобы все съел! Очень смешно. Я пошла читать.

Потом он кричал в другую комнату:

— Товарищ! Товарищ! Идите, что-то скажу.

— Что? — выходила Лиля и по улыбке его замечала, что ему хочется поболтать еще.

Глава четвертая

УЦЕНЕННЫЕ ПЛАСТИНКИ

1

В сорок лет он нашел в книге затрепанную бумажку.

«Милый мой Егор! Все ненавижу! Хочу, чтобы ты был у меня... В Москве не могу найти дня трезвым, надо жениться, иначе погибну. Но прошу тебя, мой друг!

Извини, но люблю тебя очень, не серчай, пьян.

Милый друг, люблю, целую и надеюсь, что ты меня навестишь.

Пьян и люблю тебя.

Сижу в ресторане «Прага» не с теми, с кем нужно. Жду.

Решил наутро ничего не менять. Приходи. Владислав».

Да, это было в то лето, которое Егор называл «летом моей жизни».

К вечеру Егор поехал. Наташа была недовольна. Но как было не навестить Владислава? Жены боятся тех, кто пьет, холост, легкомыслен; хорошо, когда муж сидит дома. Владислав был угрозой всякой семье: совратит, какие-то женщины возле него, мало ли что. Как ни верила Наташа Егору, а сомневаться в мужчине просто необходимо, если думаешь о долгой жизни с ним. К тому же Егор никогда не дружил с Владиславом, и тратить на него время накануне отлета в Бухару незачем. Егор выслушал упреки, поныл перед женой, обнял и заслужил отпускную. Но поставлено было условие: возвращаться к десяти трезвым, а пока натереть мастикой полы, оплатить квартиру и отвезти подруге плащ. Как всегда, добавилось еще кое-что, и носился Егор по Москве стрелой, успевая еще в метро и в троллейбусах почитать книжку. К Владиславу он приехал в чем попало: в техасских брюках, в закатанной по локти несвежей рубашке. Увидела бы его К.!

Тоска, благое летнее сумасшествие гнали его к Владиславу. И чувствовал он, что тот в самом деле несчастлив. Внизу, в почтовом ящике, белела только газета. Друзья, как нарочно, забыли его. Но он тоже не писал им, все ловил момент; зато сколько писем отослал он К.! Никогда, никогда он не писал так много женщине. Такое было лето. Счастье иногда переходило в страдание, и казалось, что он такой же пропащий, как Владислав, что над его судьбой кружит какой-то демон и что с тех пор, как он поступил в студию, его не оставляет крик перелетной птицы, и что с ним будет? — один бог знает.

Владислав приоткрыл дверь, впустил Егора и побежал в ванную.

— Послушай музыку, мой милый!

Французская мелодия разбивалась о стены маленькой комнаты, усилитель только добавлял нестерпимую пронзительность знаменитой песне, и в этой холостой квартире слова о чьей-то любви возбуждали к чему-то несбывшемуся в твоей жизни. Несколько минут назад шумом и пестротой забивала личное Москва; казалось, жить надо этим, внешним, посторонним, и вдруг нотные чудеса напоминают, что есть другое, вечное, всем близкое и столь прекрасное. В те дни, часы, минуты, когда люди сокровенно грустят, обижаются, мечтают о мерцающем счастье, надо на них смотреть,— слова, которыми они потом о себе расскажут, ничего не выразят. Егор как будто застыл и слушал, думал о К., о том, что эта песня про них и в ней страдание и счастье их летней любви. Жалко было, что песня коротка, приходилось часто переставлять головку, чтобы послушать еще раз.

За стеклом в секретере улыбался на снимке Роберт Кеннеди.

— Ах, хорошо, что ты пришел! — появился в халате Владислав с бутылкой минеральной воды. — Я ждал! ждал тебя, мой милый. Знаешь, я заметил, последние съемки нас сблизили.

— Чем?

— Всем, что не случилось в нашей судьбе. Мне возле тебя хорошо, я даже заснул бы, уверяю, а я не могу спать в чужом обществе. Опять ночь промучился. Разругался со своей малолеткой,— вздохнул он,— напился в ресторации. Много сил, здоровья отнимает. Требовательна и жестока, а моих интересов не хочет понимать никаких.

— А я что говорил!

— Она живет моментом: сейчас ей кажется то-то, а завтра то-то. В зависимости от того, кто рядом. Надоели девицы, а большего нету. На каждом шагу ранит меня бессмысленной жестокостью, детской глупостью.

— Пороть тебя надо.

— Как в анекдоте? «Порет хорошо, не знаю, как шить будет». Утром позвонила мне Лиза: «Ты что там вчера говорил?» Я не помню. «Нес такое, удивляюсь, что ты еще дома. Кричал на весь ресторан, о ужас, ты сумасшедший». Не помню,— изумился Владислав перед Егором. — Я только помню, как совал ключ в дверь, вынул вот этот портрет Кеннеди, почему-то поцеловал его: «Бедный старичок, как мы с тобой одиноки» — и заплакал как крокодил.

Застольными речами, братанием и ссорами с кем попало отличался Владислав и в херсонских застольях: на днях рождения, по случаю чьего-нибудь отъезда. Он говорил, говорил, говорил и ничего наутро не помнил. Егору всегда признавался в любви, в нем поднималось со дна столько доброты, ласки, внимания к человеку, сам он становился прозрачным, уязвимым, что желалось, чтобы он завтра и вечно был тоже таким, но он просыпался жестким, готовым обидеть любого.

— Поставь еще раз,— сказал Егор.

— Лиза подарила. Привезла из Канн, с фестиваля.

— Она уже в Канны ездит?

— Конечно. Она дама в соку. Позвоним ей? Она живет рядом, придет.

Владислав коснулся трубки, нашел в блокноте номер, в эту минуту раздался звонок.

— Возьми, пожалуйста,— попросил он Егора. — Если женщина, спроси кто и скажи — меня нет. Если мужчина, передашь мне. О-о... — свалился Владислав в кресло и растянул ноги. — Нас тянет груз прошлого. Я уже забыл его, клоуна, а он меня помнит и считает, что мне интересен и я должен слушать его трепню. Тебе не звонит? А я один, меня донимают, я пря-чусь! Поставь еще раз, лень вставать.

Егор перенес головку проигрывателя на отзвучавшую дорожку.

— Скажи мне нежно о любви,— повел Владислав рукой,— ах, как хорошо, что ты пришел! Сейчас Лизу позовем. Маленький бомонд. Надо ценить простенькие удовольствия. Я приготовлю картошку с бараниной.

Егор, как пойманный, соглашался на все. Его сводили с ума и мелодия, и мысли о К., и забубенность, которая после короткой грусти невесть откуда взыгрывала в душе Владислава и влекла за собой других.

Лиза пришла и была недолго. С нею пожаловал и Кирилл Борисович Свербеев; похлопал хозяина по спине и тут же попросил воды — запить таблетку.

— Чудесный у вас бардачок.

— Хо, хо! — вскинул руки Владислав. — Люблю! Дитя чертово. Ну как не любить его? Наш! Милый, прекрасный. — Он подошел и поцеловал Свербеева в щеку. — Боярин наш, хо-хо, хо! Ах, господи, легче жить с вами, черти вы этакие. Через минуту волоку баранину!

Но веселья не получилось. Лиза куда-то спешила, Свербеев хватался за сердце. Егор без конца переставлял головку на ту же мелодию.

— Как, как! — повторяла Лиза вопрос Егора. — Муж у меня военный. Я живу хорошо, Егорка, если не считать некоторых нюансов.

— Ее жизнь в нюансах,— хмыкнул с сочувствием Владислав. — Моя тоже...

— Мой бедный,— погладила она его плечо. — Давайте, мужчины, выпьем за нашего горемыку. Его нельзя не любить.

— Тебя тоже. Мы все тебя любили и любим. Ах, все в прошлом.

Это правда: в разные годы они по очереди ослеплялись ею.

— За тебя, Владик,— поднесла она фужер с рислингом,— за то, чтобы в Москве ты обрел домашнего друга. Они понимают меня.

— Да, с удовольствием,— торжественно встал Владислав. — Вы не представляете, как это для меня важно. И необязательно москвичка. Необязательно умная, образованная. Кой черт! Легче бы сиротку. Родственники мешают. Лишь бы письма писать умела.

— Сколько раз уж пили за это, эх,— надсадно поднялся Егор. — Ведь бесполезно. Очень уж привередлив.

— Мне нужна женщина, к которой бы тянулись тысячи рук.

— И я тебя хорошо понимаю в этом,— сказала Лиза. — Помнишь наши беседы, Егор? Нужна любовь. Надо на кого-то молиться. Хотя бы один миг.

— Поставим пластинку? — Егор вскочил и включил проигрыватель. — Я бы никогда не привык к холостой жизни. Послушаем.

Свербеев, растирая пальцами усы, изучающе поглядывал на всех. Владислав стоял посреди комнаты с фужером в руке, всею душой отдаваясь власти звуков. И сказал:

— Вот ведь, друзья мои, как... Мы сидели сейчас, и то, что под эту музыку происходило в нашей душе, гораздо важнее и интереснее всяких мировых событий.

— Зачем же так? — сказал Свербеев. — Несерьезно. Всему свое место.

— Я отношусь серьезно ко всему, кроме искусства.

— Я давно ничего не читаю из беллетристики,— поддержала его Лиза. — Мемуары разве.

— Выдумывать чужую жизнь безнравственно! — Владислав загорался, хотел говорить. — Чего ее выдумывать? Мы что делаем на съемках? «А может, она не к Ивану уйдет, а к Петру? Это будет острее, как раз вода на нашу мельницу». Что это такое? как это назвать?

— Творчество,— с ухмылкой сказала Лиза.

— Это ложь. Досужие выдумки. Можно так, можно этак. А у меня вот Лиля ушла к его дружку Дмитрию, и я ее уже не верну. Нельзя же в жизни сказать: «А может, мы ее вернем к Егору? К Ямщикову? К Свербееву?» Это я еще беру простенькие вещи. Ничего не изменится. Оттого, как мы с Егором гениально будем играть, плодоовощная база не перестанет гноить овощи и фрукты и ни один мерзавец не станет честнее.

— Настоящее искусство — такая радость,— возразил Свербеев.— О чем тут спорить? Я не могу уснуть, если не полистаю альбом художников Возрождения.

— Один говорит мне,— не слушал Свербеева Владислав,— говорит: «Я отношусь к искусству серьезно». Хотел было спросить: «А оно к тебе?» Обидится.

— Знаешь, что сказал недавно мой знакомый поэт? — Лиза сняла со столика зажигалку и прикурила.— Был его день рождения. Отец упрекнул его: «Какие ты, мой сын, плоские стихи стал писать в последнее время!» — «Ты, папа, так ничего и не понял. Может, никакой я не поэт, а просто люблю красиво жить». Я сама слышала. А как громко он начинал!

— Он всплыл на отрицании. В те годы над ним только и рыдала счастливыми слезами пресса, ему стало казаться, что все искусство держится на нем, а прочее — доморощенный лапотный бред. Он растолкал своими спортивными плечами сермяжную толпу и позабыл, что живет в России. Талантлив, но ничего народного. Истрепался.

— Зол, зол ты,— сказал Свербеев.

— Э-эх...— вздохнул Егор.— Все мы хороши. Спешим не отстать. Я вот только что купил в сельской лавке уцененную пластинку. В куче мусора валялась. А там такая музыка записана!

— Кирилл Борисович — человек святой. Святой, святой,— нажимал Владислав, отгоняя недовольство Свербеева.— Вы, мой милый, целое лето ползаете вокруг крепостных стен, обмеряете, записываете: ах, ах, скорей спасти красоту. Зачем? — спросил он как бы от имени некоего трезвого «умного» человека.—Кому это нужно? Вон у меня знакомый. Пишет статьи, обзоры. Он их как пишет? Левой ногой. Он дует вечером в ресторации французский коньяк, потом хватает девицу и везет домой на такси. Такси с чаевыми. Швейцару на дверях рубчик, официантке десяточку. Вы презираете чаевые? (Девицам он тоже дает). Он ее привозит, комната в коврах, мебель импортная, водка валютная. Шарахнули!

— Драть...— грустно, печально сказал Свербеев.— Драть немедленно... как сидорову козу.

— Зачем драть? — снова от чьего-то имени вопросил Владислав, отошел и налил минеральной воды в бокал.— Зачем драть? Он никому не мешает. Хлеб растет, заводы работают. И кто его видит? Они вдвоем жутко напиваются, звонят по всей Москве, содомия, и довольны. Утром он встает и вспоминает, что вчера высидел двенадцать минут на просмотре оч-чень скучного фильма о селе. Фильм глупый, но почему бы не похвалить?! Садится и сразу, на машинку, пишет. Слова как музыка: «народа душа родниковая», «нравственные истоки вековой русской жизни», «целительная красота правды хлебороба» и тому подобное. Одно утро — сотняшка в кармане. А вы? Разве так живут? У вас в доме ни одной иконы. Вы двадцать лет ходите по червонцам — и ни одной цепочки в свой дом не внесли, музею, видите ли, отдали. Так нельзя, батюшка мой! Нехорошо!

— Спасибо за информацию,— сказал Свербеев. — Но почему вы, мой дружок, брезгливы к сему лишь на время?

Владислав, добродушно осуждая себя, улыбнулся.

— Мне темперамент не позволяет.

— Именно потому, что вы талантливее многих, что вы все правильно понимаете, душа ваша болит от того же, что и моя душа, я вам не прощаю. Вы в обществе не осознали себя от желания жить чересчур изящно. А разложение свое так легко списать на счет наших бед.

— Истинная правда,— сказал Владислав, поцеловал Свербеева и вдруг заплакал. Вынул платочек, поднес к глазам и через минуту был тем же.— Барана на стол! К чертям!

— Нет, мужчины,— встала Лиза.— Мне пора. Сидела бы и слушала вас, но... Позванивайте. И вы, Кирилл Борисович, почаще приезжайте. Ведь постарею, почернею ликом. Я понимаю, что я не подарок, но не забывайте меня, судари мои. Жизнь так сложна.

— Увы, проста жизнь, проста! — сказал Владислав.

— Ты женись, женись, и все будет хорошо.

— Напомни мне завтра звонком, что я должен жениться.

— Ладно, мой золотой, ладно. Я ушла... меня нет.

Свербеев обцеловал ее на прощанье.

— Богиня! — сказал он, когда она ушла. — Во что ее превратили мужики? Ею украшать балы. Для такой женщины не нашлось настоящего мужчины. Для кого же ей хранить себя? Ее ангельская душа натыкалась на что-нибудь ватное или солдатское.

— Хо, хо, хо! — обнял его Владислав.— Святой человек. Как я его люблю. Ведь люблю, Кирилл Борисович.

— Что ж вы, мужики, оплошали? Где рыцари?

— Что делать, что делать...— Владислав беззлобно, с умилением посмеивался над Свербеевым.— Каемся.

— Твоей невесте девятнадцать лет. Что делать! Она тебя обманывает, и ты знаешь это. Она тебя не любит.

— Зато я ее люблю.

— Тебе нравится в ней порок.

— Я жил как во сне, пил и мало-помалу свык-

ся, что могу прожить и без панциря, каковым была для меня Лиля. Утрами думаешь иногда не по-христиански: была бы пистоля — шлепнулся бы без сожаления.

— Возмездие за грехи. За грехи,— смягчился Свербеев и прижал Владислава к себе.

— Проста жизнь... Женюсь если — венчаться буду.

— В Малах! Я открою запоры, навезу свечек и в пустоте, под гулкими сводами пропою тебе и нареченной супруге благословение. Ай-яй-яй, беда человеческая...

Затрещал телефон. И в какой раз Владислав предупредил:

— Если женщина, скажите — меня нет...

2

В эту-то ночь Егор и увидел во сне К. и, пробудившись, сказал: «Как же я теперь буду жить без тебя?!»

Зажег лампу: было три часа пятнадцать минут. Удивительно: в поезде, по дороге к ней, его что-то толкнуло в это же время, минута в минуту. Он был счастлив, переполнен ожиданием, и вот уже нечего ждать: они простились позавчера. Душа его страдала, рвалась на вокзал, где К. необидчиво упрекнула его: «Я вас так люблю, а вы уезжаете».

Егор поднялся, вырвал из длинного блокнота листок и сел писать ей.

Ночь, никто не мешал его откровенности: Наташа, малыши, Свербеев спали за стеной.

«Как же я теперь буду жить без тебя? Ты опять за лесами и болотами. Я проснулся, не могу без тебя. Ты уже не со мной — странно! Как будто все чудеса навеки скрылись от меня, и через три дня после нашего молчания у вагона хочется спрашивать: помнишь? помнишь? Помнишь, в сельском магазине мы разбирали уцененные пластинки и среди пустяковых вытащили одну, случайно завалявшуюся, с прекрасной мелодией? Странно, что нас там уже нет. Помнишь последние двадцать минут в Татищеве? Все исчезло. А песни? И ночь, в которую ты ушла с вокзала одна? Проснулся и говорю: «Великая, великая жизнь!— и добавляю:— Пропала жизнь!» Странно, что я уже дома... И странно мне до сих пор то, о чем я говорю тебе издалека тысячу раз: еще весною я не знал тебя вовсе, не подозревал даже, что ты есть на свете. И ничего, как-то ведь жил, не ощущая потери. Нынче в обед слез я возле центра и припомнил, что прежде, зимой, я часто пил на углу за высоким столиком черный кофе, думал о чем-нибудь, о ком-нибудь, а теперь вздрогнул даже: *тебя* тогда не было в моей жизни,— странно! Сейчас меня разбудила ты. Как теперь жить без тебя?!

Моя милая волш...»

И вошел заспанный Свербеев.

— Трудишься? — спросил он и сел на тахту.

— Пропадаю...— сказал Егор.

Свербеев понял, подсунулся к столу, сощурил глаза на бумагу.

— У кого-то я читал (давно): любовь сильна как смерть, но совершенно необязательна как смерть. Многие только думают, что они любят. А на самом деле просто наступает пора жениться. Молодость, бычья фаллическая сила. Ты счастливый... не спишь вот.... хорошо! хорошо, Телепнев!

— Тише. Разбудим.

Свербеев смотрел на Егора, как врач на больного, которому нечем помочь.

— Поедем во Псков. Ты в нашей красоте растворишься.

— Завтра в Бухару лететь. До самого сентября жариться.

— В Печоры бы съездили. В Опочку! Ну, приезжай с ней, я вам звонницу отдам. Зимой? Не горюй.

— А что, видно?

— Это замечательно! Это... как во все времена... чудесно. Свет лампады. В Древнем Египте в одну из ночей жертвоприношения зажигались тысячи лампад. Целую ночь они горели. Праздник такой — возжжение лампад. Я читал где-то. Кто живет далеко — забыл, в каком месте возжигали (в дельте Нила, кажется),— возжигает у своего дома. И таким образом по всему Египту в эту ночь горели огни. А что значит «лампада»? Это религия прекрасной жизни. И любви. Над тобой они сейчас светятся. Жди...

— Долго ждать... А опять ничего не было, как и в Херсоне. Что же это?!

Странно, но он не помнил уже, о чем они говорили, когда шли с вокзала. Она сразу же позвонила подруге и сказала, что все хорошо. Так не бывает, чтобы никто не знал: счастье втайне — еще не все, надо, чтобы кто-то ему сочувствовал или завидовал в стороне. Когда любит кто-то хороший, интересный — значит, есть что-то в тебе не последнее. Счастью К. помогали, и накануне, видно, был разговор о Егоре, о том, как пораньше встать и встретить его. А может, она не спала вовсе?

Усталости Егор не чувствовал. Он садился на поезд в полночь, проснулся в три часа пятнадцать минут ровно. Хмель успел выйти. Ведь прилетал он в Москву на Международный кинофестиваль, на банкете вдоволь выпил и кричал приятелям: «Я уезжаю! уезжаю!» Редкая радость была в том, что он уезжал к ней. Наташе солгал: мол, два дня съемок под Москвой в другой картине. Он шел с банкета и говорил что-то безумное К., туда, в даль. «До свидания!» — взмахнул он рукой двум милиционерам и великодушно пожалел их: им стоять на дежурстве, а он уезжает. Прокричал он и своим любимым друзьям, что он уезжает, что он потерялся, заблудился в трех соснах и убегает, убегает, побросав свои спешные дела, дом и прочее. Уже спряталось июльское солнце, свет еще не зажгли, долго будет багроветь над высокими зданиями московская заря. Красная площадь успо-

кончилась, очистилась, и ГУМ уже закрыл свои двери. И надо же! — навстречу Егору с фотоаппаратом на груди шел по каменной брусчатке Свербеев.

— Как жаль! — сказал Егор.— Я в полночь уезжаю! К ней! Пойдемте куда-нибудь.

— Что с тобой, что? — забеспокоился Свербеев. Егор вынул из кармана паспорт и конверт.

— Почитайте, Кирилл Борисович. Вам можно.

Свербеев только прочитал первые строчки, засунул листик в конверт и вернул.

— Еще один мужик пропал...

— Ага!

— Но так и быть: провожу. Я тебя не пущу одного! Я провожу! Боюсь за тебя, ты ничего сейчас не соображаешь.

— Кирилл Борисович... Вы ж мой хранитель. Извините. Могу я сказать сейчас тебе? Нет, могу? Я всегда вспоминаю, что там, у Жабьих Лавиц, живет наш добрый гений... А-ах. Я приеду к вам. К тебе. Пропадаю! Прощайте! Я уезжаю, уезжаю!

Когда он проснулся и вышел из купе в коридор, его притянул к окну вид светлеющих влажных полей и холмов. За окном была Русь. «Проснуться раньше петухов,— подумал он,— и увидеть это! После Москвы-то!» Проводница спала, уткнувшись лицом в руки. Егор попросил чистый стакан, налил из титана холодной воды. Добрые эти северные проводницы: она подбавила ему чаю, подала печенье, все безропотно, даже виновато. Он выпил и закурил. Да, за окном была дремлющая Русь; та зеленая, полевая, сама себе верная Русь. Из такой-то вот деревеньки и выбралась в Ярославль К. Егор думал о ней так, будто прожил с ней век, на самом же деле он ее совсем не знал, она помелькала в Херсоне, ослепила напоследок, и все часы их скомканных разговоров сомкнулись потом в один час надежды. И когда он увидел ее из окна на перроне, она предстала чуть неказистее той, которой он столько слов сказал этой ночью. Как будто кто-то предупреждал его, что ночью этой он будет дорожить, потому что много чистых, неумирающих мыслей пришло к нему, и он все как-то остро чувствовал: и то, что с юности любил отдаленные русские поля, и что почти десять лет он и его друзья ездили в Сибирь и назад, и дорога стала настоящей «Русью-тройкой» их молодости, и что в жизни несла его вперед только любовь, украшая, обманывая его душу; и что свята их мужская дружба; и что встреча его с К. никакая не измена, а рок, почти божье предопределение, подарок к его тридцатилетию. Что-то он мог преувеличивать, но какая разница — ему было хорошо. В юности он в таких случаях сочинял стихи, три-четыре за все время, теперь вспомнил чужие. «Есть что-то в ней, что красоты прекрасней, что говорит не с чувствами — с душой; есть что-то в ней над сердцем самовластней земной любви и прелести земной...» Но он еще не знал ее! Не знал, не знал и ехал к загадке, к женщине, прикрытой ореолом его нестареющей впечатлительности. Хотелось поскорее пристать к месту, вот-вот блеснет Волга, и хотелось, однако, замедлить ход поезда, попить еще холодного чаю — как раз набежали строчки письма к Дмитрию о вчерашнем пиршестве, и встрече с Свербеевым, и опять о том, что он, Егор, пропадает.

Все стало драгоценно, как в первый раз, как водится в начале любви. *Так* он давно не глядел на свою Наташу; так не ловил слова, не спрашивал; так не ощущал малость отпущенного времени; так не старался чем-нибудь угодить, послушаться в пустяке, отгадать неясное и так не мечтал никого обнять уже давно-давно. Снова надо было выглядеть красивым, ухоженным, даже сыграть ему вскорости хотелось как-то получше, значительней, чтобы она гордилась им.

— Куда же мы поедем? — спросил Егор.

— Есть маленькое местечко, Татищево. Возила я по всяким уголкам туристов, теперь повезу вас. А в Суздале вы были?

— Я там снимался. Два года назад.

— Почему же мы не встретились? — с грустной праздностью сказала К. — Я там столько раз бывала. Мне обычно отводили одноместный номер.

— Я был в феврале.

— Вы могли меня заметить в окружении туристов где-нибудь у Спасо-Евфимиевского монастыря. Или в трапезной. Как-то я приехала в конце сентября. Всю неделю шел дождь со снегом. Было такое счастливое одиночество, что те дни, сейчас думаю, и не повторятся. Мне грустно только без своего города. И теперь... без вас.

Они помолчали. Оба думали о том времени, которое прожили друг без друга. Теперь это казалось невероятным: как? почему?

— Вы говорите: как не встретились...— Егор достал сигареты. — Я теперь размышляю: что было бы, если бы я вас увидел... ну, допустим, в трамвае или ехал с вами в поезде, проходил мимо по улице?

— Вы бы не подошли ко мне?

— Ни за что. Я так не умею знакомиться. В общем, я сейчас не был бы с вами. Как вам это нравится?

— Такое невозможно.

— Почему же. Очень даже.

— Я бы нашла вас. Я знала, что мы встретимся. У меня сердце вещее.

Они гуляли по городу. Егор вел ее под руку, было неловко ему так идти, на них кто-нибудь да посматривал. Егор давно заметил по себе, что чужая любовь кажется со стороны чем-то банальным, непонятным, пустой тратой времени на ухаживания, на разговоры; думаешь, как это им не надоест тереться рука об руку, отчего это им так хорошо, это тебе может быть хорошо с кем-то, а этой парочке что взбрело? И в мыслях о чужой нежности и ласке копошится не только безразличие, но и усмешка. О чьей-то страсти, наслаждении противно думать, потому что страсть чужая. И только двое знают, как им сладко, все прощают, всем дорожат.

Они приехали в село, нашли столовую и присели пообедать за столик у низкого окошка. В столовой было пусто.

— Я должна была найти вас четыре года назад,— говорила К.— Я была лучше, чище, доверчивей. Последние две зимы много напутали, состарили меня. Теперь я не могу отдаваться счастью без оглядки и страха. Делаю первый шаг, а думаю о последнем.

— Вы не ждали от меня писем?

— Знаете, нет. Я приезжала поглядеть на вас. Простились... ну, не скажу, навсегда, мне, если честно, не хотелось навсегда, но я бы все равно была счастливой. Не сердитесь. И не хотела писать вам первой. Как знать: после прощания все могло перемениться, переместиться... Да вдруг письмо мое не радость, а принуждение. Подумаете, что я требую повторений. Я была счастлива и без надежд.

Где-то чуть слышно звучала пластинка, кто-то чужой просил, тосковал, прощался.

День был прохладный, с дождиком. Когда солнце выглянуло над лесом, они покинули столовую. Но идти было некуда. Кругом северная скорбная простота. Они вышли за село.

— Я, кажется, только раз была счастливой. Я поступила в институт и перед учебой поехала к бабушке. Поплыла на катере, а дальше лесом, пешком четыре километра. Темнело быстро, и я все наклонялась, вглядывалась, по дороге ли иду. Потом за деревьями огни, мой дом, окна настежь, застолье у бабушки. «Да кто ж это приехал! поглядите, и-их, моя красавица, умница, в институт сдала, господи-и, и волосья-то по спине развесила, и штаны-то на ней ребячьи, садись-ка...» Еще счастья не помню. Было когда-то весело, хорошо, но... Видно, я вас ждала...

— И не писали...

— Я тянула, боялась: раньше приду — раньше кончится...

Остаться в этом краю! С ней. Егор взял ее за руки. Поцелуи, близость — все потом, потом; сейчас было хорошо и так. Не надо спешить.

— А что вы подумали, когда я вам написала? Егор молчал. Что он подумал! Ничего.

— Обыкновенное письмо. Хотя в письмах — вы замечали? — больше обмана, тайны, нежели в живом голосе, с глазу на глаз. «Приезжайте в наш город». Зачем же? Потом — как вы гадали на меня. Потом сон вам какой-то снился: весна, половодье, голубое небо и розовая вода. Вы проснулись и поняли — будет конверт, подписанный красными чернилами.

— Так и вышло.

— Писали это?

— Писала. И гадала на вас. У моей бабушки самая плохая масть — трефовая. Раз я гадала — около вас крутился какой-то молодой король и нес вам досаду. В дороге за вами тянулись больные карты. Выпала трефовая дама, не из вашего дома. Моих карт легло вам мало, но они есть. Несете вы их легко, думается — шутка, но не шутить лучше, с вами после гадания осталось еще шесть карт, среди них и моя.

— Я не верю картам. Все это чепуха!

— У вас взгляд легкий, быстрый,— вдруг сказала К.— Нравится вам здесь? Я хочу, чтобы вы надолго запомнили. А то будете меня проклинать: вот, тоже мне, завезла в дремучий край.

— Я неприхотливый,— сказал Егор.

— На удивление неприхотливый. Я сразу заметила.

— Вся жизнь в командировках, привык. Когда-то я о них только и мечтал. Да мало ли о чем мечтал я. Я ведь идиот, вы чувствуете?

— Таких я и...

— Тогда мне повезло.— Он засмеялся, накатывала на него волна болтовни.— Рассказать, как я мечтал? Рассказать? Пойдемте в село.

Опять полился дождик, и они побежали. В селе пристроились у стенки закрытого магазина, пожевали холодные пирожки. Из окна дома через дорогу на них глядела маленькая девочка.

— Знаете, кем я был? Я был всемирно известным актером, режиссером, композитором, певцом, сценаристом.

— А любят не за это.

— Я ж не знал, за что любят. Я покорил своим искусством сперва свой народ, потом все остальные. Хах-ха! Послушайте, это и забавно и грустно. И создал я такие фильмы, пальчики оближешь. Зрители рыдали, интеллигенция меня носила на руках, потому что никто до меня не сказал о ней так, как надо бы. Тонкие разговоры, музыка, любовь — ну! Я восславил прежде всего интеллигенцию. Как восславил! Деда своего, Александра, я, конечно, тоже снял. Всех покоряла потрясающе верная интонация — между прочим, в ней все искусство! — живость, разнообразие жестов, историческая правда — ну-у, искусство пошло за мной, «веди, веди нас, мы тебя долго ждали!» — кричали мне. И я повел. Я молотил по пять фильмов в год да еще успевал сниматься в Голливуде, в Италии, во Франции. Вообще я и из-за границы не вылазил, а дома жил то в Кривощекове, то в Москве, то в монастырях. Запрусь один в пустой монастырь и сижу! Картины пишу. Обаяние — чудовищное, всех дам и мужиков с ног валило. Честное слово. Во жилось! Это не наш автобус прошел?

— Нет, я скажу.

— И ума палата — какой же дурак не мечтает об уме? Я творил, одним словом, чудеса. Я разрыл русскую старину — в угоду Димке своему,— вытащил оттуда такие прелести, такой феномен колорита и правды, что все наконец почувствовали, какой была Россия. Ахнули! Наши князья, монахи, теремные красавицы — царицы, народные типы заговорили полноценными голосами, слезы умиления и гордости текли по лицам моих современников, я дал понять деятелям искусства — тут особенно Димка со мной старался,— дали мы понять с ним, что глумление над прошлым — признак духовного

нищенства, юродство навыворот, болезнь, неполноценность. Художник хочет видеть красоту всюду, и тащить из наших погребов грязь просто нечестно, подло. Потом я уже тянул воз не один; вокруг, как грибы, наросло племя изумительных подвижников, умниц, патриотов, которые дули в ту же трубу. Но подождите, матушка, это еще не вся слава, не все двенадцать подвигов Геракла, у меня их было куда больше: не сосчитать. Закурить, что ли. Смешно?

— Нет.

— Я только сейчас вспомнил, этому много лет. Хы,— удивился он и прикурил.— Но главное — я писал музыку — ага, в монастыре это было всегда, ну да! — у-у, музыка божественная. Романсы, песни, маленькие камерные вещицы — с ума сойти! И знаете, я даже, кажется, слышал свою музыку, во всяком случае — что-то мурлыкал. Пластинки вылетали миллионными тиражами. По всем банкам мира скопились стога золота. За фильмы мне тоже платили. Куда они мне? Друзей, родных, молодые таланты я обеспечил всем: не думайте о быте, служите искусству, науке, обществу. Я построил сказочные дворцы для инвалидов войны,— прежде всего забацал храмину в своем родном городе. Там же мы водрузили невиданный памятник ушедшим из Сибири солдатам. Такого памятника не знали ни греки, ни римляне. Оставалось еще — вру — на памятник Шаляпину и на театр его имени. Все! Я уехал на север в избушку — а было мне уже столько, сколько сейчас? Ну чуток больше — и я принялся за мемуары, которые меня снова обогатили, и я снова стал тратиться.

— А женщины вас любили?

— Разумеется. Каждую мою любовницу узнавали по бриллиантовым перстням и колье, которые я им давал на прощанье. Я им всем создал райскую жизнь. Лиза у меня имела виллы в Италии и на Канарских островах. В Африке леопардов стреляла. По лицензии, которую добывал, конечно же, я.

— Какое бы место вы отвели мне?

— Выволок бы вас из Чухломы вашей, вы были бы моей первой помощницей.

— Даже так?

— Я бы отправил вас на полгода в Париж и сам бы туда прилетал, вам плохо?

— Я бы страдала.

— Слетали бы в Америку, потом в Москву, и опять в Париж.

— А жена?

— Тогда я еще не был женат. Или был? Был, был, потому что я женился бедным, рано, мы перенесли вместе все муки. Меня травили всякие мерзавцы.

— Что вы с ними сделали потом?

— Ими бы занимался Панин.

— Ну и как же вы изменяли жене, за что? — Она спросила с коварством: может ли он, мол, изменить своей Наташе и легко ли?

— Невинно,— сказал Егор.— Только по великой любви.

— Вы не бабник разве, Телепнев?

— Отгадайте.

— Вам, наверное, пройти не дают.

— Я же мечтаю, ничего не вижу. Когда, если вспомнить, я так размечтался-то? Когда Никита кончил учебу, я проводил его как на фронт и остался один. Жуткое одиночество! Вам оно знакомо?

— Еще как!

— Так вот я мечтал. Мимолетно, конечно, но иногда и целый день крутилось в голове кино. В Константинополе нашел античные книги; воскресил чудесным образом голоса и речи римских цезарей. О Пушкине восстановил все. Ужас, как много я сделал для человечества! А теперь пропадаю...

— Вы уже несколько раз сказали. Отчего?

Вечером на вокзале в городе, когда К. его провожала, он порассуждал перед ней и об этом.

— Бывают дни, месяцы, когда ничего не можешь. Пустота, вялость, уныние. А надо жить и работать. Надо играть, нести живое, страстное. Как раз подвернулась такая работа, что только играть и радоваться, а я пуст, ни одной струной в своей душе не могу отозваться. Разжигаю себя изо всех сил и получается еще хуже. Но никто этого не замечает. Режиссеру нравится, домой приеду — я тот же. Ради бога, просил, уберите меня или дайте отдохнуть! Не верят. «Ты нам нужен». Зачем? В какую-то пору душа убывает. Она вернется, а может, не вернется, но сейчас она нема, пуста.

— А что за роль?

— Обычно шинель — моя одежда на экране. И моих героев всегда убивали. Теперь другое. О роли такой я мечтал еще в студии. Долго ждал и переждал. Нельзя, видно, возбудить в душе то, что уже отжило, как бы оно ни было когда-то дорого. В том-то и дело: все проходит. Там моя молодость двадцати пяти лет. Вот тогда бы! Вовремя! Не князя играть, а обворожительного мечтателя, еще наивного и по-пацаньи слепого. С артистизмом моим мне не миновать расставаться. Опять поеду строить мосты или по Оби плавать в фуфайке. Ясно?

— Чего-то недоговариваете...

— А как? Ну считайте, что мне просто надоело. Треплюсь, а больше-то всего я мечтал строить жизнь, вместо этого ее играю, да если бы жизнь-то играл! Знаете, у Толстого князь Андрей Болконский всего достиг и разочаровался. До чего же приятно мне было читать о нем! Я ничего не достиг. Нет, достиг чего-то, а душа не на месте. Темно впереди. Не раз, бывало, я писал друзьям: темно. Так это был гиперболизм. Не знал я тогда страшного значения этого слова.

— Может, и сейчас гиперболизм?

— Не-ет. Зимой я оставлю Москву.

— А я создавала себе лесной домик, убирала его и приглашала туда самых близких. Дом был с мезонином, с верандой, широкими лестницами и садом. Сначала у меня было много гостей, но потом одни ушли сами, других прогнала я. Вы по-

явились позже всех. Мой дом захирел, крыша прохудилась, колодцы высохли, печи дымили. Когда я впервые познакомилась с вами (по кинофильму), я кинулась наводить порядок и пригласила вас. Мы были совсем одни. Так что мы давно знакомы. Вы просто забыли. Два года назад я на Новый год была в шумной компании, устала, ушла в другую комнату и заснула. Меня разбудила подруга: «Спишь! Ты меня не любишь, бросила!»— «Люблю,—сказала я. — Тебя люблю и еще люблю Телепнева». —«Почему Телепнева?»—«Не знаю».

— Долго же вы шли ко мне.

— Три года. Я Москвы боюсь, я бы раньше нашла *вас.*

— А я мог не ответить на ваше письмо. Плохое настроение было. Вы бы больше не написали?

— Сейчас, когда я с вами, кажется, что написала бы. Мне было бы тяжело осмелиться. Кто я? Мало ли вам пишут. Я ни на что не рассчитывала.

Вот такие были у них разговоры в тот день. Но еще были паузы, взгляды, смутные волнения, потаенные мысли, да как и кому это передать?

Напоследок же К. сказала ему:

— Я так вас люблю, а вы уезжаете...

Глава пятая

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

I

Нельзя сказать, будто Наташа смирилась с долгими отлучками мужа. Нет. Ее удручало одиночество, но она все-таки заставила себя привыкать помаленьку. Такова уж была у Егора скитальческая доля.

Первое время Наташа сходила с ума, ревновала, боялась за свою семейную жизнь, а ехидная подруга подбивала ее завести любовника. Наташа противно морщилась. Как это?! Лгать, срываться на свидания, а главное,— тут она вся передергивалась, — позволять какому-то чужому мужчине ласкать ее, тянуть наскоро в постель, и потом замазанной, гадкой идти по улице домой, к детям? Точно кто-то проводил по ее телу шершавой наждачной бумагой. Да что! — ее от одних секретов подруг прямо тошнило. «Хватит вам! да ну вас!»— сердилась она. Ее изумляла бессовестная откровенность женщин, поднимавших альковный полог; она всегда при этом молчала и с еще большей нежностью и тоской вспоминала Егора и благодарила бога за то, что он не давал им воли трогать словами ночную тайну. Не было в мире человека, которого бы Наташа сокровенно коснулась без любви; без любви все ничтожно и пошло. Егор у нее первый и последний — так она нарекла себе и так считала в дни счастья и в дни обычных размолвок. Ничто на нее не влияло: ни истории в книгах, в кино, ни сплетни по телефону. В большом городе, где всегда просто спрятаться, грех кажется легким, заманчивым; у многих он вызывает зависть; постоянство, работа, стирки, прогулки с детьми притупляли чувства женщин, и однажды они сердито восклицали: «А что я видела?!» Хотя бы раз в неделю рискнуть на обман, с дрожью (от любви и боязни) блуждать у метро глазами по толпе, идти на чужую квартиру и будто впервые целоваться с кем-то, кто к тебе еще не привык и дорог непонятно чем! Некоторые годами живут с этой неразрешимой мечтой: хорошо бы закрутиться и мне! И тем не менее бесконечными романами опутана жизнь. Вспоминают потихоньку супруги дома отдыха, скамеечки, музыку, и кажется им, что там было такое счастье, какое только снится. Пошла еще странная мода на стариков. Наташа с тревогой думала иногда: а у них с Егором? Идеальное исключение? Это благо, редкость, если так. Егор один жить не смог бы, над детьми дрожал, и постепенно Наташа до того успокоилась, что перестала сторожить свою подозрительность, как это бывало тогда, в первые месяцы студенчества Егора и в начале совместной жизни. Слова Фета теперь ее не трогали, и она как-то купила сборник, перечитала и захлопнула с чувством, что это уже для кого-то, а воспоминание об их прежнем пылком звучании почему-то ее не растрогало: было — да, и было ей хорошо, но ведь все обошлось без драм и сожалений, Егор с ней. Она стирала, готовила обеды, купала и лечила детей и была довольна. У нее в квартире все блестело, чуть маленький непорядок ее раздражал, даже вспухала жилка на левой руке, повыше запястья. Егору, не приученному в Кривощекове к чистоте, поначалу приходилось несладко, они ругались, но наконец решили так: «У каждого свои недостатки; ты терпишь мои, я твои». Он у нее выходил из квартиры как на парад, но когда возвращался со съемок издалека, Наташа и дети видели все того же кривощековского Егорку — охламона: он там где-то прыгал, играл, валялся в гостиницах, рубашки не гладил и галстуки растерял. Его вынуждали сбрасывать с себя все прямо у порога и толкали в ванную. Она его, такого небрежного к себе, иногда ждала со слезами на глазах: ну когда же он явится?! Он звонил, писал, этого было мало.

Однажды Наташа вытирала пыль на книжных полках и наткнулась на дневник Егора.

— Не могу читать свой дневник,— говорил он ей как-то.— Ненавижу там себя. Писал, когда грустно было. Бесконечное нытье, надо бы порвать, что ли. Сжечь!

— Не читала, не знаю.

— Да бери хоть сейчас.

До двадцати лет Егор в выражениях не стеснялся. В дневнике накопилось много правды о себе, до стыда много. Такая нагота откровенности возможна разве в молодости. Стиль его не знал ни эвфемизмов, ни эзоповых хитростей, ни айсбергов. Все на непосредственном языке. И это-то стало жутким и неприличным для взрослого Егора. Теперь дневник казался и протоколом душевных порывов, и обвинением в глупостях, и списком утраченных иллюзий. От половины слов хотелось

отречься. Столько матерщины, скабрезных ситуаций, размышлений рядом с голубиными помыслами о любви, дружбе, о служении искусству, даже о подвигах! Человек уже видит себя вдалеке приятнее, удачливее, выше и вдруг в старых записях находит себя таким, каков он был, со всеми нечищеными потрохами. Но Егор и без дневника знал, что лучше, чем он был тогда, он так и не стал. И в случайный час возвращения назад с помощью черной кривощековской тетрадки, начатой еще в школе, становилось горько.

Все правильно: писать дневники —значит оставлять материал для будущих огорчений, стыда и ненависти к самому себе. Читать их в зрелом возрасте — значит без конца сокрушаться: как неправильно жил! как глупо тратил время! На что жаловался тогда? — ведь все еще было хорошо! И какое это несчастье — снова, в каждой черточке, узнавать себя, понимать, как многое, чему поклонялся, наскучило и отлетело. Записанное гнетет сильнее. Не ведите дневников о себе! Пишите о времени, об исторических лицах и событиях, никому не нужны ваши душевные болячки, ваше плохое настроение, семейные раздоры и тщеславные страсти! Самим будет противно; все полетит в мусорник или в огонь. Пишите о том, что интересно всем...

Наташа раскрыла дневник, увидела даты и аж вспыхнула: что же там? может, есть и про нее? Где он бывал до нее, при ней? с кем? что затемнилось?

Сколько о дружбе! «Где ты? что с тобой?» — постоянно: и в девятнадцать, и в двадцать пять лет, и в тридцать. И так же, как все, искал Егор поддержку в изречениях. «Талант ничто. Главное: величие нравственное» (В. А. Жуковский). Это он выписывал на последнем курсе, без нее, они тогда растерялись, за ней ухаживал инженер, и чуть было она не сдалась. Вот еще, через год, слова Саади о возрасте и творчестве. Сторонняя мудрость вселяла надежды: все и у тебя будет именно так. Вот заклинание самому себе: «Не надо тщеславия, выше головы не прыгнешь, но совсем не прыгнуть, похоронить свои силы, тихонько шкандылять до старости из-за зарплаты — скучно. Лучше надорваться, чем не пытаться вовсе. Ведь *наше* не комар на хвосте притащил». Наташа позабыла: до замужества она благословляла Егора на прекрасные сумасбродства,— он такой вот, беспокойный, ни на кого не похожий; потом она сдерживала его и подшучивала над ним. Немножко обидно было читать то грустное, что писал он в годы жизни с ней: «Устал, все до феньки. Тупею не по дням, а по часам. Жизнь кипит, я зашиваюсь. Как дальше будет, так и ладно, слова ничего не изменят. Уехать бы из Москвы!»

Всегда думала Наташа, будто хорошо изучила своего мужа. Ан нет! Знала его так, по-домашнему, ценила его способности, верила в его везучесть, но, во всесилии быта трудно соглашаться, что мужу дано свыше и целебно еще что-то — кроме дома. Когда он ухаживал, она разгадывала его всякий день; а теперь — уже пять лет — он был весь-весь ясен ей: муж. Если он грустил и молчал по целым дням, то что она должна была отгадать? Значит, дуется за что-то. В дневнике ни слова о ссорах. Зато есть дни, описанные им так, что только она могла воскресить, где они проводили время и как утешались. Тут Наташа огорчалась: мало, оказывается, можно насчитать таких дней! Сердилась: ездит, ездит, а она душит свое чувство наедине.

Кое-где между страниц слиплись листочки писем от друзей и знакомых, он не все письма читал ей вслух.

Она разворачивала то одно, то другое.

Свербеев: «Уже падают листья, тучи хмурые почти по земле плывут, а я с рюкзаком разъезжаю по земле псковской. Не заметил, как улетели грачи. Говорят, псковские грачи зимуют в Париже. Занятость моя велика. Удивляюсь, откуда силы берутся. Как и прежде, меня приводят в восторг творения рук человеческих, не устаю любоваться ими. Диво дивное. Встречались церкви, где и надгробные плиты сохранились. В иных усыпальницах, как и водится, все расковыряно кладоискателями. Стараемся, работаем, описываем как можно обстоятельней. Иной раз в день по 20 верст шагали, меряли, снимали, описывали, а утром ранним снова в путь. Часто вас вспоминали, «изборцев», во владениях Строгановых, в Дорогинях, вы там бывали. Я все еще надеюсь, что вы приедете. Уже обмерил «талии» церквей: Успения с Парома и Воскресения со Стадища, двух часовен на реке Великой. Обследовал и описал в Бельском Устье громадину — вотчинский храм Успенский. Да еще могилу князя Гагарина нашел... Он моего деда защищал от гнева царского. Правда, приезжайте. В Наумове на Житицком озере посетим усадьбу, где жила мать Мусоргского. Оттуда вся Русь видна! В псковском кремле готовим открытие мемориала в честь победы Александра Невского. Еще не скоро. Приезжайте! Мы так заметно стареем. Здесь все будут вам рады. Наташе привет. Когда же мы встретимся?! Жабьи Лавицы. К. С.»

Письма от Дмитрия, Никиты, Антона. Ну, это известно: где, когда встретимся? мой милый! держись! мы еще, мы... Уничижения, восклицательные знаки, полная откровенность. Наташа улыбнулась и с гораздо большим интересом взяла письма Владислава. Что писал этот дамский угодник?

«Сир! Как жаль, что именно сейчас тебя нет со мной! Я бодро бегу по тропам современности — кё фер?[1] Снимаем фильм века. В горах божественно хорошо! Вотще! Уже впереди Москва, и так неохота окунаться в нее без душеньки, без милашки, без ненаглядной девчушки, которая бы ждала меня, теплая, заспанная, в рубашечке с розовым бантиком на груди. Но ах! мечты, мечты... Женюсь

---

[1] Que faire? — что делать? (фр.).

я, пожалуй, на юной кривляке, ребенке, по крайней мере, рвусь к ней, волнуюсь, ревную, т. е. живу. Я царь еще! А в Москве ороговею душой; опять младенчески голубоглазый и бессмысленно-добрый Ямщиков и византийски путано-умный Панин, который торчит как чертов палец. У нас с одной стороны — бездуховное мастерство и деловитость, а с другой — тупость окаянная и бессмертная темнота. Вот и подавайся куда не знаешь сам. Нет соединения основы жизненной с интеллигентностью и культурой. Но вижу в каждом дне, если мне не мешают друзья и вакханки, дар божий, свалившийся на меня невесть за что. Жениться бы, да на ком? Не серчай на меня, мой милый, обнимай Наташу — твой и уже, видно, навсегда бобыль Владислав».

«А у-умный», — похвалила Наташа грозно.

И надо же было ей найти одну неосторожную запись!

«Опять влюблен — нежно и... неуверенно. И уже смешно как-то: как это все опять будет? Уж все пройдено, и вот опять снова то же. Опытный человек смотрит на глупого, молодого. И забавно все это, так как не за чужим дураком наблюдаю, а за собой. Мороз! Хочется жить. Ей приходит туз, король, валет и мелочь. Сносит бубей и заказывает 10 без козыря. Проверяем — у меня третья дама. Мороз. Хочется жить. Фонари горят! Просто жить...»

На листочке. Год, два назад? Или давно? Где, с кем?

Она помрачнела, легла на диван боком и смотрела в зеркало. Незнакомое страдание заполнило душу. «Влюблен нежно и... опя-ять». Все маленькие пустые обиды, которые ничего не значат, если жизнь вместе идет ровно, вспомнились и сложились одна к одной. Во всем хотелось укорять его. Егор стал виноват в том, что родился в Кривощекове, ходил на танцы в другую школу, морочил ей голову целых три года и что выбрал себе киношную профессию, ездит и ездит. Разве это муж? Припомнилась ей Верея, музыкальная школа, Евлампий за чтением «Дон-Кихота» и страшная тоска после занятий, когда все утешение в радиопередачах; припомнилось и Устье, в котором она покорилась Егору и ничего тогда не поняла: хорошо это или плохо? Она думала и поглядывала на себя в зеркало, отмечая, как свежа и обаятельна еще. «Подумаешь! Им можно, а нам нет?» Она так и выразилась: «им...» На нее сошла вольность — кого она не кольнет! «Такая красота пропадает...» Это были слова все той же подруги. Досадуя, негодуя, любуясь собою, Наташа сейчас как будто соглашалась с нею. То есть она не отчаялась еще следовать советам, а просто подумала: «Да, я красива, и...» Но как устроен человек! В том, что ее наказали, обманули, предали, была не одна обида; ее неиспорченное существо в какие-то секунды — страшно сказать! — торжествовало оттого, что Егор опозорился и стал ниже ее, грешнее, и она теперь вольна хотя бы подумать о том, чего боялась! Такой смелости хватило на секунду. «Ах, негодяй, негодя-яй... — проклинала она удивленно. — Это же мужики-и... Плуты. И он плут. Разве они вытерпят отказаться? Нет святых, нет, нет, нет. И пусть не смеет прикидываться. Я тебе сказала: все! Значит, все! — воображала она сцену с Егором.— Можешь проваливать. Тебя там ждут. Не дурочка, не бойся,— я давно все вижу. Жалею, что раньше не ушла! — лгала она, и так заразительна была эта угроза, что хотелось убивать и убивать мужа.— Что я видела с тобой? Горшки, майки, сумки с бутылками? Таскала, дура. Ты-ы? Ты помогал? Ах, мусор он выносил! Я тебя и не перебиваю, нечего мне слушать, пусть тебя *там* слушают и восторгаются тобой, твоей фак-ту-урой, гамлетовскими ногами! Ты посмотри на себя, на горбатую свою походку! Я все про тебя знаю. Доездился. Живу — никаких воспоминаний. Никогда — слышишь! — никогда не прощу! — Егор что-то возражал, «вякал», стоял истуканом, виноватый еще более, чем всегда, когда она нападала ни за что и через час просила прощения.— Чего стоишь? Тебя ждут, поезжай, и пусть она тебя любит «нежно, нежно». Еще не знаешь? Она тебя выжмет и выбросит, и кому ты нужен? Не может этого быть,— бросала она разговор, чувствуя, что ждет его еще сильнее.— Не может же он после меня, после всего, что он... Я знаю! — Она покосилась в зеркало.— Ему так хорошо со мной... Я знаю... Негодяй, негодяй. Разве он любит меня? Измена... Это так просто. Конечно».

В дурашливом добром настроении Егор подразнивал ее чем-нибудь, читал, например, ей какие-нибудь строчки стихотворения или романа, которые к их ситуации никак не относились. Обнимал ее и завывал: «Притворной нежности не требуй от меня, я сердца своего не скрою хлад печальный...» И отходил, дергался, и она смеялась ему вслед и тоже дразнила каким-нибудь словом, опровергая смехом, интонацией печальный смысл того, что было там, в стихотворении ли, в романе: это не про них же, это они так, шутят в счастливые минуты.

Сейчас она повторила строки серьезно. «Ты права, в нем уж нет прекрасного огня моей любви первоначальной...» Что ж, разве оно зря писалось, выдумано? Со всеми, наверно, бывает. Наверное, двоим и правда не хватает чувства на долгую жизнь вместе. Грустно, но, видимо, так.

Наташа подошла к полке, еще раз полистала дневник. Уже не трогали ее строчки о дружбе с сибиряками и возмущала частая грусть Егора, не жалко было его, наоборот: все ему грустно, все он, видите ли, не удовлетворен и не нашел себе идеала! Само слово «идеал» заменяла она мысленно равнозначным: «женщина, я, Наташа», это она, значит, не дала ему крыльев, и не нашел он в ней, выходит, того, чего искал. «Негодяй, негодяй...»

«И вообще, я жутко устал, до того устал, что...»

Отчего бы он устал? Разве другие меньше устают?

«Зря мы жизнь ругаем, она нам такие подарки дарила, она нам друг дружку подарила. Если я останусь без вас, мне будет так грустно...»

Все уши прожужжал своими друзьями — какой младенец! И жил бы с ними, и нечего было жениться.

И еще раз воровски, словно сейчас подкрадутся сзади и подглядят, пробежала Наташа глазами поганые строчки.

«Мороз! Хочется жить. Ей приходит туз, король, валет и мелочь».

Она забыла! Преступница.

Давно уже Егор приезжал к ней в Коломенское и учил ее играть в карты. Был в самом деле мороз. Тогда до Коломенского метро еще не протянули, она провожала его на автобус. В тот вечер она была с ним так ласкова, так нежна. Да, великое счастье — начало любви. Сказка. Куда это уходит? Все теперь так далеко.

Залежались в дневнике и ее письма. Ее опалило стыдом, будто она прочтет сейчас свои признания в присутствии чужого человека. Так вот что она писала, какой была, как стремилась уцепиться и не отпускать! Нелегко достался он ей, зато как скоро привыкла она к своему положению. Даже повелевала по мелочам. Кажется, ловила бы всю жизнь любое его слово, вечно молилась на него, а потом? Что писала-то, погляди, погляди,— подталкивала она себя, пойманная самой собой.

«Бог мой, сижу и плачу. Оказывается, я в самом деле ребенок. Совершенно неисправимый. Ну, где ты? Нужен ты! Очень! Его-орка! Плохо мне! Презираю себя. Не могу взять себя в руки. Что делать? Где ты? Плачу. Презираю себя. Как успокоиться?»

И так далее и тому подобное. О ужас, ужас, как все это далеко!

Наташа смочила тряпку и принялась снова обтирать и переставлять книги. В отдельный уголок составила те книги, которые он ей дарил. В надписях, неизменно горячих, тоже застыло эхо их жизни. Она любила Егора, она ни с кем не сможет начать новую жизнь. Но что за мука — ждать! Где он? Смотрит ли по субботам программу «Время», как обещал? В минуту позывных они договорились передавать друг другу приветы. Наташа проверила часы, включила телевизор и села в кресло с тряпкой в руке. Внезапно ей послышался громкий стук в дверь. Егор, возвращаясь издалека, не звонил, а стучал. Она вскочила с улыбкой, с приветствием в мыслях, быстро щелкнула замком. За порогом было пусто! Никого! Но она же ясно слышала стук! Старая народная примета испугала ее: это стучал тот, кто позвал близких перед бедой, может, перед смертью. У них в Коломенском во время войны женщины тревожно верили в это. Наташа молитвенно приложила руки к груди. Сзади подбежали дети. И она почувствовала, когда они прислонились к ее ногам головками, всю беспомощность своей жизни без мужа.

2

У Егора была мечта: уехать из Москвы навсегда. И чем раньше, тем лучше. Раньше — не значит завтра, хоть лет через пять бы. И только в Кривощеково, на родину! Наташу свою, кажется, уговорил напрочь, а может, она потому и не возражала, что в очередную безумную затею не верила. Както утром он рассказал сон. Впервые после того визита на первом курсе он видел во сне писателя Астапова. Астапов возник ниоткуда и подошел к нему близко, в одно мгновение покорив опять Егора умным взглядом очень одинокого человека. Астапов забрал его у товарищей, с которыми он почему-то обсуждал сложный вопрос, ехать или нет ему к К. в Ярославль, и повел куда-то в гору. На поляне под солнышком паслось стадо рябых коров. Сверху катила на тележке старуха и кокетливо звала к себе ручкой Астапова,— Егор со стыдом узнал Лизу, она была в гриме, ее издалека снимали операторы. Откуда-то донеслась русская песня. Егор оглянулся: внизу текла Обь, и за мостом свинцово тускнел купол оперного театра. Там-то и пели знаменитое «Славься!» Глинки. «Давай послушаем,— сказал Астапов и сел на траву, склонил подбородок к коленям. — Не щиплет глаза? Погляди на дом свой». Егор потрогал глаза и проснулся.

Бывают минуты, когда вдруг мысленно обежишь все уголки страны и то там, то тут вытянешь памятью знакомых, близких, родных и даже тех, кого позабыл. Вот его душа где-то томится, летит, стихает сейчас; и ты, и он, и остальные еще живут в этом времени. И Астапов живет, и за беспокойными днями и собственной нуждой мало кто ценит это, дорожит, а ведь это чудо, когда в один дни с тобой, в те же минуты, ходит по земле такой большой человек. Пусть далеко даже.

Три года назад попал Егор на какое-то торжество молодых, отобрали после речей несколько человек и поехали к Астапову в деревню, где давно-давно купил он себе двухэтажный дом. Отбор был строгий, Егор ни по каким статьям не должен был попасть в эту группу, если бы не настоял на своем Ямщиков. Вышло как-то так, что созвали туда не самых лучших, во всяком случае.

За двенадцать лет Астапов постарел, но так же прекрасны были его выпукло-печальные мудрые глаза. Несмотря на его шутки и компанейскую раскованность, сердце ловило в нем приметы мыслящего художника. Он-то понимал все и чувствовал всех. Вокруг него топтались какие-то люди, мешавшие подступиться к писателю и задать вопросы. Он несколько раз освобождался от их назойливой опеки, но они опять сжимали его плотным кольцом. Астапов курил одну папиросу за другой и шутил. Егор стоял на бугорочке, метрах в четырех-пяти, и хорошо видел Астапова через головы,— он его сейчас любил еще больше, чем в юности, и глазам своим не верил, что Астапов рядом. Хотелось награждать его самыми крайними

благородными эпитетами. Егор видел этот людской кружок, стеснивший писателя, и речку, мерцавшую в багровом закате, и лесок на другом берегу, и поля с чередою берез, и небо; чувствовал висевшую над окрестностью тишину; отмечал свои мысли, чем-то характерным поражали его большие уши писателя, нос, резкая нижняя губа —«все крупно, талантливо!»; слышал смех, словечки, робкие вопросы, *его*, наконец, советы.

— Хочется сокровенности. Носить кукиш в кармане нельзя. Не бойтесь посыпать соль на старые раны, единого мнения быть не может, но и ниспровергать, глумиться над родным, распускать тление — тоже великий грех.

— Старики еще нужны нам. Дубовые угли дольше хранят жар под пеплом. Ветерок дунет, и угли вспыхнут снова...

— Свое прошедшее мы знаем плохо. Снимайте, играйте хорошие, подробные биографии российских лиц. Сколько оригинальных русских характеров угасло в неизвестности. Нам надо знать самих себя, чтобы самими собой и остаться. Кое-кто носится по Европе из гостиницы в гостиницу, не прочь поморщиться издалека на свои родные «варварские» нравы. Пусть там и живут. Нам хорошо дома. Лучшее украшение нации — лица, богатые дарованиями и самобытностью. Надо быть личностью. Все поймут, что то, что прекрасно в вашем герое, прекрасно и в жизни.

— Вот она, красавица, стоит! Пусть она сыграет нам образ женственной целомудренной современницы. Где же они? Охота вам показывать одни голые коленки?

И что-то еще, Егор не расслышал да и перебивали Астапова вопросами.

«Мы не знаем,— думал Егор при прощании, последний раз глядя на астаповскую седину и пожимая жесткую руку,— какие бессонные ночи он проводит, что думает в одиночестве, каково ему, с такою душой, вообще... Мы привыкли, что он знаменит и почетен, и это значит, по-нашему, что счастье с ним. Но так ли?» Всю обратную дорогу он грустил отчего-то. Вспоминал сплетни об Астапове и лишний раз убеждался, как досужи люди искать пороки, и все, к чему самих бог не призвал, отрицать и опрощать. У писателя спросили, когда он закончит новую книгу. «Дайте время на переживания»,— ответил он хмуро. В нем по-прежнему сохранялась тайна, он берег ее, и Егор теперь решил, что так и надо. Сколько его собратьев не имели никакого достоинства! — как мальчики бегали по коридорам киностудий и пропихивали свои скороспелки, летали на все заседания, отмечались выступлениями к датам и учили, учили банальностям людей, которые были выше их. Егора Астапов не узнал, но когда пристально отвлекал взгляд на него много раз, он готов был отречься от самого себя. Лучше, если бы не припомнил! Чем было похвастать перед ним? Слава богу, что Астапов не смотрел фильмы, в которых Егор снимался. Даже хорошие, даже наделенные премией за рубежом, теперь, в эти минуты, оборачивались неправдой. И спрашивать не надо, нравится ли ему лента, в которой играл Егор древнерусского князя. И спорить язык не повернется; с другими — да, он бы еще постоял за нечто дорогое ему, пусть и в заблуждении дорогое, но чувство жизни Астапова, святость его заповедей и тайная суровость устыдили бы его моментально.

В последние годы много твердилось по домам о совести. Астапов и был этой трагически непонятой совестью. Люди, люди! — укорял Егор, вспоминая злые брезгливые лица, когда упоминалось в разговоре имя Астапова. — Они еще хотят правды, честности, понимания. А сами? Сами же не наберутся в душе этого чувства справедливости к другим, к тем, кто без крика несет в себе святую правду. Фронда, фронда, и ничего больше. Если страсть к правде столь велика, то почему не нужен Астапов? Почему засыхает в одиночестве Ямщиков? И почему Астапова опутали серые ничтожные людишки и он перед ними в быту беспомощен как ребенок? Он одинок! — заключил Егор и испугался своего вывода. — Он ищет утешение среди неизвестных, и, может, охотник-мужик ему дороже прочих, кто к нему ездит с вопросами и фотокамерой. Хорошо, что Егор не лип к нему, не толкался в куче страждущих «приобщиться». Со стороны даже яснее все стало. Он его любил и понимал, и этого достаточно. Не надо ни о чем его спрашивать. Он сказал все давным-давно, и то было его главное слово. Чего еще? какие вопросы? заче-ем?

Возбуждение не проходило долго. В пылу он отказался сниматься в трех фильмах, упуская возможность прославиться, ну не прославиться, так по крайней мере утвердить свое имя. И его удивило, когда многие не поверили его искреннему пренебрежению к сценарию, в котором царствовали жестокость и ложь,— ну и что, мол? зато роль какая! Но его остановила совесть, хотя ссылался он на усталость. То, как хватали в руки что попадется,— лишь бы чем-то занять их, не выпасть, крутиться в колесе,— было противно. Жизнь была выше и прекрасней, и душа еще не зачерствела.

Именно в эти дни опять потянуло домой, в Кривощеково. Потом замотали заботы, приболели дети, подвернулась славная маленькая роль, он уехал и стих.

Сон об Астапове снова его расстроил.

— Сел бы ты на самолет да полетел к Димке,— сказала Наташа. — Успокоился бы.

— А отпустишь?

— Хоть сейчас!

— Нет! — сказал Егор. — Никуда я сейчас не поеду. Во-первых, съемки, на два-три дня лететь — только гусей дразнить, а во-вторых... Попозже, попозже уеду куда-то.

Он придумал уже — куда, и Наташа догадалась.

Егор пошел к окну. В проулке затерся старин-

ный дом поэта Веневитинова. Егор тысячу раз смотрел отсюда и думал о чем угодно, только не о поэте. В студии профессор читал им наизусть стихотворение «Жизнь»; где-то оно в тетради.

— Наташ! — позвал Егор. — У нас нет сборника Веневитинова?

— Ты у меня спрашиваешь! Подойди да поищи.

— Тебе лень вспомнить?

— Нужно — найди. — Она, видать, одумалась и пришла. — Зачем тебе?

— Да так...

— Дурью маешься.

— Там у него первая строка: «Сначала жизнь пленяет нас...» А как дальше — не помню. Тетрадки мои с записями лекций не видала где?

— Вся твоя жизнь «до нашей эры» у тебя в чемоданчике.

— Остришь? подкалываешь? Всех вас опишу в мемуарах. Выведу!

— Не забудь вывести себя, ладно? Как ты встаешь и неумытый раскладываешь пасьянс. И ворчишь, как старикашка.

Егор прилег в своей комнате на кушетку. «У меня три свободных дня, Наташка отпускает, а к другу я не поеду,— сложилось в голове начало письма к Дмитрию. — Извини, друг, вот и жена говорит, что стар стал, жизнь мозги сушит!»

— Нету твоего Веневитинова! — крикнула от полок Наташа; старалась все-таки, искала.

— Ладно. А где бы достать учебник по истории для школы? Изучать буду.

— Совсем чокнулся?

— Я в Самарканде как-то наткнулся — интересно. Другими глазами читаю.

— Лечиться тебе пора. Ну кто это в твои годы станет читать учебники для пятого-шестого класса? Там же ничего нет, кроме крестьянских восстаний!

— Да еще бы те, по которым мы учились. Очень интересно.

— Малахольный. Довели тебя командировки. Фигурное катание смотришь.

— Нет, вы всегда были наглы, Наталья Георгиевна, и напоминали мне спартаковских болельщиков. Вы, пожалуйста, не указывайте мне, смотреть мне или не смотреть фигурное катание, или учебник листать. Ведь я все равно из фигурного катания вынесу то, чего вы не вынесете даже из романа Грэхема Грина. Занимайтесь, матушка, своим делом.

— А у меня все в порядке. — Она стояла в дверях — руки в бока, чистенькая, милая хозяйка-жена.

— А у меня бардак. И в голове по-олный бардак.

— Так это давно всем известно. Великий человек.

— Ага.

— Тонкая натура, а жена опростилась,— дразнила она его прежними выговорами в ссорах,— ты бесконе-ечно одинок. Веневитинова читать не с кем...

— Зато Фета читал...

— Когда это бы-ыло! Ты меня и не любил тогда.

— Начинается. С тобой развожу-усь и уезжаю в Кривощеково. Детей поделим.

— Когда назад вернешься?

— А скоренько.

— Ты мне вот что: сними сейчас же рубашку. Я обижаюсь, неужели тебе трудно меня послушать? Не вынуждай меня. Терпеть не могу.

— Ложись-ка рядом, так оно тоньше будет.

— Спешу. — Она села у него в ногах, Егор подтянул ее за руку поближе.

— Я заберу у бабушки ребятишек, а ты письмо напиши. К вечеру поедешь, привези яблок. Или — будь хоть раз хозяином! — отнеси белье в стирку. Я то замочила, постираю, а погрубее сдадим.

— Что за это мне? — Егор привлек ее к себе.— Сострой глазки.

— Ве-е-ечером... — повредничала она и встала.

«Пришел в прачечную, бабы в очереди ругаются, а мне в самый раз письмо тебе сочинять». Но очередь, как на грех, подвигалась быстро. Рука только разбежалась, едва успел Егор ввести друга в круг своих настроений, надо было уходить.

В пять часов Дмитрий позвонил сам.

— Ты где-е? — заорал Егор.

— Дома. Звоню по автомату. Что делаешь?

— А ничего, Димок. День-дребедень. Начал письмо к тебе. Наташка гоняла меня в прачечную, там в уголке хорошо писалось. Кричит вон: «Один раз поможет — всем расскажет!» А ты чо? Слушай, голубь, приезжал бы в гости! Я тут буду болтаться в окрестностях Москвы. Бухара отпустила на месяц. Все думаю: сколько езжу-летаю, а никак в твои края не попаду. То не берут, то сценарий барахло. Посидели бы, потрепались, в шахматишки сыграли. Ну чо делаю, чо делаю! С детьми телевизор смотрел, гулять водил, на лошадях хотел покататься — не вышло. Да в прачечную вот... Во сне Астапова видел, засобирался было в Кривощеково совсем, но у меня ж жена хитрая, такое разрешение даст, что лучше не ехать. Они умеют. Кричит: «Не нужен ты мне! Можешь на сто лет завеяться».

— А в Ярославль не ближе?

— Я разве не писал? Я ж тебе большое письмо послал. У тебя дома цензура строгая? Можно?

— Пиши все, у меня письма не распечатывают.

— Моя вон дневник нашла, ревела как белуга, а оказалось, что там про нее. Кричит опять: «Надо еще проверить». Я тоже так думаю, Скотланд-ярд ей помог бы. Да приезжай ты. Я уж давным-давно никому не пишу. Только сам в ящик заглядываю аккуратно. И уже совесть меня мучает — столь низко я пал. Бывало, не пропу-

скал недели, чтоб... А тут... Сколько всего — и ничего никому. Не тянет. Тут пронеслись события эпохального масштаба,— как, к примеру, проезд и кратковременное пребывание на пути следования de Paris в Кривощеково notre ami мосье Никита Бусыгин, который подарил мне à quelques soirez de Paris[1] на моей кухне с «мирабель» (французская самогонка типа сливовицы) — ничо! очень интеллигентная хреновина, да еще под записи на магнитофон парижского радиовещания: под нежнейшую шелестящую музыку нежнейший женский голос с придыханием объясняет, откуда — куда и почему перенесли в Париже такой-то переход и какой по такой-то улице новый дорожный знак появился. Да прибавь к этому интеллигентнейшего международного, среднеевропейского собеседника напротив — в трусах, с «мирабель» в одной main[2] и с сигаретой «Poyal» в другой! Я не поручусь, что кто-нибудь не мог иметь такой Париж где-нибудь на rue Rivoli, какой я имел в эти deux soires[3] у себя на кухне, с видом на дом Веневитинова. В мосьё Бусыгина я влюбился чуть ли не по новой и, как дешевая гризетка, добивался хотя бы намека на взаимность. Достойная величия личность. Проблем много: очень ему надо ввести в свой кривощековский обиход французскую кухню. К сухарикам он меня уже приучил, нынче с утра грызу. Очень, очень приятное впечатление от мосьё. Можно понять женщин, у которых голос менялся, когда...

— Понять девочек de belle France?[4]

— Ну. Им можно по тому же французскому радиовещанию послать искренние соболезнования. Колосс, колосс, теперь я понял, что нет у нас скульпторов...

— Ха-ха.

— Много там еще монет?

— Штук восемь есть.

— Ну, потреплемся. Чо еще? У меня три дня набежало свободных, но куда? Я ж с детьми почти не бываю. А то б к тебе. И тоскую.

— По ней?

— По тебе, дурак. Наташка кричит: «Совсем чокнулся!» А нам ведь не привыкать, я вроде из дурдома и не вылажу, сроду был не того. У тебя все в порядке? Когда же мы встретимся-то? Это ж что такое! Это мы уж вечно так будем. Мечтал я свезти вас всех в Кривощеково — куда там! Сегодня погоду передали: в наших-то краях тепло. Обь широка. На карачках пополз бы домой.

— Создашь положительный образ современника, воспитаешь современницу из Ярославля, порядок в родном искусстве наведешь — тогда отпустим.

— Ага, там наведешь, пожалуй. Да приезжай! Пока я в Москве. Все так же мечтаю об отпуске. Кланяйся своим. У меня в голове полный бардак, ну полный. Погутарим.

— Напиши мне. Понял? Как в юности. На десяти страницах. Ты счастливый, люби всех, пока любится, понял?

— Понял... — сказал Егор, но Дмитрий его уже не мог слышать.

Поболтали ни о чем, а на душе стало так хорошо. В седьмом часу телефон затрещал еще.

Звонок был не к радости.

3

Незаметно расходятся жизненные пути.

Мы не равны уже в детстве (на улице и в школе), но что из этого? Живем на всем готовом, и, чем бы ни задавались перед сверстниками, мы еще одинаково беспомощны и одинаково сильны в нашей маленькой жизни, а будущее наше неясно. Высокие отметки, звонкие голоса декламаторов, любовь учителей ничего вещего не пророчат: что-то там впереди раскроет нас до конца и уготовит каждому свое место.

Пути расходятся.

Когда-то в студии разбередили Егорово сердце рассказы профессора о друзьях и товарищах Пушкина по лицею. Какое было начало и какой конец! В лучшие дни, тоскуя, получая письма, ему казалось: и у них, сибиряков, дружба какая-то прямо лицейская, и они тоже, каждый по-своему, провожают годовщину окончания школы меланхолической думой. Другой век, другие люди, а все те же мечты, обманы, наслаждения и ошибки несет возраст.

Шли годы. После ссоры Антона с Никитой прежний радостный ожог от знакомого почерка Антона на конверте сменился искоркой сожаления: почему письмо не от Никиты или Дмитрия? и что отвечать Антону? До поры Егор стыдился своего нового чувства. Рано или поздно надо было делать выбор. И за три года надоело делить свое сердце на две части. И при этом — неравные части. На отдыхе в Кривощекове тошно было уходить к одному так, чтобы не знал другой. Еще было жалко утраченного дружеского союза и никого не хотелось обидеть. Никита вел себя спокойнее и умнее; Антон свирепел и поедал глазами: ты, мол, от *него* явился ко мне, я вижу! Они разошлись, за них неудобно, а ты же еще и виноват. Кто не попадал в такую ловушку?! Та же волынка затевалась накануне отъезда: надо было обмануть и не пустить прощаться Антона на вокзал, потому что там у вагона будет стоять Никита.

Однажды двусмысленности наступил конец. Егор написал Антону, что пора им забыть друг о друге. Ссориться, мол, не будем, выяснять отношения на бумаге — тоже, расстанемся навсегда, потому что все в душе сгорело и назад возврата нет. Дружба — не терпение, а радость. Ответ при-

---

[1] ...из Парижа... нашего друга... несколько парижских вечеров... (*фр.*).
[2] руке (*фр.*)
[3] два вечера (*фр.*).
[4] прекрасной Франции (*фр.*).

шел жуткий, уничтожающий, но определенность принесла облегчение, камень с души свалился.

И вдруг звонок от него!

— Приветствую тебя, Егор Владимирович,— кричал в трубку Антон как ни в чем не бывало,— я на Ярославском вокзале, до отхода поезда — час. Не смог бы ты оказать любезность и приехать? Вагон шесть.

— А зачем?

— Есть важное.

— Скажи.

— Ты же, полагаю, понимаешь, что если бы я мог сказать по телефону, я бы не звал тебя. Как ты себя чувствуешь?

— Благодарю, хорошо. Ты как?

— Приезжай — увидишь. Есть новости из Кривощекова.

— А где ты ночевал в Москве?

— На вокзале.

Егор сразу отмяк, подобрел. Он в чем был, в том и выскочил. Наташа его не пускала: зачем вам встречаться? Ничего уже хорошего не выйдет. Егор оправдался так: все-таки неловко, просит. По улице пролетали легковые машины с красными огоньками. Егор заклинал всех таксистов столицы вспомнить о нем и подъехать. Сам не знал, что с ним такое случилось. Так он спешил последнее время только к Дмитрию, к Никите, домой.

«А может, мы тоже не правы,— думал он в машине на заднем сиденье.— Обидели чем? Он скрытный, не скажет. Его где только не таскала жизнь, сломался парень. Мы, худо-бедно, рядышком были, а он один. Если вспомнить! — какой он ласковый был, ради нас на все раскалывался, какие письма писал! Как он радовался, когда мне везло! «Я сегодня прыгну до потолка из-за тебя!— писал.— Поздравляю с удачей. Береги свой талант». Но и тяжело, тяжело с ним... Разговор вечно темный, рассеянный, какие-то всегда подкопные вопросы готовил к встрече, что-то ложно-гениальное, надсадное вносил в простые темы,— черт его знает... И в то же время... и в то же время ведь свой парень! Прошлый раз такую чушь пер, и вдруг ясно и просто объяснил, что он понял во мне. То-то и то-то. Все точно понял. Зачем вот я ему понадобился? Мириться? «Как поживаешь?» Ровным, смиренным голосом. Черт его знает... Сразу жалко. Эх, к Ярославскому опять несет меня. Вот оно северное, как в сказке, здание... Давно ли я... И Казанский наш рядышком. Ползет, ползет мир с чемоданами... Не тут ли мы его, дурака, провожали! Ну почему именно я ему нужен? С чего бы? Вот в эти двери мы с К. входили... Где она сейчас? «Купи мне шоколадного зайца...» — просила».

Назад возврата нет. Минутная слабость доброго чувства была лишь уступкой совести, но все внутри напряглось, когда увидели друг друга и сказали первые слова. Позвонил — зачем? Позвонил, попросил, а сам стоит с неискренней улыбкой. Эта вычищенная декадентская бородка, женская краснота губ, плечи богатыря — тот или не тот Антон? В Кривощеково едет, не куда-нибудь, сейчас бы приветов надавал с ним, выспросил все о родине, обнадежил: жди, я скоро сорвусь к вам, вместе побродим по ночному городу! А он чужой и подозрительный. Ну что, ну что ты? — хотелось подтолкнуть Антона.— Говори. Я твоей жизни не знаю. Я не должен был появиться, но сдался. Что?

— Ты, видимо, догадываешься, любезный,— начал непримиримо Антон,— я пригласил тебя не для того, чтоб обращать твою душу на круги своя... и не для того, разумеется, чтобы судить суетливость твоей жизни... и уж, конечно, не ради заключения нового союза, который, как тебе известно, любезный мой, был худосочен...

Егор переступил с ноги на ногу, вздохнул про себя.

— Как человек, уже достаточно выросший из моих сомнений...

— Короче,— перебил Егор строго,— зачем ты меня позвал?

— Полагаю, корысти ради... Будь другом, возврати мне все, что написано моей рукой,— сказал Антон просто и горестно.

— Как же я верну? Письма теперь мои.

— Зачем они тебе?

— А тебе зачем?

— Я торопился до времени открыть моим товарищам кладовые своей души.

Егор усмехнулся: что за витиеватость?

— Ты своим видом являешь одно недоумение?

— Да так...— с внезапной печалью сказал Егор.— Дико!

— По младости своей и беспечности я допустил в письмах выражения незрелой еще в ту пору мысли моей. Ужасно наше заблуждение в людях, но более ужасно заблуждение в самих себе. Не должно говорить, покуда не услышишь в самом себе звучание вечной истины. Но к теме. Теперь, когда я разорвал круг ложных отношений, понес некоторые душевные утраты, меня беспокоит кое-что. Ты, полагаю, знаешь за собой грех невоздержанности на язык, безмерную болтливость, и письма мои ты отдашь. Они валяются где попало.

— Ошибаешься. У меня с ними полный порядок. Тебя заедает, что я смогу их перечитывать? Тебе стыдно, что я буду натыкаться на твои признания и слова нежности? Или что? — не пойму, извини, я тупой...

— Не подражай своему товарищу из Кривощекова, имя которого я забыл. И у нас нет времени заниматься суетой столичного этикета.

— Какого этикета? Ты сбесился?

— Отдай и скажи спасибо, что я не понуждаю тебя поехать к этому же пустому товарищу,— он все имел в виду Никиту,— и у него тоже изъять все документы моей души.

— Не волнуйся, он-то их выкинул в одно ме-

сто точно. Еще что? И у Димки заберешь? Сам ты пустой, Антошка! Опустел.

— Нам не к чему фамильярничать, любезный. Мне не нужны были друзья, любящие меня, но не мою тернистую веру.

— Веру во что?

— Полезно бы вспомнить иные насущные зады.

— Не понимаю тебя,— Егор почувствовал, что устал вдруг.— Где так выучился говорить? Я люблю ясность. Не разберу тебя!

— Это показывает мне, насколько не образовался ты еще внутренне, хотя, возможно, уже на верном пути.

Егор опять усмехнулся: ну что это, ну что это такое?!

— И это *мы* дружили? Это в тебе столько жестокости?

— Зачем мне была нужна такая дружба? Я отсек твоего товарища, тебя. Так будет со всеми. Это не только приговор вам, но и самому себе. Дайте мне время, я докажу. Вы не друзья мне, говорю еще раз.

Не только письма были нужны — понял Егор. Давно уязвленный пренебрежением к себе, непризнанием, Антон жаждал еще раз утверждения и, может, еще чего-то, что не проникало в сознание друзей. Когда тебя не признают друзья, это еще страшнее, чем прохладное отношение прочих. И как в одну прекрасную минуту все-все меняется! Вот оно в характере друга то самое, что вроде бы еле брезжило, на что закрывались глаза, когда была идиллия дружбы. Всегда так. Нет, нет, думали, если и вырвется наружу что-то плохое, ужасное, то оно не полетит в лицо друга; это с *кем-то* могут у тебя разразиться опасные скандалы и от *кого-то* достанется тебе ни за что. Но грязь полетела в лицо тебе. За что? И неужели нет конца спокойного и мудрого, а нужны ненависть и последняя крайность? Оказывается, грубые, обидные слова и обвинения только тихо ждали случая выскочить и убивать наповал. Они, значит, были! Неужели Никита и Дмитрий таили бы в себе зло столько лет? Нет. Посмели бы они мстить? Нет. Была какая-то у Егора святая уверенность в этом.

— Мало ли с тобой носились разве? — сказал Егор.— Разглядывали твои абстрактные упражнения, советовали, уговаривали, искали тебе поддержку. Ты разрушал себя своими руками и кричал: не лезьте! мой час еще не пробил! Или я тебе желал худа? В чем, где, когда я переступил тебе дорогу? — Егор горячился, и звонкий его голос полетел над платформой.— Или ты, может, завидуешь мне? Чему завидовать? Ты, друг, даже не поинтересовался, от каких возможностей я отказался, чем брезговал, за что боролся. Ты видел один успех и критиковал, что это не так гениально, как надо бы. Ты вечно всем и вся был недоволен. Ну не такой я, извини, урод, видишь ли, не в тот час меня зачали — птички пели, благость была, счастливые песни под окном звучали — и я дураком — оптимистом родился.

— Если ты, любезный, в утробе матери слышал, как доносится с улицы пение птичек, то потом, явившись на свет, ты должен был не затыкать свои уши оптимистической ватой, а слышать глас народа и глас божий.

— А ты знаешь, слышу я или нет? Вот пророк явился! Сто лет не было — пришел. И с кого начал? С друзей. Мы все разные — что дальше? Я тебя обидел? чем? когда? Я порвал с тобой, потому что ты уже грозил мне этим. Надоело. Ты скрытный, ты сыплешь туманными периодами, а я тупой, я привык, чтобы мне разжевали, в рот положили,— издевался над собой Егор, но знал, что тем именно и хвалит себя,— и... в рот положили. В тебе злости больше, чем у нас троих вместе. И такая нетерпимость ко всему, желчь хлещет. Никто нас в письмах не обзывал столько, как ты. За что-о? Дурачок ты.

— Да ты уж не чинишься со мной, я вижу.

— А чего чиниться? Пора, пора...

— Твое суесловие, позволительно повторить, показывает мне, насколько еще не образовался ты внутренне. Многим в моем теперешнем уединении я обязан тебе. Спасибо, я так рад. Я узнал весь смысл прочного дела жизни.

— Не-ет, все-таки не понимаю тебя. Не то что не понимаю, а... Странно, странно.

— А ты-ы? — потерял наконец спокойствие и Антон.— Какой же ты друг?! Ты укреплял формальные лишь знаки дружбы. Нет, ты не друг мой, когда можешь обо мне так судить. Ты мог жить месяц рядом со мной и не выбрать трех часов для меня.

— Надоело твое умничанье.

— Откровениям моим ты чаще предпочитал гитару, а от моего молчания ты, наконец сознайся же, бежал.

— Тяжело, тяжело с великими людьми. Люблю простоту. Мне бы с Астаповым было легче, чем с тобой. А ты далеко не Астапов. Надо бы попроще быть.

— И мне, любезный, с летами было все трудней с тобой...

Как может все измениться, подумать только! Разве не грустно? Вроде бы и не враги стояли друг против друга, а хотелось напирать, колоть, в крайнем случае — уйти вовсе. Но и враги уже, враги.

— Мне, пожалуй, лучше уйти,— сказал Егор,— а тебе садиться в вагон.

— Я заскочу на ходу.

— Ничего хорошего мы уже друг другу не скажем.

— Ты сидишь у себя в провинции, и тебе, дурачку, кажется, что появились спасители народа. А мудрые люди, которые больше нашего с тобой знают, говорят другое.

— Что же они говорят?

— Что не так это чисто, как кажется, когда

слушаешь передачи иных зарубежных станций. Кому-то это нужно, но не русскому народу.

— Я далек от этих сумасшедших пророков и... бардов всяких, волосатых, крикливых. Кстати, вот тебе привет из Кривощекова.

Антон расстегнул портфель, нашел вырезку из местной газеты и протянул Егору. Тот сунул ее в карман.

— Прочтешь. Там твой товарищ подписал.

Они замолчали. До отхода поезда оставалось пять минут. Можно было сухо откланяться и никаких, никаких слов как прежде: «да пиши! всем, всем, кого увидишь, привет! давай! держись!» Ничего. Не нужно. Порвалась цепь. Назад возврата нет. Не выжмешь из сердца ни боли, ни сочувствия, ни грусти. Так. Пустота, досада на нелепое свидание. А все-таки по-хамски уходить не хотелось, и Егор поглядывал на электрическую часовую стрелку. Вот она еще дернулась. Еще. Пусть само время освободит его от друга. Когда-то арбуз разрезали на платформе, вспомнилось ему, пиво дули, стоял хохот. Все кончено. И навсегда, думал Егор. «Не нужен он мне такой. Раскидался он нами не по карману. Дай ему бог найти новых друзей, я ничего не имею. Но не знаю! не знаю... Едва ли!.. едва ли найдет...»

— Так я жду! — сказал Антон, отступая задом к вагону. — Не заставляй меня принимать меры...

Егор повернулся и пошел по перрону на большие часы Казанского. Поезд тронулся и, убыстряясь, погнал переполненные вагоны в Сибирь.

«Письма... Да верну я ему! Добра-то... Слава богу! Отмаялся. Ой ли? Ведь не отстанет. Ну разошлись, ну нету уже того... Обязательно что-то доказать надо, последнее слово оставить за собой. О жизнь-то настала! Круто повела. Дружба — не терпение, а радость. Ушла радость,— значит, все...»

Наташа ждала у телевизора фильм «Герой нашего времени». Егор в своей комнате по горячим следам писал Никите. Устал и бросил, подсел рядом с женой и уставился на четкий экран. Фильм не мог отвлечь его от разговора с Антоном. Он все еще вдогонку что-то договаривал Антону. Егор так любил роман Лермонтова в школе! Исчерканный экземпляр его он хранил в своем чемоданчике. Себе же на память.

— Наташ! — вдруг сказал он, глядя на экран. — А ведь Печорин недобрый, очень недобрый. И Лермонтов такой же был. Может, и не так лихо у него получалось в жизни, но тоже недобрый. Пушкин — наш светлый ангел, Лермонтов — черный. Но ангел! — воскликнул он. — Помнишь, у него строчки: «Такой любви ты знала цену? Ты знала... я тебя не знал». И у Пушкина: «Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим...» Какая разница! какое великодушие, сколько света! Одно и то же, и один прощает все, благословляет; другой — ничего! Даже женщине! И друг наш Антошка недобрый.

— Да ну его к черту! Не могу слышать о нем. Пришел бледный как стена, выкинь ты его наконец из головы.

— Недобрый,— тихо произнес Егор. — Точно. Бессмысленное гордое одиночество, «цену» себе он знает сам, одна беда лишь у него: друзей переоценил. Все б хорошо, совсем можно бы Рафаэлем стать, да таланта и ума ему, бедному, не досталось. А почему «ума»? И при скверном характере нужен ум, чтоб остаться искренним. Черные ангелы тоже нужны. Но ангелы!

В эти минуты так же, наверное... то спокойно, то вспыльчиво и несправедливо выносил своему бывшему другу приговор Антон, не замечая ни пассажиров, ни ласковых подмосковных рощ...

Глава шестая

ЖИЗНЬ ПРОСТА?

I

В конце ноября Егор снимался в Можайске, жил в гостинице, с субботы на воскресенье уезжал в Москву на побывку. В одно из воскресений он домой не зашел. Из Можайска отправлялся он с К., водил ее в гости к гримеру, попили там чайку, встретились с Владиславом и поздней электричкой возвратились назад, где их никто не мог спугнуть.

К. тотчас же легла спать, а Егор курил в кресле, берег ее сон, последний сон в его присутствии,— в пять часов утра она уезжала домой.

«Сон — мое счастье,— извинялась К. — С тех пор как я почти три года после родов не спала, для меня сон — не знаю что. Ты не сердись, я посплю часика два, и ты буди».

И было жалко ее, и жалко, что она спит в эту тихую подмосковную ночь.

«А я с тобой разговаривала»,— сказала она в субботу, когда Егор вошел после съемок в деревеньке возле Бородинского поля.

Нынче Егор более часа сидел в стороне от К. и молча разговаривал с ней.

Он робел вообще будить кого бы то ни было — неприятно всегда сносить нечаянную злость в глазах сладко спавшего человека. В темноте порою казалось, что К. нет совсем, и желание говорить с ней напоминало его страсть к письмам после первых разлук.

«Ты спишь, а я тебя люблю. Хорошо погадала Владиславу? Прости меня,— сейчас я чувствую, что как только ты исчезаешь, мне не хватает тебя. Ты думаешь, что я прощаюсь с тобой. А я не знаю, так ли это. Но что-то похожее есть. Было несколько раз — я мысленно прогонял тебя, от одного сознания, что ты скоро уедешь, чувствовал себя легче. Скоро твой день рождения, а я ничего не говорю. Я намечал его встретить вместе. Что-то треснуло в душе. Сейчас я люблю тебя. Когда все это кончится — наши трудные шесть дней,— оно в

одиночестве предстанет как сказка, и я буду жалеть. Что за натура! — вечно жалею о том, что прошло только что. А ты? Поднимись, скажи. Я не хочу тебя будить, у нас с тобой часто так бывало: когда чего-то хотелось одному, другой этого не замечал. Да? Все идет к прощанию, а конца нет. «Куда я теперь от тебя денусь»,— ты сказала. Я заблудился, летел за тобой, и вот... Я не умел тебе лгать, хоть ты и просила: «Лучше солги, мне будет легче. Женщина любит ушами». Но самое главное: я все время и верил и не верил тебе. Вблизи ли, вдали я верил тебе к ночи и не верил днем. Каждый раз, когда ты ехала ко мне, ты что-то загадывала и берегла к какой-нибудь минуте откровенное слово. Но нынче мы ни о чем своем и не поговорили. Ты вчера обидчиво сказала, что я почти не рассказываю о себе. Но ты была с самого начала равнодушна к моей жизни. «Ах, какой у тебя на ладони четкий пояс Венеры!» Вот куда зарывалась твоя любовь. Тебя интересовало только то, что имело отношение к моей семье: благополучен ли я, или там все кувырком? Последнее ведь приятней. Если мужчина хмур, печален, женщина думает: не переменился ли он ко мне? разлюбил? А я могу просто обдумывать свой побег в Кривощеково и расставаться с кино. Я тебя больше не люблю так божественно, как раньше. Ну, ладно, спи, спи. Что ты нагадала Владиславу? — он вышел из комнаты сам не свой, как на виселицу. Вы долго там сидели, до неприличия долго. Упаси бог подозревать тебя, но мысли сами мелькали: «пора бы уже!» Владислав говорил как-то: «Если хочешь проверить, как тебя любят и любят ли вообще, оставляй женщину наедине с кем-то, води ее всюду, знакомь с мужчинами поумнее и покрасивее себя, короче — предоставь повод к соблазну, и вскоре все узнаешь о себе и о ней». В тебе есть то, что он любит в женщинах. Что? «Какая-то греховность улыбки и виноватое смущение в глазах,— сказал.— Когда она клонит голову и смиренно улыбается, с нее хорошо писать портрет грешницы». Ну, это его дело».

Егор потер лоб. Речь его клонилась к обвинению, и он поругал себя за слабые ночные преувеличения. В электричке, между тем, когда были в вагоне одни, К. сказала о Владиславе:

— Он несчастнее и беззащитнее вас всех. Его никто никогда не любил бескорыстно. Его все обманывают. Ты счастливее, у тебя есть друзья, и какие! А у него никого, он им лжет напропалую, хвалит ненавидя, презирая. Как он сказал об этом гримере: «Он похож на красивый портрет, засиженный мухами». Зло! Я впервые вижу человека, который каждую минуту кого-нибудь разлагает своими речами, стихами, историями, сальностями, но говорит так заразительно, что все ему прощают, смеются и вместе с ним, в эти же секунды, вовлекаются в грех. Фейерверк слов. Слушаешь и, кажется, готова упасть в эту кашу и ничего не стыдиться.

— Да? даже так? что ты ему нагадала?

— Ничего.

«Спи, спи,— говорил он ей.— Ты спишь так безутешно, и мне тебя жалко. Ты скорее полюбишь несчастного, чем счастливого. Такая ты. А за что же меня? «Разве любят за что-нибудь?» — услыхал он ее ответ. Прости меня. Ночью все оголяется, еще час, и я до того размечтаюсь, что разбужу тебя. Ах... зря спишь... В прошлом у нас все было так хорошо, что, когда разорвутся наши отношения напрочь, долго будет казаться при воспоминаниях, что любовь еще не прошла. Сейчас я тебя опять люблю. А ты спишь. Какой час? Встану, захрустят косточки, разбужу. Тогда спать!»

Он лег на диван.

— Что же ты не будишь меня? — плаксиво сказала вдруг К. и подлезла к нему, растянулась. Егор удивился: разве он заснул? — Я во сне опять в твоем доме была.

Сколько там на часах? не пора ли? Они торопливо обнялись. Ласки их были горькой данью разлуке. Резко зазвонил будильник и смутил их и без того вялые чувства. Они неприятно разнялись, помолчали с терпением и соскочили одеваться.

— Умывайся,— сказал Егор,— я тебе согрею чай.

Еще пятнадцать минут они выкроили на чаепитие.

— Прости меня...— пожалел ее Егор.— Я ночью...

— Что? Что ночью?

— Прости меня...

Скука была в ее глазах. Или это она не выспалась?

— Я опять попала в твой дом,— сказала К.— Нехороший сон. Я так торопилась, боялась, чтобы не застала твоя Наташа. Она не может сюда приехать?

— А детей на кого?

Время не считалось с ними. Но они о нем помнили; помнили и то, которое настанет, и то, которое прошло и торопит,— его и жалко. Оно было легким, неуловимым, когда съезжались; оно было тягучим, занудным в ожидании. Были часы, дни их встреч и писем, и вот они сложились в вечность и настал черед другим часам и дням,— каким? О сроках теперь — ни слова.

Все равно — в разлуке было что-то нелепое, и, когда они шли по улице к станции, Егора снова потянуло поклясться, что-то пообещать и тем исторгнуть у К. порыв умиления и благодарности.

«Ладно,— сдержал он себя.— Может, так лучше».

— Ты изменился,— сказала ему К.— Что тебя мучает? Ты устал от меня?

— Неопределенность во всем. В Москве жить не хочу. Как вспомню, что мои дети здесь вырастут и сам состарюсь,— тошно. Благополучие умерщвляет мою жизнь. Звезд я не нахватал, я работник, за то и ценят. «Хорошее начало не хуже победы»,— да не про меня это. Сколько их,

хороших-то начал, у меня было. Вдобавок и с тобой. И никакого конца никогда, не то что еще хорошего бы. Потому что с самого начала не мог выбрать не только хорошего, но и определенного. Для хорошего конца сил и сноровки не хватало, для плохого — еще совесть есть. Ты права, наверно: «Нельзя людям говорить правду. Они обижаются и не прощают». Ах, забыл, это Владислава слова. Мы с Антошкой потому и разошлись, что не смогли друг другу солгать. Прости, что я и тебе не смог лгать. Что испытывал к тебе, то и в глазах было. Во мудрость-то. А на что она?

— Но если ты меня разлюбишь,— уговаривала его К.,— ты, пожалуйста, подольше не говори мне правды.

— Ты сама все увидишь.

— Я мнительная.

— И высокая ростом,— улыбнулся Егор.

— Тем и интересна. Когда же я тебя увижу?

— Я уеду в Кривощеково.

— Твое место займут другие.

— Они и при мне займут. Меня это ползанье по ступенькам меньше всего волнует. Появится один большой, настоящий художник, и все «великие» сядут на задние лапки. А когда никого нет, каждая чушка гениальна. Я трудолюбивая пчела, не больше.

— Но как он появится, большой-то?

— Мы хнычем и выпрашиваем себе право на снисхождение и халтуру. Настоящий большой художник как йог: босыми ногами идет по раскаленным камням. Какими мы прибыли в Москву когда-то?! Молились на всех. Уеду.

— Я тебя люблю...— притронулась К. рукой к его воротнику.— Я тебя люблю, Телепнев. Даже сильнее, чем раньше. Я тебя всю жизнь буду любить.

— Ты мне нужна.

— И ты мне... Ты уже чужой? Ты живешь вспышками, раз — и прошло. А я разгораюсь медленно, наступило время моей нежности, а ты меня разлюбил. Я такая дура, что после тебя и завести себе никого не смогу. Мне уж никого не полюбить...

— Ты пробудила меня. Не горюй.

— И ты не горюй.

— Ничего, ничего. Уеду в Кривощеково. «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...» Чьи стихи?

— Не вспомню.— Она глядела на него, ее ничто, кроме своего чувства, отвлечь не могло.

— Любимый поэт моего друга Димки. Баратынский. Он утверждает, что «Бо», а я — что «Ба...» А ты?

— А я тебя люблю, Телепнев...

2

С этого свидания К. перестала писать. В начале февраля Егор получил от нее телеграмму — «прости если можешь настроение плохое один свет в окошке наша встреча где-нибудь когда-нибудь» — и сразу позабыл свою досаду, обрадовался, что снова не может жить без нее. За что сердиться? Он жалел и любил ее, взялся прикидывать, когда освободится и позовет ее в какое-нибудь тихое место. Он медленно шел по Москве; спереди, сбоку, сзади кучились люди; сама жизнь, казалось, куда-то спешила, какая-то чудовищная нелепая нужда вертела всеми людскими помыслами, отводила своей властной рукой в сторону — на какой-то неопределенный сказочный срок — их хрупкие мечты и желания. Сердцу не было простора. Ордами, армейской вереницей спускались по эскалатору москвичи; Егор в такой же орде, лицом в спины, ехал на встречной лестнице вверх, потом совался плечом в троллейбус, и в сердитой давке сиротливо было думать о нежной любви своей, об интимных страданиях вообще. Когда его вытолкнули наружу, он пошел по тихому переулку, достал из кармана телеграмму и перечитал ее. И в тишине тотчас откликнулась другая скрытая жизнь.

На третий день появилось и письмо. В нем он не обнаружил той тоски и любви, что в телеграмме. Отписка! Что-то подневольное, расчетливое, больше старания, чем нетерпения поговорить. «Я тебя люблю сейчас особенно сильно. Все время что-то рассказываю тебе, думаю о тебе. Все ты и ты». И потом всяческие новости, то, се. Ни одному слову ее он не поверил. Главное — тон! Всегда в тоне заключена вся правда. И ложь тоже.

«Конец! К черту! — ругался Егор.— Никаких!»

Ему вдруг подумалось, что его всю жизнь люди обманывали. Эта проклятая доверчивость, до могилы он будет таким. Его любили, он замечал, но обманывали, запутывали и использовали еще чаще.

Плохие мысли, проклятия несутся в иные мгновения и к людям, которых мы любим. Егор зло, жестоко отчитывал ее. В переулке совсем потемнело.

«Ты с самого начала посылала мне торопливые, хлопотные письма. Первая записка была такой же продуманной, и только. Не верю тебе. Быстро все кончилось, подруга! И раньше я не верил тебе. Мне казалось (прости, но это так), мне казалось порою, твои слова — «не уходи сразу, побудешь еще со мной?» — всего лишь предлог, чтобы уйти потом самой, но так, будто я тебя бросил... Тебе не надо сочинять разрыв-письмо, ты уже создала его, я могу сложить его из разных строчек, намеков и того, что осталось без ответа. Что-то зловещее в наших отношениях есть. Какой-то обман — то прекрасный, то жуткий! Вместе с тем при встречах в тебе было столько простодушия и правды, что я, сердясь иногда и подозревая тебя в чисто женской хитрости, запутывался, когда пытался отгадать, кто ты такая...»

Он знал, что такого письма не пошлет К., но шел и наговаривал его без всякого раздумья.

«Все! — рубил Егор.— Кончено. Ты не вынесла самого лучшего времени, как же ты стремишься

к счастью? С другими у тебя будет то же. Вот так, милая волшебница! Вот так, дорогая! Прощай! (К черту, к черту! — убеждал себя. — Никаких! Жалеть этих баб?! Да провались! Хитрее бабы нет никого.) Все, все! «А как ты догадался, что я готовила разрыв-письмо?» И она думала об этом, когда я ей слал бесконечные конверты! Ах вы зануды, хищницы. Шла, видишь ли, долго и пришла. Не нужна, не нужна, не нужна-а! Довольно, довольно. Да что она мне — жена, что ли? Нечего о них думать...»

И вспомнился Егору один случай.

Два года назад, на съемках в Смоленске, пришел как-то Егор в номер к Владиславу.

— Спал плохо,— пожаловался тот. — Встал, какое-то опустошение после вчерашнего.

— Но ты же человек опытный, должен был предвидеть. Она уже убирала у меня. Так бодро поздоровалась! Как-то даже нестерпимо бессовестно!

Владислав усмехнулся и протянул Егору клочок бумаги, на котором не по-женски плохим почерком было написано:

«Я вышла замуж рано, не по любви, потом разошлась, а что было дальше — расскажу, если спросишь... Я тебя люблю, Владик...»

— Вла-адик... — посмеялся Егор. — Это она написала?

— Она. Задумчиво так выводила.

— И уже любит? Ну-у...

— Ужасное опустошение, мой милый.

— Ничем не могу помочь.

— Я увел ее от тебя, извини.

— Ради бога! — брезгливо отступил назад Егор. — На кой хрен она мне нужна? Я просто дурак, увидел, думаю: какое бедное чистое существо.

А было так. У него в номере она меняла постельное белье. Егор еще не сказал ей ни слова, как вломился Владислав, взглянул, закружил возле нее, оценивая ее, и бодро вступил в разговор.

— Что же вас отец отпустил на такую работу? — хитро спросил он. — Или муж?

— С мужем развелась.

— Надо бы посидеть как-то.

Она так промолчала, что это было лучше всякого согласия.

На другое утро она снова постучала, поставила ведро и щетку у стены, села и на вежливые вопросы Егора отозвалась простодушным рассказом о своей жизни. После вчерашнего убирать ей в номере было нечего. Чего ж она зашла? У Егора стояла бутылка вина. Он налил ей с рюмочку, но было мало, по глазам видно, что она выпьет сейчас целый стакан. «Я приду завтра»,— сказала она, и Егор кивнул: ну что ж, приходите. Но утром он косо поздоровался с ней и прошел мимо походкой большого начальника, а еще через день улетел в Москву по вызову киностудии. Возвратился и позвонил Владиславу. «А я не один,— сказал он,— зайди, стаканчик крепкого выпьешь». Она в белом передничке резала на круглом столике огурцы для салата. Владислав подморгнул ему. Она принарядилась к событию, цель которого уже не скрывалась. Поговорили о Москве, Егор тщился не смотреть на нее, словно оберегал ее женское достоинство, и без сожаления благословлял Владислава на приключение. Все было ясно, и, чтобы уйти, не стоило выдумывать причину.

Часа через два, когда Владислав попросил по телефону спичек, Егор нашел в комнате все то же, но в большем беспорядке, чем раньше. Удивительно! Теперь это были другие люди! Плотская тайна сблизила их, но следом же вырыла пропасть. Она вольно сидела на белой постели и ничуть не беспокоилась, какое впечатление произвело на Егора ее поведение. «Вот она простая арифметика любви,— подумал Егор. — И с чего я решил, что она чистое существо? Я бы и коснуться ее не посмел. А она меня только что назвала «Жориком». Меня! Я ей кто — сват?» Он еще давно думал, глядя на чей-нибудь клейкий семейный союз: а на месте того-то и того мог бы спокойненько быть и я, и все было бы так же, или почти так же. Эта непрочность вялых и страстных союзов, эта временная благодарность женщины тому, кто ее поскорее захватит или счастливо обманет, обременили его выводы тогда особенно. Ничему не хотелось верить, и, когда человек полюбит тебя как единственного, тоже будешь сомневаться.

Вот и К. Он и верил ей и нет.

«Я уже раскладывала на вас...» — вспомнились ему слова К. в тот день в Москве, когда Владислав приставал к ней погадать на него. К. и Владислав уединились на кухне, а Егор, гример и волосатый сценарист играли в подкидного дурака. После каждого выигрыша сценарист кричал: «Я гениален во всем! Гениален в картах! Я гениален в любви! Всегда и во всем гениален!» И то и дело поправлял на руке швейцарские часы. Между тем он был интересен и даровит, но его напускной либерализм и неразборчивость в средствах гнали от него Егора на сто верст. Егор улыбался и думал, почему так долго гадает на кухне К.? Разбитый, горько-одинокий в этот месяц, Владислав еще безропотнее поддался мистике, картам, снам и упросил, наверное, К. гадать до конца. Он вышел злой, потный, словно переставший верить в свое счастье совсем. Узкие татарские глаза соединились в нитку. Егору показалось, что после гадания она была с ним как чужая. Что же произошло на кухне?

Позднее, в декабре, Владислав сказал ему мрачно:

— Ну и нагадала же тогда мне К.!

— Что именно?

— Сказала: «Вы были несчастны и будете. Вас никто не любил бескорыстно. Я уже на вас раскладывала». И предупредила: «Бойтесь высоты». Все правильно.

— Провокация!

— Почему?!

— Она уже знала, что больше всего на свете ты страшишься высоты. Ты при ней сам говорил.

— Когда? Не помню!

— В другой вечер, когда ты гулял с нами по Москве и читал скабрезные стихи.

— Мне почудилось, что она гадала так из-за того, что хочет на мне жениться. Мысль такая врезалась! Чо-оок! — ткнул он пальцем в висок.

Егор покраснел и, чтобы как-то спасти себя, сказал равнодушно:

— Зачем она тебе...

— Вот именно!

3

Из того же Татищева, где летом они раскрыли друг другу свою молодую мечтательность, К. прислала ему письмо в конце января, — не письмо, а звонкую горькую обиду. В Татищеве ей так ясно представилось, что любовь ее завершает свой круг. Сон кончался. Снег по самые крыши, свежее солнце за лесом, жители в валенках и полушубках, узоры на окнах создали ей другую, не ту, что летом, деревню, и оттого, что она была одна, виноватым оказалось все, даже это место. Она привезла с собой письма Егора, от первого и до последнего, и робела перечитывать их: там столько любви!

Захотелось высказать ему все, освободиться! Пусть же знает!

Уже не одна древнейшая банальность вспыхнула за короткие месяцы как святая правда, банальность, которая из книг, из чужого опыта перебралась в правду твою: «небесная любовь», «не могу без тебя жить», и вот еще: «ты разбил мое сердце». К. упрекала и тут же просила прощения, расставалась и умоляла не уходить от нее.

Следом она отправила второе письмо, которое начиналось нежно и просто: «Ты сердишься? Мне уже легко, я тебя люблю. Ты был мне назначен. Да?»

Егор был пуст, спокоен и понимал: помочь можно кому угодно, но не К. Надо уж жить вместе — и все, иное — лишь временное утешение. Но вместе с нею он жить не хотел даже в мечтах. Все куда-то ушло, смирилось, снова жизнь выбилась из единственного круга, и казалось, что жить по-старому, без сказки, в собранном своими руками доме, возле детей и верной жены, можно и нужно.

Короткая любовь-встреча хоть раз, но ослепляет многих. Не так ли чуть не сломила любовь Никиту на первом курсе? Его девочка жила в чужом доме за Москвой, страдала по нему, а он прогнал ее потому, что она отстраняла последнее и, значит, по его наивности, недостаточно любила. И они растерялись навсегда, он ее вспоминал, она ему снилась и после его женитьбы, ему хотелось где-нибудь взглянуть на нее случайно и возродить в душе былой праздник нежности и надежд. И вот он писал Егору недавно: совсем ее забыл, и на сердце ничего не сбереглось, ну ничего вовсе! Чувство навеки исчезло, и непонятно, зачем оно было? Так и у всех.

Егор понимал, перебирая дни своей неосторожности, что потерял тогда голову, в один миг отрекся от всего, что было его жизнью столько лет. И как-то он встал утром с тягостным настроением; ничего больше не надо: ни писем, ни воспоминаний. Но потом развеялся, и к вечеру он опять любил ее и звал к себе. Взял и поехал к ней. Но поехал не в Ярославль прямо, а в Татищев-погост, где они были счастливы. В автобусе у окошка смотрел на снежные поля и беседовал почему-то не с нею, а с Дмитрием. «Помнишь, у Пушкина: «По той дороге теперь поехал я...» У каждого свое. Я знал, что когда-нибудь поеду без нее, но чтобы так скоро? Всякая мелочь на дороге связывает меня с ней. Закрываю глаза и говорю: «Не могу жить без тебя!» Жду ее — появится за окном у стога, на холмике, на развилке, а ее нет. Чтобы успокоиться, начинаю искать червоточины в ее характере, злиться на ее разговорчивость в обществе; на то, что сразу же после моего первого отъезда из Ярославля она пошла в ресторан с человеком, которого полюбила в четырнадцать лет». Тут мысли изменяли, перескакивали на другое, на то, например, как он всегда мечтал жить в деревне, в глуши, а потом — опять она, она, она. Жить бы с ней всегда, он уже видел себя отъезжающим к ней, только не в ее город, а куда-то в сторону, где никто их не знает. Это как во сне. И вдруг казалось, что им подошло бы любить друг друга только так: встречи, разлуки, письма, тоска. Рядом они измучат друг друга, и при ней, такой понимающей его в тонкостях, он потеряет свою вольную волю, которую имел всегда. В чудесной этой женщине он предчувствовал что-то незаметное, что выявилось бы постепенно и погубило его окончательно. Да и сама К. сказала ему в третью встречу: «Даже если бы мы были свободны и все прочее, я бы не нарушила свой статус. Я тоскую, но знаю свое место, и ты, к тому же, определил мне его в своих мечтах, помнишь? Мне так лучше».

Из Татищева он послал ей телеграмму: «Я здесь».

Вечером она была возле него.

Стоял жуткий мороз.

Но того, что снилось по дороге и что здесь же колдовало над ними летом, уже не было.

4

— Почему ты была так болтлива? — выкрикнул Егор, когда в Ярославле они пришли из гостей. — Когда ты болтаешь, ты знаешь на кого похожа? На девку!

К. вздернулась и выскочила на кухню. И тут же вошла.

— Я тебя ненавижу, — добавил Егор, — когда ты такая.

— Я как-нибудь не так себя вела? А я тебя

с утра ненавижу, но у меня же хватило ума скрыть это.

— И зря. Зачем скрывать... Это хитрость.

— Ты уже нисколько меня не любишь. Я сама не своя, разве ты не чувствуешь?

— У вас, девушек, тысячу раз меняется настроение.

— Неправда! неправда! — закричала она и сжала кулаки. — Я же вижу, что ты приехал другим. В глазах ничего, глаза пустые. Я тебя прошу: «Скажи мне что-нибудь хорошее» — а ты не можешь. Я тебя так ждала, у меня было прекрасное настроение...

— Ты не можешь знать, каким я ехал... — сказал Егор жестко. — Я ехал к тебе. К тебе, понимаешь?

— Понимаю,— трясла она головой как нищенка и глядела в пол, сама вся согнулась. — Понимаю, все понимаю... Это конец.

— Конец бывает всему — что ж травить себя заранее? Я приехал к тебе, ты слышишь? Ну мне не понравилось... ведешь себя как... Ты меня решила показать всему городу?

— О ужас, что ты говоришь-то? Я думала, тебе скучно будет. Все время со мной и со мной. И повела. А ты меня стыдишься?

— Я приехал к тебе,— сказал Егор, но подумал, что ему стыдно было себя самого — в чужом городе, под ручку, противен как-то себе. — К тебе, к тебе. Мне часто казалось, что я и живу-то уже ради тебя, чтобы видеть тебя еще много раз, для тебя что-то сделать.

— Спасибо. И все-таки это конец. Начало конца.

— Тогда я уезжаю! — сказал Егор и снял со спинки стула пиджак.

Она хлопнула дверью.

«Вот и хорошо,— нисколько не огорчился Егор. — Женщины очень быстро превращают любовь в семейную жвачку. Жалко ее, но что же! Со всеми одно. Что это такое! Я ее вознес чересчур, что ли? Фу, как все разом падает с неба на землю...»

Егор побросал в портфель бритву, одежную щетку, еще кое-что. К., по-видимому, уже на улице.

«Наша встреча,— вспомнилось ему,— не будет долгой. Я уйду от тебя, и очень скоро».

«То ты просишь меня не уходить подольше, то сама... а?»

«Я люблю тебя больше, чем ты меня».

«Мне интересно: зачем ты меня нашла?»

«Я хотела тебя увидеть, проститься со старой жизнью и начать новую. В старой жизни я была несчастлива».

«А что в новой?»

«Вышла бы замуж».

«За кого?»

«За того, кого полюбила в четырнадцать лет».

«Ничего не будет, если встречаться с ним в ресторонах».

«Я с ним не только в ресторанах встречалась,— призналась она в том, что скрывала до сих пор, чтобы не вызвать в нем ревность. — После того как я узнала, что муж мне изменяет, я встречалась с ним целый год. Но мне не было с ним хорошо. Мне хорошо только с тобой,— я тебя люблю».

Егор тогда едва не крикнул: «Зачем же ты пошла с ним в ресторан после моего отъезда?»

Наверное, Дмитрий привил ему жгучую боль от предательства, в чем бы оно ни состояло, и оттого Егора уколола некогда ее невнимательная откровенность.

Дверь с занавеской отворилась, и опять вошла К. Егор удивился: они, кажется, распрощались,— чего же еще? В руке К. держала кухонное полотенце. Они стояли в разных концах комнаты.

— Уезжай,— сказала она. — Если ты и останешься, все равно это конец.

— Хорошо, хорошо.

— Пойдем, я последний раз посмотрю, как ты ешь.

Он отказался.

Она вдруг кинулась к нему падая, Егор обнял ее.

Она заплакала:

— Я знала, знала, что так будет!.. Все зря, все зря! Зря я нашла тебя... Я знала! Ты приехал другим. Зря я появилась на свет... Со мной трудно быть счастливым. Я всем приношу несчастье... Вот и тебе я счастья не дала. Я же вижу. Все зря, зря, зря!.. — Она рыдала. — Это конец. Не будет больше ни Татищева, ни Ярославля, ничего. Зря, зря... Я бы так не страдала...

— Пойдем... — потянул он, чтобы унять ее слезы. — Пойдем, пойдем...

— Я тебя очень-очень люблю. Я постараюсь облегчить тебе уход. Я потому и говорила, что скоро тебя оставлю, чтобы тебе легче было меня... меня... Кончилась сказка. Я тебя буду любить как до встречи. Всегда. Ты очень хороший, добрый, я догадалась, что с тобой произошло. Ты одинок в Москве... Как я здесь...

На кухне она успокоилась.

— Ты забудь ту, что тебе не нравится, хорошо? Люби, какую создал.

— Ты сейчас такая.

— Я пойду надену для тебя другое платье.

Он еще раз удивился быстрой перемене женских настроений. К. вернулась, села.

— Ешь. Ой! — засмеялась она и ударила себя как девчонка по коленке. — Ну надо же!

— А что?

— Тут такая минута... а-а-ах-ах! Уже все, ухожу, ухожу, не могу, а сама иду в пальто на кухню, «ненавижу, ненавижу!», газ зажигаю, ставлю кастрюлю, «ненавижу!» и думаю: как же он уедет голодный?!

Егор смешно глядел на нее, веселую, будто не плакавшую.

— Ешь! Я тебя сейчас еще больше люблю.

Ой, как люблю-ю... — вскочила она, села к нему на колени и долго, тихо качалась. — Мы стояли сейчас по углам, а я вспоминала. — Она совсем притихла. — Что? А недавнее прошлое. Все было впереди, все неизвестно, загадочно. Может, я даже была счастливее? Я готовилась к встрече с тобой. Тогда я еще не знала, как хорошо быть с тобой рядом. Я тут без тебя вспоминала, как мне крепко спалось рядом с тобою.

— Да?!

— Да-а. Когда я жила с мужем, у нас не было даже настоящей кровати, так — две односпалочки. Я приходила в ужас, если думала, что когда-нибудь мне придется всю ночь чувствовать возле себя этого человека. Обязанность, сам понимаешь, сводила нас, конечно,— ну-у, я не могла уснуть, вжималась вся в стенку и старалась не шевелиться. Я слишком откровенна?

— Не очень.

— Извини, кому ж я еще скажу?

— Говори. Я под старость грожусь писать мемуары для друзей, и тебя туда прихвачу. Согласна?

— Лучше я про тебя напишу,— засмеялась К. — Скажу: судьба случайно свела меня с ним, хорошие знакомые помогли. Мы с ним слегка подружились, беседовали.

— Ага! Криком.

— Разве я кричала на тебя?

— Вовсю.

— Прости меня, я быстро отхожу. Вообще я очень уживчива. В общежитии меня селили к самым противным девчонкам, знали, что одна я сумею перетерпеть. Я привыкла подавлять в себе чувства. Поэтому я еще не была с тобой так ласкова, как могла бы. А к мужу и подавно.

— Где живет муж?

— Недалеко. Приезжает, просит сойтись. Он садится, и я уже знаю, что он скажет. Я давно переросла его. Ничего у него не выйдет. Изменил — все. Я такая! Нет, я бы простила, если бы любила его. Я совершенно случайно узнала. Училась я в Ленинграде, он в Москве. Новый год мы вместе никогда не встречали. Есть примета: встретишь Новый год вместе — и весь год будешь вместе. Я не хотела. Новый год заставал меня в поезде, приезжала первого. А в тот раз я появилась ночью. На мне было шикарное пальто, длинное, я сама сшила. Пришла с вокзала пешком в общежитие, где он жил. Вахтерша меня не пускала. «Вы к кому?» Я назвала фамилию. «А-а! — вцепилась в меня. — Ходят тут шлюхи, у него из комнаты только что выгнали девку, и другая явилась!!» Я стою, молчу, а она меня уничтожает! И рассказывает, что там произошло. Была проверка, они даже дверь не закрыли, их застали, ее увели. Я слушаю. Она почему меня не узнала? Она на пальто мое смотрела, ее пальто ошарашило. Я подаю паспорт. Читает фамилию — и-и... Боже мой, что с ней стало! И ничего не поправить, она уже успела все рассказать, ей меня жалко, да поздно. Я поднимаюсь наверх, захожу в комнату к его товарищам по курсу. «Какая женщина! — увидели меня. — Кака-ая женщина! Садитесь, отметим Новый год». Компания, и одни парни. Я сажусь, они ухаживают, наливают вина,— идет болтовня. И они мне повторяют то же самое: опять — как проверка была, надо же, дураки, не закрылись. И т. п. Они не догадываются, кто я такая. И на тебе — входит мой муж! «Жена моя приехала!» Парни обомлели. Во-первых, я им очень понравилась, и они занедоумевали, как было можно изменять жене с какой-то тварью. Пережали, потом говорят: «Ты уж извини нас, Майкл (дразнили так), мы все ей уже рассказали, теперь не замнешь. Ты, конечно, дурак, что дверь не закрывал, но мы не думали, что ты до такой степени дурак: ты изменяешь такой прекрасной женщине!» Я встала, попрощалась, а ему сказала: «Все. Поехала заводить любовника». Ну, это хвастливо, конечно, а семейная жизнь моя тем и кончилась. Но я ушла от него не поэтому.

— ?

— Я еще раньше хотела уйти. Не могу без любви. Прав твой Владислав: мы посвящаем жизнь чужому человеку. Зачем? Мне скучно так, ты меня понимаешь? Лучше я буду одна или вот так, как у нас с тобой,— мне тяжело вдалеке, зато я знаю, что люблю...

Егор молчал.

— Я человек домашний. Хочу готовить обеды и ужины, будить, провожать, встречать. Дитя растить и вкусно мужа кормить — нет большего счастья для женщины. Все лгут журналисты, когда пишут, что такая-то женщина счастлива, потому что ее ценят на работе. Неправда это.

— Что с тобой было, когда ты мне не писала?

— Есть у меня одна обида. Я выкурю одну, хорошо? Ну одну! — Суп застыл, чай тоже, они не следили за этим. Разговор-объяснение утопил их недавнюю сумятицу. — Я вышла как-то с почты, и мне стало страшно! Так, наверное, сходят с ума. Я думала: что это? И поняла, что это ты. И я поехала в Татищево. Осенью мне было хуже, чем тебе. Знаешь, чем ты разбил мое сердце? Ты забыл, я тебе уже говорила, какая обида осталась во мне от первой любви. Обида на всю жизнь. Я же рассказывала, ты забыл?

— Напомни.

— Ну как я в шестнадцать лет подошла к нему и объяснилась. Он меня и сейчас ждет.

— Это тот, с кем в ресторан?..

— Ну. Теперь он меня полюбил, а я... Ему уже сорок. О, какое это горе для меня было тогда! Он сказал, жениться на мне не может. У него есть женщина. Он видел, как я влюблена. Оберегал меня от своих романов, воспитывал, создавал меня такой, какой хотел. Я возвращалась полем и плакала. Какое горе! Хотелось умереть. И та обида моя не прошла. Я не люблю его уже давно, а обида живет. Ты понял все? Понял, да?

— Что ж тут сложного — все понял.

— Скажи — что.

— Я тебя в Москве так же обидел.

— Да. Правда. Но я тебя все равно люблю, Телепнев. Опять зову тебя по фамилии,— ну мне так нравится, ничего?

— Я не замечаю,— Егору даже страшно стало оттого, что его так любят. Кто-то над ним напоминал ему чаще и чаще: у тебя есть дом, у тебя есть старая жизнь.

— Так вот, я тебе писала: «Ты разбил мое сердце». Знаешь чем? Непониманием, зачем я приехала в Москву, в Можайск точнее. Ты с нетерпением ждал моего отъезда. Был брезглив, тебе все не так было во мне,— даже в чем я была одета. Ты меня бросил на полдня, поехал к этому Владиславу. И не позвонил мне потом. Не ответил на телеграмму. А когда позвонил, было уже поздно. Прости, но я тогда случайно прочла одну запись в твоей записной книжке. Прости, я не хотела...

«Что она могла там найти?»— лихорадочно и смущенно припоминал Егор странички в синей записной книжке.

— Ты там меня называешь... помнишь как?

Да, это было. Сгоряча он прилепил ей одно нелестное слово.

— И это не самое страшное,— сказала К. тоном, как бы просившим не огорчаться. — Какая-то радость была в твоем наблюдении.

— Неправда!

— Я это потом вспомнила и не могла писать тебе. Ты не разглядел моего отчаяния, одиночества.

— Почему же ты сразу не высказалась?

— Я думала, все пройдет. Что теперь делать? Ты убил меня. Не знаю, как мне дальше жить. Ты сердишься?

— Нет, нет, что ты...

— Мне до сих пор не верится, что я с тобой. Я тебя столько лет любила. Еще до нашей эры, как ты говоришь. Когда ты провожал меня с холодными глазами, я смирилась, что больше тебя не увижу. И уже не хотела. Я хотела только, чтобы прошлое было правдой. Иначе как бы мне жить потом? Письма твои перечитывала... И вот конец. Дома я уходила в коридор и плакала, уткнувшись в пальто. Я уверяла себя: раз ты решил расстаться, значит, тебе это нужно. Лишь бы тебе было хорошо. Я старалась облегчить тебе уход.

— А я и не уходил от тебя.

— Ну как... Я же видела. Ты устал от меня. Повышал голос, торопился купить мне билет. Не горюй. Все проходит. — Она помолчала. — Тем и хороша жизнь, что она уносит страдания.

— Что за старушечья мудрость?

— Мне иногда кажется, я намного старше тебя. Я уже все прожила, а ты такой молодой.

— Вот это я уже не люблю. Достоевщина какая-то.

— А что... я вот читаю Достоевского, и мне все ясно, это мне знакомо откуда-то.

— Очень жаль. Мне все близко и понятно в «Войне и мире». А Достоевский... все-таки, все-таки болезненный писатель. Это мое мнение. Дневники его прекрасны! Вот видишь, мы совершенно разные.

— Мы так похожи-и! — протянула руку К.

— Чем?

— Ты такой простодушный, открытый, даже страшно. Я тоже.

— Ты каждый час предчувствуешь какое-нибудь несчастье, а я бодро гляжу вперед.

— Бодро ли? Подари мне еще несколько встреч, чтобы у меня было больше воспоминаний. Чтобы их хватило мне до самого конца. Такого со мной еще не было и, конечно, не будет. Не зная тебя, я еще могла скрепя сердце вынести мужчину рядом с собой. Хотя и было тяжело. Теперь это стало невозможным. Без любви участь моя жестока. Дальше у меня дороги нет...

— Давай,— сказал Егор,— выпьем за то, что будет на душе, когда мы снова будем вдали и надо только вспоминать...

За это она пить не стала. Но сказала:

— Только ты не угнетайся, если когда-то тебе придется меня обидеть. Что моя будущая печаль по сравнению с тем, что ты мне уже дал?..

«Да будут все-таки благословенны наши страдания,— поднял тост Владислав в день проводов Егора в Кривощеково. — Не те, конечно, мой милый, страдания, которые калечат человеку жизнь, пригибают до рабства, впускают в душу один смрад. Нет, избави бог. Благословенны пусть будут страдания по счастью. Жив-здоров, мир вечен, а тебе, мне, К., Наташе твоей, даже моим невестам, чего-то не досталось еще чудесного в нем. Проходит, стареет наша великая единственная жизнь! Глядишь ночью на звезды и чувствуешь время и свое одиночество, и кто нас избавит от мыслей о судьбе, о «протекшей воде» наших надежд, радостей, шалостей и етсетера?! Кто? Мой милый! «Яко подвиг и страсть, и тризна есть нынешнее житие». Страдания любви! Что мы без них? Какие воспоминания? По всей. Люблю тебя, братец».

Глава седьмая

БЕРЕГИ СЕБЯ

1

В воскресенье по нажитой в станице привычке Дмитрий с утра выглядывал почтальона. Может, будет хорошее письмо, бандеролька от друзей, интересный наконец-то номер журнала? Бывало, из-за почты ломался распорядок его выходного дня: письмо или статья взвинчивали Дмитрия тотчас, и он спешил обменяться мнением с Егором.

Но вот уже когда попало спускался Дмитрий к почтовому ящику, вынимал газеты и лишний раз не вставал на цыпочки — зыркнуть напоследок: не

завалялось ли там чего? Уж если и щемило сразу ответить кому, все-таки ленился: потом, вечером.

Воскресенья иногда ждут как манны небесной: отдохнуть, заняться собой. Оно наступает. Увы! — непременно завалится кто-нибудь, протянет бутылку вина и... Слово за слово, магнитофон, сигареты, а драгоценные часы убывают, убывают, и сказать «мне некогда» нельзя и уже неохота. Да и кто ты такой? подумаешь! — ему некогда! «Все от неприкаянности какой-то,— думал Дмитрий. — Даже гуляние по улице — не какое-нибудь отдохновение, а все то же: некуда себя деть».

Вот и он вышел: зачем?

Снизу, почти от вокзала, он шел к поперечной центральной улице. В воскресенье ощутимее, в каком городе ты живешь. На старую почтовую улицу он не пошел, чтобы не наткнуться у пивной бочки на Ваню; книжнику-фронтовику только позвонил и посплетничал с ним веселым тоном. И достаточно. Сослуживцы надоели ему и в рабочие дни. В командировках (особенно в Москве) он совсем забывал их. Приближаясь по степи к последней остановке, он с печалью думал: опять! Без них было так хорошо! Опять надо подавать руку, разговаривать, зависеть от них. И не ахти как зависеть, а все же. А на службе проходит почти вся жизнь. Вся жизнь — поиски родства, но есть ли оно вообще на свете?

С утра что-то раздражало его. Что-то давно не пишет Никита, вовсе пропал Антон, и в любовной чуме метался Егор!

К родным, в Кривощеково хотелось. Выпросить отпуск без содержания? Иногда он ругался с Лилей, и косвенной причиной была его тоска по Кривощекову, усталость от мест, где не хватало ему воспоминаний. Он летом говорил Егору неправду, будто перестал надеяться на возвращение.

Издалека поздоровался с ним маленький человек в английском костюме, тот самый, некогда ненавистный ему, Митрофан Чугунов, но на этот раз не подождал Дмитрия, боясь унизить себя. Теперь все было проще: прошел и прошел, зла на него нет, даже жалко. Но всякий раз оба думают о времени, когда один страдал, а другой наслаждался.

«Вы, наверное, сердитесь на меня,— сказал он весною Дмитрию на трамвайной остановке. — Вы меня тоже поймите. Такая была у меня работа».

Дмитрий не торжествовал и не желал ему горя, как бывало во время борьбы с ним. Он бы пожалел Дмитрия? Нет, конечно. И вот он — никто. Ходит по городу печальный и никому не нужный. Надо уезжать, и только. «Спасибо Астапову,— думал Дмитрий. — Его звонок все решил». Но мести в душе Дмитрия нет. Даже в пору унижений Дмитрию доставало доброты на общение с ним. Случалось, Дмитрий гулял по улице и проклинал его на чем свет стоит, обзывал последними словами, и вдруг по какому-то волшебству тот вырастал перед ним точно из-под земли, приближался с улыбкой, с обаянием наглости, тянул к нему руку, и Дмитрий сразу пропадал, краснел, стыдился своих черных мыслей. Одно дело там, в его кабинете, где кричишь и доказываешь, другое — на улице, среди народа, под единым для всех небом. Какую-то неловкость и робость ощущаешь перед этим обыкновенным человеком, и будто не он тебя, а ты его обижал нападая. И этот его задушевный тон, и любезные вопросы, и то, что он без четырех строгих стен и без той льготы, когда он только указывает, а остальные должны слушать и фиксировать, непривычно топчется и уже карает себя за то, что продержался рядом лишнюю минуту, и его милый мальчишка в немецком костюмчике, ласково и тихо сказавший дяде приветствие и потом застенчиво приникший к папе,— все уравнивало их и как бы напоминало о том, как хорошо можно жить. Теперь он был ниже Дмитрия во много раз. Он и там сознавал, что те, кто приходили к нему, были выше, умнее, способнее, да и общественные интересы им были куда как дороже. Пока он возился со своими дружками, люди о чем-то думали и не жалели праведных трудов своих ради идеи. И ничтожество, когда оно все потеряло, ищет и обретает сочувствие прежде гонимых, кто страдал от него, мучился. Дмитрий так говорил Чугунову в кабинете: «Вы окружили себя нечистыми. Они сейчас к вам ходят, кланяются, угодничают; затоптали вам дорогие ковры, за глаза же презирают вас. И если с вами что-нибудь случится (всякое бывает!), они первыми отвернутся, пройдут по улице и закатят глаза кверху, словно разглядывают что-то на дереве, а вас не заметят. Тогда вы поймете, кто есть кто. Вы вспомните меня. Мужества — подойти и признаться — вы не наберетесь, но при свете ночника над постелью не единожды пожалеете, что унижали меня, вернее, таких, как я. Правда только одна, и она за нами. До свидания. Я больше к вам не приду. Вам не надо будет приказывать своей секретарше: «Не пускайте его ко мне!»

Как в воду глядел!

«А мог бы еще сидеть... — думал Дмитрий. — И мог бы мне исковеркать всю жизнь, забить в такой дальний угол, откуда бы я никогда не выбрался. О, как еще мог бы! И не дрогнул бы».

Те горькие времена прошли, теперь Дмитрий был в чести, но по-прежнему жил сам по себе. Но отчего грустно было ему все три года после победы? Устал? душа все-таки надорвалась? Она была раньше такая доверчивая. Она поправится и вернет свое, но чем ее поднять поскорее? Путешествием? Пожалуй. И не куда-нибудь, а в Кривощеково или на Псковщину к Свербееву, в Москву к Егору. Но сперва хотя бы поближе, в станицу, что ли. Погода стояла хорошая.

А в Кривощекове уже снег, морозы, прекратились занятия в школе. Чтобы попасть в гости к матери Егора, надо на шестом номере трамвая объкружить кривощековскую площадь, на которой к зимним каникулам всегда водружалась высокая-высокая елка, миновать водонапорную башню,

прогреметь по мосту через Обь и сойти у оперного театра. А может, сейчас трамвай ходит до самого конца? Как они клялись в юности вернуться домой! И звала туда эта самая елка с мигающими цветными огоньками над глубоким ночным снегом, над пустырем и базаром. Таких высоких елок уже не ставят, и место застроили, и все там не то, но все равно захотелось открыть бутылку шампанского перед боем курантов в сибирской затерянности. Душе нужно немного, она тает и вольнее бьется среди своих.

Его мечтания перебил бухгалтер Христофор Карпович. Заложив руки за спину, он по воскресеньям отсчитывал по улицам десять тысяч шагов. Высокий, стройный, некогда бо́льшой гуляка, баловень местных женщин, он к старости давал советы по любому житейскому и казенному делу, отменно знал законы (и то, как можно их обойти), сумел бы поговорить «и с министром», в магазинах добывал все, что хотел, благодаря врожденному таланту сначала подступиться, а затем очаровать незнакомца. Но больше всего славился Христофор Карпович хлебосольством и разговорами о еде.

Дмитрия он утешал в трудные годы. «Кто же так делает, дорогой? — учил он его. — Вы меня спросили? Вы спросите, я скажу. Вы не в ту дверь стучите».

При встрече он вскидывал руку вверх и медленно, остро всаживал ладонь в руку знакомого,— здоровался. Следовали обоюдные шутки, Дмитрий разыгрывал из себя солидного начальника, менял голос.

Христофор Карпович, посмеявшись, садился на свой конек.

«У меня появился чудесный сыр, приходите. Нет-нет, уверяю вас! — такого сыра вы не ели. И ни у кого не увидите! А балычок! А коньяк! Вы думаете, это тот коньяк, который вам дают? Это *тот* коньяк! Приходите».

«Христофор Карпович, а мне все одно какой».

«Очень плохо. Ужасно! Для чего живете? Готовитесь в царство небесное? В напитках, в пище надо разбираться так же тонко, как в светских анекдотах. Я любил и люблю благородную еду, великолепные костюмы, хорошую музыку, умную беседу за столом — во всем надо знать толк. Вон на углу кружком стоят мужики. О чем они говорят? Какой завтра будет счет! Это болельщики, древние римляне, не те, конечно, которых вы читаете. Это толпа. Толпа ест и пьет все подряд. Вы видели сейчас: прошел артист. Это артист? Умоляют меня: дорогой, скажите — э-это артист? Антрепренер, с которым я работал в молодости, говорил так: «Ты актер, у тебя нет денег, но ты не иди в столовую. Иди в ресторан, причем самый богатый. Не на что? Закажи супчик и кофе, не напьешься, встань и уйди. Ты же акте-ер!» А этот, вы заметили, несет с базара на горбу картошку. У него и душа из мешковины. Дайте миллион, я не пойду его смотреть».

«Конечно, Христофор Карпович, вы таких людей знали! Вам угодить трудно».

«Я знал самых интересных людей, я действительно повидал на свете. Но когда меня спрашивали, кто, по моему мнению, самый-самый, я отвечал: повар ресторана в Кисловодске! Подождите! — выставлял он руку. — Почему? Я вам скажу. Это не поза. Он не то что понимал вас, этого мало! — он... не найду слова... он вибрировал с вашей душой. Это было в 21 году. Раньше он был поваром наместника Кавказа. Одно удовольствие было говорить с ним. Что он знал? Вы спросите, дорогой, чего он не знал! А он всего-навсего повар. У вас, молодежи, ни о чем понятия нет.

«Не застал, Христофор Карпович, не смею спорить».

«Пойдемте, я провожу вас до сквера... Там был старый базар. Стояли мажары с арбузами. Вы знаете, что такое мажара? Нет, вы серьезно не знаете? Мажара — кубанская телега. Забита была арбузами, подходи, плати копейки и грузи. Скажите, где вы найдете такую рыбу, какую мы ели? Извините меня, вы эту рыбу сами кушайте, мне даром не надо! А что может быть лучше русского кваса? Извините меня, тогда давайте не будем об этом больше говорить! — Христофор Карпович, видно, вспоминал кого-то противного.— Мне шестьдесят пять лет, кто из нас больше видел? А спросите у калмыков, похож ли калмыцкий чай на прежний? Что это такое? Сейчас я вам скажу, дорогой...»

Ненадолго, но все влияет на человека. От утренней меланхолии Дмитрия не осталось и следа. Бодрый бухгалтер, вскинувший на прощанье руку, удалившийся походкой человека, для которого жизнь прекрасна, потому что проста, уколол идеализм Дмитрия. Жизнь прекрасна, потому что проста. Так он никогда не думал и сейчас знал, что, если бы и стремился с юности к благословенной пользе, у него бы ничего не вышло. «Не живем! не живем!» — кричали они с Егором в юности. И что скрывалось под этими словами? За *жизнью* бежал Егор из студии, но за какой? Жизнь — это утро. Но представление о ней было такое, как перед сном, когда чистые желания перевешивают бытовую нужду. Жизнь — это утро. Нет, не так. Жизнь — все вместе. И то, и это. Но Дмитрий и под солнцем ходил зачастую как ночью. А какой-нибудь Христофор Карпович намекал ему с легкостью, что с подобными понятиями недолго и пропасть.

Сколько раз Дмитрий писал другу что-нибудь заполошное, «полоумное», чем он жил втайне от мира, но что, казалось, смогли бы принять все,— такая это насущная правда всякого духовного бытия. Заклеивал конверт, выходил на улицу к почтовому ящику, и становилось боязно, стыдно, хотелось упростить свое письмо, отказаться от острых чувств, таких прекрасных, неистребимых наедине и вдруг как бы убитых улицей, смешных и глупых.

На углу, возле городского сада, стоял в очереди у пивной бочки заспанный Ваня,— с утра у него сосало под ложечкой.

«Как он опустился, бедный,— подумал Дмитрий, не решаясь его затрагивать. — До чего довели его ханыги-дружки. Не послушал меня. Увидел и отвернулся. Стыдно. *Лермонтовские* глаза свои закрыл темными очками. Опухли после вчерашнего? Сколько ему уже? Он года на два моложе меня. На год! Двадцать девять. А худенький, грудь совсем плоская, нельзя ему пить! Какой мальчик был!.. «Ну, напишу оперетту и брошу!» Написал с Лолием, и он его доконал. А все же хочется ему, чтобы я подошел».

— Здравствуй, Ванюша,— сказал Дмитрий.

— О-о, Ди-и-има,— раскрыл он свою милую детскую улыбку. — Димок...

— Зачем, Ваня? Не надо, не надо тебе...— упрашивал Дмитрий. — Пожалей себя. Побереги. Проводи меня лучше.

— Одну секунду можешь подождать? Оно не вредное. Вчера у меня гости были,— солгал он.

Квартира его была рядом — перейти трамвайную линию, и подъезд. Они поднялись на второй этаж.

— Нажимай три раза, как ты обычно делал,— сказал Ваня.

— Еще помнишь?

И кнопка звонка, и общий коридор, и у входа шкаф, заслонявший от глаз гостей ночное ложе, и рояль, и высоко к потолку «Сикстинская мадонна» под стеклом напомнили Дмитрию студенческие годы, когда он каждый день прибегал к Ване. К нему в эту узенькую комнатку шли без конца! Сроду кто-нибудь сидел у него за столом. Пили чай, заставляли Ваню что-нибудь сыграть; пели, праздновались чужие дни рождения, устраивали свидания — влюбленным надо было как бы пройти через Ванин салон, освятиться, скрасить часок.

Ванина мама покорно оставляла молодежь наедине, уходила к родственникам за стенку,— на Новый год полотняная занавеска сдергивалась, из двери вынимали два гвоздя и гуляли до утра в четырех комнатах. Оттуда дядя его, наслушавшись арий и романсов в исполнении расхваставшегося своим голосом Павла Алексеевича, стучал в забитую дверь двумя пальцами — это значило, что он сейчас придет сюда через двор,— звонил, пожимал руку темрюкскому артисту и произносил: «А я думаю — кто там так фальшиво поет?»

Да, в этой квартирке Дмитрий разглядел «весь Краснодар». Щупленький Ваня с золотыми музыкальными пальцами был нужен всем, и он к двадцати пяти годам закружился в связях, в колесе взаимных услуг. Стало легко жить: какую бы песню ни начал, ее уже выхватывали, приотравливали на радио, пели на вечерах в институтах; наконец, одолели его заказы по телефону.

«Это тоже надо, Дима,— отпирался он,— пожалуйста, не учи меня! И то надо писать, и это. Ты же не мальчик — понимаешь»...

Каждый оправдывает свои грехи, ошибки, успехи, как может, никто не любит упреков и, чтобы успокоить себя и отстали с наставлениями другие, на ходу придумывает *позицию*, на которой он-де стоит в жизни, но которой на самом-то деле нет. Тому же скоро научился и Ваня.

Сейчас он жалобно потирал грудь и плакался.

— Я начну новую жизнь, вот увидишь... Истинный бог,— перекрестился он суетливо,— я тебя всегда любил, Дима... Я всегда помнил, что ты это ты... что ты человек... Я не верил Лолию... Когда-нибудь расскажу... Виноват перед тобою... Все брошу, вот увидишь...

— Ты только говоришь, Ваня!

— Почему ты ко мне перестал заходить? Я понимаю, я недостоин... Мне передавали, ты меня презираешь...

— Я, Ваня, не приходил потому, что ты нисколечко не нуждался во мне. Забыл меня в своем временном счастье. Коварном — как обернулось. Как я тебя просил, как предостерегал: не связывайся, Ваня, с этим буратино! К чему он ни прикоснется, все разлагает! Другого такого раздутого пузыря в городе нет. Прицепили ему подтяжки, и он на них держится. Не было у тебя отвращения ко лжи. Он тебя обнимал, хвалил, пользовался тобою. «Мой юный друг, мы больше чем братья! Мы делаем большое дело. Мне т а м сказали: «Лолий, вы наша гордость, мы вас ценим». Все ложь. Опять я начинаю читать лекции тебе. Но как он тебя легко предал! в один миг! Он тебя хвалил, но между тем на тебя жаловался и, когда надо, от тебя отрекался. Ты с ним простился?

— Простился. Хочу вытащить душу из грязи.

— Ты его боишься. Теперь ты не рвешь с ним уже потому, что боишься его. Ну, ладно,— встал Дмитрий и потрогал клавиши рояля. — У меня, Ванюша, никого здесь нет. Можешь представить, как мне было тяжело, когда ты поволокся в сторону. Что я мог тебе дать взамен? Разговоры о добре? Добродетель требует жертв. А когда зло нас разложит, уже никакими кукольными престижами и богатством не откупишься. Поедем со мной в станицу. На денек.

— О Дима,— засмеялся Ваня,— да ничего страшного, уже завтра я буду здоров и сяду работать. В станицу потом. Хочешь, я сыграю тебе песню, которую ты любишь?

— Ну, играй,— сказал Дмитрий и неожиданно воодушевился, подсел к Ване, принялся подпевать. — У меня каждая твоя хорошая песня с чем-то связана. Ты играй, а я буду рассказывать, ведь ты обо мне все позабыл. Помнишь, я часто сиживал в Пушкинской библиотеке? Догонял просвещение. И когда я выходил вечером на Красную, из маленького домика, что приткнулся к художе-

ственному музею, журчала вот эта твоя мелодия. Кому-то понравилось. Красная к вечеру хорошела. Появлялось столько красивых женщин, город славится ими. Но я был робкий теленок и любил только издалека. Я даже сочинил строчку рассказа, который и не думал писать. «Как грустно бродить мимо красивых женщин и с неохотой признаваться, что ни одна из них не станет твоей...» Может, у кого-нибудь украл, да не помню — у кого?

— Ты мне нравишься сегодня! — замотал головой Ваня. — Я тоже сколько раз так думал. А вот эту дурацкую песню помнишь? «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?»

— В общежитии на аккордеоне Кеша ее пилил день и ночь. Слушай, а почему по Красной уже не тянутся по обеим сторонам хвосты гуляющих? Умерла наша традиция.

— Она возникла еще при моей матери.

— А-а, давай, давай,— уловил Дмитрий мелодию. — Ужас, какой я был робкий! Я дружил со спортсменами, они надо мной смеялись и учили: «Чего ты, Димок, их жалеешь? Не ты, так другой. Как увидишь — косит на тебя, хватай и веди!» Я возмущался! Мне все-все казалось в те годы недосягаемым. Даже букинист Марк Степанович был для меня великим человеком.

— Лежит в параличе.

— Очень уж робок я был в первый год. Чужой город, какая-то растерянность. Сяду осенью в сквере, читаю Чехова. Ваня идет. Мальчик нарасхват, куда он направляет стопы? В молодежную газету. Там какие-то разговоры, свой круг, туда не всех подпускают, и ты меня поначалу туда тоже не брал. Там читают стихи, «ге-ни-альные, старичок!» — я потом разобрался в них: чудовищная декаденщина! — анекдоты самой свежей выпечки, новости из Москвы, две-три дамы, вино — я считал, что это и есть местный бомонд. Заезжие гастролеры с ними; московские поэты с ними: Вертинский, говорят (но это не при мне), пустил их к себе в номер. Ах, провинция!.. Но хорошо, что молодость прошла здесь. Теперь не жалею. Я сохранился провинцией. А тогда! Я страдал. Ты улыбаешься. Точно: я страдал. Я тосковал без своих друзей. Ты не замечал разве?

— Еще бы! — солгал Ваня, чтобы не обидеть Дмитрия.

— Но сейчас ни о чем не жалею. Через все надо пройти. Конечно, если в юности что-то стукнуло по мозгам, хочется людей незаурядных, пленяющих (ну вот как Свербеева я потом встретил; ой, письмо надо писать сегодня же!), а если их нет, ищешь заменители, и, конечно, не там. Ты часто выручал меня. Поиграй еще.

— Посоловел?

— И выпил бы с тобой, если бы тебе было можно.

— Мне можно.

— Нет уж! Поиграй.

— На слова Есенина. «Не-е жале-ею, не зову, не плачу...» Я ведь знаю все, что ты любишь.

— Спасибо.

Иногда эту светлую песню подтягивала Ванина мама, а лучше всех пела его жена, которой Ваня помог пробиться в оперетту. Именно оперетта, соблазн приобщения к миру певичек и балерин, музыкантов из оркестра испортили вконец провинциального мальчика.

— А еще я помню, Дима, как ты ходил в столовую нефтяников. Два акробата из «Буревестника», чемпионы страны, потешались над твоей рассеянностью.

— Они меня измучили! Я ведь тоже занимался акробатикой. Утром позавтракаю, иду, на улице Мира перехватывают: «О, великий человек! сразу видно: фуражку забыл на вешалке, вместо шарфа — половичок!» И точно! Фуражки нет. «Позавтракал? Ничего, ничего, Димок, еще две порции возьмешь». Не открутишься. Да я не хочу, говорю, я сыт, ребята. «Ничего, ничего, какую-нибудь клячу полюбишь, каша придает силу». И волокут за собой. Во какой слабовольный. Так же перед обедом. Я, бывало, целый день ходил из столовой и обратно, из столовой и обратно. Хорошо, что не от одного винного ларька к другому, что бы со мной сейчас было? Кто-то звонит...

Впустили.

— Поздравьте меня: я статист театра оперетты!

Дмитрий сперва подумал, что Павел Алексеевич шутит, играет, произносит фразу из какой-то пьесы. Ничуть! — он сытенько улыбался и просил завидовать. Ваня смотрел на Дмитрия: что скажешь? Дмитрий на Павла Алексеевича: ты что, сбесился?

— Ты ведь, Павлик, всегда у нас был статистом,— сказал наконец Дмитрий.

— Зато буду жить в городе.

— А-а, ну это другое дело.

— Дима, нельзя же так! — прикрикнул Ваня.

— Это очень мягко. Павел Алексеевич не обидится. — Дмитрий скорчил нежную улыбку. — Рассказывай, наш дорогой, наш любимый, прославленный в веках кудесник.

— Что же именно? — растерялся Павел Алексеевич.

— Ваня, завари патриарху эстрады чайку. Рассказывай: по сколько центнеров снял, как с кормами, чем народ живет.

— Теперь я тебя узнаю,— просиял Павел Алексеевич и пятерней зачесал реденькие волосы. — Ах, друзья мои, какая тоска! ужас, ужас! Бежать во что бы то ни стало!

— Нет, он удивительный артист, Ваня, зря ты его не ценишь. Статист нашего времени. «Кушать подано». Вечно с подносом и в белых перчатках: слушаю-с, благодарю-с. Вот и пиши пьесу:

«Жизнь с подносом в руках». Еще немножко подрочись и пиши. Я стою на Чапаева, идет из подписного магазина методист с гнилыми зубами, и при нем, семеня ножками, как марафонец, ворочая руками, наш статистик. И нарочно не замечает меня.

— Когда это было?!

— Это было, господа, в наши дни. Но уже после того, как ты сдал экзамены. Если бы корячилась на носу политэкономия или немецкий, ты бы меня заметил, подбежал как песик.

— Как не стыдно, Дима.

— У него одна тема,— сказал Ваня.

— Это и хорошо. Я привык к неблагодарности,— подвинулся к двери Дмитрий. — Пойду, Ванюша. Не посчитай, Павлик, будто я правда зол. Я привык к чудовищному предательству, к жалкой людской скрытности, к жажде доить всех, кого можно,— лишь бы, когда ты продаешься одним, не видели другие. Как же мне было не стать одиноким?! Разве я когда-нибудь подпущу к себе статиста?

— Прости, я торопился.

— Нату-ура такая. Хочешь жить за счет всех! Вот что противно. Ванюш, проводи меня. Не горюй, Павлик. В общем-то статистам живется недурно.

— Ты жесток, Дима,— тихо, сдавленно сказал Павел Алексеевич.

— А предавать человека, которой тебе поверял душу, не жестоко?

— Я тебя не предавал! Клянусь, Дима!

— А клясться нечем. Нечем! Правильно, ты предавал по-другому. Ты же претендуешь на тонкость, вон там на селе народ какой грубый, неотесанный, тебя не чувствует. А ты ловчишь изящно, «с душой». Живи, живи, Павел Алексеевич, сколько влезет, но знай же в конце концов: есть стыд.

— Ни с чего завелся,— сказал Ваня.

— Непонятно? Что ж,— сокрушенно вздохнул Дмитрий и опустил голову,— жуткая, значит, у меня судьба: когда кому-нибудь что-то надо, я понятен и хорош. Вот расчистилась грязь, и всем стало легче, и все ходят героями. Но ведь они молчали! И хотят, чтобы я уважал их. Теперь ясно?

— Я тебя не пущу,— обцепил его Ваня.— Дима, это несерьезно. Мы тебя любим.

— Меня? — уже добрее сказал Дмитрий. Подошел Павел Алексеевич, душечка такой, и тоже обнял его, навалился. — С вами придешь на скотный двор.

— Вот и хорошо, Димок, вот и хорошо,— улыбался Ваня. — Мы скоты, мы страшные скоты перед тобой. Не сердись на нас. Ну, пожалуйста! Дима! Ты бросаешься на всех и даже нам не веришь.

— Э-э, Ванюша,— расслабился Дмитрий вконец,— я всем чересчур верю. Я покричал, обидел, а завтра вы на мне будете воду возить.

— Присядь, присядь, Димок,— сказал Павел Алексеевич, с радостной угодливостью (воистину как барина в старых пьесах) подводил Дмитрия к дивану. — Во-от. Мы тебя любим, ценим, мы слабее тебя, но что делать, что делать, Димуш, ну что-о делать? — всплеснул он руками и задрал голову к потолку. — Артисты поганые, все бы нам играть, все бы ерничать.

— Пашка! Ванька-я! — закричал Дмитрий, пиная товарищей. — А ну на стол! живо!

— Что на стол, барин? — вытянулся Павел Алексеевич. — Водки, закуски? Или самим?

— Сам под стол, дурак! Гады вы,— ласково сказал Дмитрий. — Ироды. Ваню надо забрить в армию, а тебя, Павлик, на свиноферму. А мне пора уже, Лиля там потеряла меня. Проводите. Боля жива?

— Давно не был у нее.

— Сидят. Три неудавшихся артиста. Впрочем, один уже артист.

— Перееду,— сказал Павел Алексеевич. — Буду ходить в гости.

— Лиля моя живо отвадит. Она не любит вертихвосток.

— А я с цветами.

— Ах, пойду! — поднялся Дмитрий. — Чем с вами, лучше Свербееву письмо напишу. Какой человек! Порода! Душу положил на святое дело. Я тебя понимаю, Павел Алексеевич. Ты всегда хотел жить с людьми, которые выше тебя. Хоть прислужником. Я как подумаю, что все, кого я любил, в ком нуждался, вечно будут далеко от меня,— дурно мне! До свидания, братцы. Проводите. Еще одно воскресенье прошло.

— Не жалей, что зашел ко мне,— сказал Ваня. — Я рад тебе. Я понял, почему ты так быстро переходишь от нежности к жестокости. Мы с тобой.

— Возьми себя в руки. Возьми, возьми, Ванюш. Поверь в себя.

— Возьму. С завтрашнего дня — все!

— Приходи в гости. Проводите меня.

На углу Красной и Ворошилова они простились. Как только Дмитрий скрылся в букинистическом магазине, Ваня подцепил за руку Павла Алексеевича и повел на второй этаж ресторана «Юг». Без Дмитрия обоим стало легче.

— Паша нам отпустит в долг,— сказал Ваня. — А с завтрашнего дня — все! Дима хороший парень, но он не понимает, что есть всякие тонкости.

— Диктатор! — сказал Павел Алексеевич. — Он хочет, чтобы все было по его.

И, мелко семеня ножками, Павел Алексеевич взобрался по лестнице к зеркальным дверям ресторана и сказал не пускавшему его швейцару:

— Я сопровождаю!

...Через полчаса, томно поводя головой, обдумывая, как бы выпить с ними и смыться, Лолий предложил тост:

— Вы мои друзья, мы свои люди, нам надо быть вместе. Я пью за улыбку. Я пью за то, чтобы мы почаще улыбались друг другу...

3

Сотни раз, наверное, ездил Дмитрий в Темрюк из станицы, и сотни раз было одно и то же. Как будто что-то должно было свершиться там, а сердце опять обманулось: ничего, ничего ровным счетом! Он набирал свежих газет, книг, больших репродукций с картин (пейзажи, мадонны), кнопок, шариковых ручек, блокнотов, всякой хозяйственной мелочи (подобно человеку, страждущему украшать даже временное жилище), и когда покупал, пересекал улицы, предвкушал домашнее чтение, чувство было такое, что день он потратил не зря. Но вместе с тем уже на автостанции скребла какая-то пустота: а что сделал? кого увидел? Собирался накануне и ехал утром с настроением, точно за унылой степью, на холме, его кто-то ждал; но ничуть: всем было некогда и не до него. И все повторялось с обидным однообразием: сначала, выскочив из автобуса у гостиницы, он набрасывался на газеты и журналы, затем поспешал в книжный магазин, после в продуктовый, и через час и карманы его, и портфель были раздуты. Он вдруг замечал за собой, что редко ходил по городку налегке, и, если привлекала его внимание какая-нибудь молодая особа, Дмитрий, стесняясь своей ноши, даже сторонился и притворялся равнодушным. Все то же, все так же: клуб возле сквера, пустая к вечеру базарная площадь, холмистые на востоке края, солнышко за мостом, в той стороне, куда опять ему возвращаться с крикливыми бабами. Конец дня. Скорей, скорей к хатке у моря! И чувство его так же нетерпеливо, как утром. Чудеса и покой и *что-то* теперь там! И наверное, письма лежат на столе! Так тяжело, когда писем нет! Открытка с приветом успокаивала на несколько дней. А то думалось-думалось перед сном: «Неужели трудно кому-то за тридевять земель черкнуть пару строк?» Ждешь, ждешь — и ниоткуда. Что толку вставать, настраивать себя: ну, сегодня будет точно! Уже одиннадцать, почту еще не привезли, но письмо-то есть, так что потомиться часок-другой не беда. Разноску почтальон начинает с дальнего угла, и десять раз выскочишь за ворота: ну скоро? И только ушел, выпил воды, а она уже что-то бросила в ящик белое! Письмо, письмо! Нет... газета. «Динамо» — «Спартак» — 3 : 0.

Зато по возвращении из Темрюка письмо всегда было.

Все это мельком вспомнилось Дмитрию теперь, и не просто так, а как невозвратная странность того одинокого времени, когда он тяготился глушью. Переживал! страдал? Из-за чего? Куда все делось? И не преминет ли он сказать, что та пора была самая счастливая в его жизни? Во всяком случае, миновав горбатенький мост через мутную Кубань, взглядывая на сады Голубицкой, ракушечные низы берега у Пересыпи, на лиманы сбоку Ахтанизовской и на залив в Сенной, Дмитрий без всякой печали обдумывал свое прошлое и то и дело поталкивал локтем жену: «Лилечка, посмотри, здесь я бывал...»

— Ты помнишь, как ехала в первый раз?

— По-омню...

Теперь она не любила вспоминать об этом. Тогда наступала на него она.

— Что ты унылая, Лилечка?

Волосы ее стали седеть. Дмитрий чуток коснулся их на затылке и обнял жену за плечо. Она высвободилась.

— Что ты?

— Ничего. Так неудобно.

Последние месяцы она не отвечала на его прямые вопросы и непокорна была на его ласки. Даже грубила ему почем зря, вредничала. Ее задумчивость, чтение книжек наедине, вообще мрачное желание запереться в своей комнатушке, лежать там часами, потихоньку гасить свет выводили Дмитрия из себя или побуждали с грустью гадать: что произошло? Иногда она выталкивала его спать на диван, но вдруг будила ночью беспомощным жалобным голосом: «Ди-има, иди сюда, мыша бегает, я бою-юсь...» Эта пустячная причина сближала их, и тотчас казалось Дмитрию, что он зря придумывал жене коварные замыслы или обиды, и все ж таки часто-часто, когда она читала или мыла посуду на кухне, высказывал он ей втихомолку свои недоумения: «Что же ты, Лилечка? Или не чувствуешь? Тоскуешь? Напрасно связалась со мной? Почему ты перестала меня спрашивать о чем бы то ни было? Молчишь, молчишь. А жизнь идет. Потом жалеть будешь, ведь это самые лучшие годы, их нам никто не вернет... Тебе со мной плохо? Но почему же не скажешь? — Тут он встревал в разговор с ней вовсю. — Я так глупо создан: душа моя дрожит перед будущим. Может, неуверенность моя и сбивает тебя? Вспомни наши путешествия... А дома ты живешь и как будто хочешь вернуть что-то... первое... Я тебя жду, ты сейчас помоешь посуду и не зайдешь. Словно я в отъезде. Последнее время ты проходишь в моей комнате только затем, чтобы вынести кастрюли на балкон,— молча, даже не взглянув. И между тем ты вроде бы ни в ком другом не нуждаешься. Или я ошибаюсь? Но одиночество вдвоем — страшная штука! Большинство браков как бы для видимости. Ты скучаешь без меня, когда я в командировке? Чем ты живешь в эти дни, от тебя не добьешься... Когда меня кто-нибудь хвалит, ты злишься. Отчего? Что с тобой случилось?»

Вела с ним тайный обмен мыслями и она?

И о чем она думала в дороге?

Боле они везли маленький самовар. Лиля, словно по примеру Боли, оглядевшей и ощупавшей Дмитрия, наговорившей комплиментов, принялась заботиться о муже, о его здоровье и т. п.

— Вы, мои птн, не можете представить,— говорила Боля,— до чего я соскучилась по вашему голосу. И по вашим чудесным глазам, Лилечка, у вас, моя милая, глаза как у старшей дочери Пушкина, я сужу, разумеется, по портрету...

— Я привез вам «Юманите».

Лиля села с ней чистить картошку, а Дмитрий вышел за воротца поглядеть на далекую, за серебристой водою, Керчь.

По берегу дул неприятный ветер, безлюдно было на пристани; над Лысой горой, над засохшим озером грозно и мертво висели тучи. Другими прибыли сюда Дмитрий и Лиля. Пять лет назад, перебравшись к Дмитрию в станицу, Лиля всю осень привыкала к соседям, к новым знакомым, к тому, что она при Дмитрии. «Кто такая? а вы чья?» — эти вопросы мучили ее, она краснела и не произносила слова «жена». Казалось, все знают ее историю. Они жили тихо, уединенно; нужно было пережить рубеж, за которым скорее будет гаснуть прошлое. Егор их подбадривал в письмах, а в ноябре навестил. Но получилось так, что Лиля была не с ними, в стороне, и, когда Егор уехал, Дмитрий заметил, что Лилю нестерпимо тянет домой. Дмитрий просыпался среди ночи по нескольку раз. Горела лампа, Лиля читала рядом «Княжну Тараканову». Что с ней? В декабре она отпросилась домой на десять дней. Часы в комнате Дмитрия стояли, он до трех ночи крутил приемник, чуть слышно пел песни и думал, что он никому в жизни нужен не будет. Это, конечно, красиво, благородно: бороться, нести крест. Но женщина молча противится в семье тому, что любила раньше в мужчине, за что скрытно жалела его. «Что же ты не едешь, Лилечка?» — ждал он ее глухими ночами, не соображая, как жить дальше. Ну, конечно, ее можно понять: ей скучно, ей больно в деревне, и какое у нее с ним будущее? Да, кто он такой? что в нем хорошего? Ничего впереди. Он то же, что артист без имени. «Погибну я»,— совсем уж уничижался Дмитрий, чувствуя в себе ту обреченность, которую легко принимаешь, потому что вдруг сверкнет, что иного уже не может быть. Но Лиля же и разбивала его ненадежные мысли: привозила для него из города новые вещи; затевала стирать, гладить, украшать комнату; ругала подруг, которые зарятся на богатства; была нежна, ласкова. Не понять этих женщин!

Комнатка, где он жил, была пуста, лишь со стены Боля не сняла репродукцию.

— Любовь земная и любовь небесная,— сказал Дмитрий.

Достал сигареты, закурил.

«Я здесь жил? Антошка, Егор спали у меня... я произносил монологи... Любил читать Стендаля. Лиля... дверь на ночь открыта... Аввакум трещал... Надо бы повидаться».

Тихонько зашла Лиля.

— Стоишь? Изучаешь творчество Тициана? М-м? — Она вся прислонилась к нему, как будто долго ждала часа, похожего на тот, ею забытый, когда она впервые переступила порог этой комнатки.

Дмитрий вывернул лампочку и в темноте сладко поцеловал жену. Разве она, такая добрая, непритворная, заслужила его упреки? Хорошо, что она ни разу их от него не слыхала! Один миг — и все разрушишь нетерпеливым словом. Что прошло, то легко. Случай или господь бог всегда помогают. Во всем — в счастье ли, в поражении есть высшая справедливость. Назначено было ему самой природой провалиться с мечтой об актерстве. Все точно, разумно под этими звездами. Нельзя было ему жить без Лили. И не случайно, наверное, занесло его в этот теплый ласковый край. Никуда он уже отсюда не уедет. Он родился для тихой, неспешной, какой-то даже старомодной жизни. Там в городе, на улицах, тенистых от садов у невысоких домиков, ему по себе. И вот здесь, в станице. Еще бы он мог жить в Изборске или на севере, где его деревенская душа не путалась бы в сетях призрачной жизни. За тихость и длинные дни любил он провинцию. Он родился и умрет в провинции.

— Не хотела бы жить в Москве?

— Смотря с кем,— сказала Лиля.

— Со мной.

— Не понимаю, как там твой Егор живет. Сначала кажется, что для жизни надо много, много всего, не перечислишь. А потом... даже вот так стоять и знать, что сюда никто не войдет, и море шумит, и...

4

Так уж устроено: жены друзей не сходятся между собой и своим равнодушием, придирками постепенно дружеские отношения низводят до отношений между семьями.

Лиля с неохотой позвонила Наташе.

— Надолго в Москву? — спросила Наташа. — А где вы остановились?

— У моей подруги.

— А то приезжайте к нам, я одна. Где Димка-то? Ну, приезжай без него, потом и навестите Свербеева вместе.

Наташа стирала. В большой комнате они, мельком взглядывая друг на друга, поболтали минут сорок. Обе оживлялись, когда дело касалось мужей, главным образом их странностей.

— Нет-ет, они ненормальные, это за версту видно,— говорила Наташа непререкаемым тоном,

в котором таилось скорее довольство, нежели обвинение. — Как мы их терпим? Из них только Никита серьезный. А мой, твой или Свербеев — это с ума сойти. Егор, он же кран не закрутит. Поломайся что — не закрутит и не починит. Он мне бельевую веревку три дня натягивал!

— А Димка! — подхватывала Лиля. — Послала как-то единственный раз в магазин, он выбил чек в кассе, положил в карман и три дня носил его, пока я не спросила: «А где же крупа, конфеты, колбаса?» Надо же! — три дня таскать в кармане! Газет накупит и читает дорогой.

— Зато Егор мой славится выращиванием овощей на даче у сестры. Посадит и улетит. Уже все желтое, в зарослях. Я не езжу.

— У нас мать этим занимается.

— Или их встречи,— вспомнила Наташа. — Ужас! На кухне запрутся и до двух-трех ночи бубнят, курят. Решают проблемы! Хуже баб.

Едва ли женщины замечают, какую обиду они наносят друг другу, как пробалтываются и теряют тонкость. Наташа вдруг пустилась защищать Владислава.

— Ему не так-то легко найти невесту, понимаешь?

Лиля молчала.

— Он видишь какой,— продолжала Наташа. — Ему необязательно, чтобы его любили, важно, чтобы *он* любил. Понимаешь, да? Есть у человека маленькая простенькая мечта: полюбить кого-то, больше ему ничего не нужно: ни славы, ни денег.

— У всех это так просто, почему же ему нет достойных?

— Он ищет похожих... на тебя,— сказала Наташа.

— Что значит... похожих?

— Внешне, наверно.

— Глупости какие...

— Он вчера мне звонил. «Ах, матушка, заеден Москвой, хочу прочь,— карету мне, карету! Опять видел во сне Лилю, и с такой близостью и жалостью к ней, что проснулся и заплакал. Нет ли у тебя хорошей подруги?» Мне его жалко иногда.

— А кто у вас еще бывает? — спросила Лиля, чтобы увести разговор в сторону.

— Кривощековские,— звонят, ночуют, я устала от них. Единственное — Никита приедет, так я рада, это мужчина, у него и разговор мужской. Я поотвадила многих,— какие-то школьницы нашлись, в кружках в Доме пионеров вместе занимались, че-орт-те кто звонит. Кружки, танцы, а там кто их знает. Никому уже не верю. Так просто ничего не бывает: всем что-то нужно.

— Свербеев?

— Он два раза в году звонит из больницы. В Первой градской его лечат. Ты его видела хоть раз?

— Мечтаю увидеть,— сказала Лиля.

— Большое дитя. А Егор и за границей друзей позавел. Югославия, Болгария, ФРГ, даже французы у нас были. — Начинались минуты гордости мужьями. — Книжки детские шлют. А ему все: Кривощеково, Кривощеково! Главное, ты поверишь, Лилечка, я его отпускаю: езжай, езжай, ради бога! Только не ной. Намерзнешься и вернешься. Бросай свое кино, пожалуйста! Что хочешь вытворяй, я знаю, тебя не переделаешь. Только не изменяй мне даже взглядами.

Что Егора любят женщины, Лиля не сомневалась, но заводит ли он с ними романы — она в точности не знала.

— Егор-то? — каверзно подняла брови Лиля. — Да он святой у тебя.

— Ну... святой не святой,— уверенно сказала Наташа,— а не жалуюсь. Не ловила.

— А Ямщиков? — Лиля все спрашивала, спрашивала, и если бы не ее вопросы, неизвестно, о чем бы они говорили. Наташа как-то рассеянно принимала ее. — Жив-здоров? Что-то его давно не видно в кино.

— Приглашал нас на день рождения. Были Панин, Лиза.

— И Ли-иза?

— А у них ничего нет,— сказала Наташа. — У него прелестная жена. Он дед уже! Двое внуков.

— У нас в городе известно даже.

— То у вас... — точила ее глазками Наташа. — У вас базарная газета, наверное, выходит — «Бабье утро».

— А Лизу ты хорошо знаешь?

— Со всеми милочка переспала. Устала, наверно. Лет семь назад повезла меня на день рождения. Я тогда дурнее была, никак не могла понять: что за нравы? Приехал муж с молодой женой и детьми, его бывшая жена с любовником и детьми от мужа этого, приехала старая любовница с любовником своим, и все между собой в нормальных отношениях. Жены шушукаются, секретничают, никаких неловкостей, ревности, обид. Добропорядочная свалка! Это что такое? — думаю. Самая наглая деревенская баба никогда бы не потерпела этого! Насмотрелась я. Еще — забыла — старший сын с третьей женой прискакал. Милейшие отношения! И Лиза с хахалем... Ты что-нибудь успела купить?

— Да ничего хорошего нет.

— Надо было написать, я бы тебе поискала. А расцвела. А я... не выхожу из квартиры. Были бы мы как некоторые, не будем уточнять кто, нарядились бы сейчас и к кавалерам.

— Что-то ты, вижу, много говоришь об этом.

— А что мне еще делать? Егор на море не возит, все са-ам. И сам-то он, бедняга, пять лет в отпуске не был. Как студию закончил, начинал сниматься в Изборске, так и летает,— представляешь! Заведу любовника,— засмеялась она. — А чо? Егор говорит: «А чо?» Валенок сибирский. Нет, он хороший, хороший. Всегда зво-

нит два-три раза в неделю, а тут... да дней десять уж. И ни звука.

— Сегодня позвонит.

— Ты же одна едешь? Дима в Кривощеково? Вот и Егор туда же правит.

Лиля повернулась к зеркалу, сравнила себя с Наташей и подумала, о чем ее спросить еще.

— Ну а... а Никита как живет?

— От него не узнаешь. Гитару на колени и мычит. «Скажи хоть, как с бабой своей живешь, что в Париже видел?» — «Мечты и звуки». Вот он все умеет. Его жена барыня.

— Ну а...

И уже нечего было спрашивать о жизни, которая ее не задевала; у нее же Наташа ни о чем не спросила хотя бы нарочно.

Лиля обошла комнаты, посмотрела библиотеку, детские кроватки, шторы, мебель; Наташа стала мыть посуду.

— Хорошо у вас,— похвалила Лиля.— Палас где брали?

— В Риге.

— Я мечтаю о паласе. И хорошо, что ковров нет. Я тоже никогда не буду себе покупать.

— Может, чаю попьем?

— Спасибо, но уже поздно.

— Ну, приходите вместе. Что надо будет, пиши.

Так, лениво отдав долг вежливости, они расстались. Когда хлопнула за спиной дверь, подумалось о том, что Наташе она за какой-нибудь час надоела смертельно. Но почти всем кажется что-то похожее, если долго топчутся у порога и потом резко закрывается дверь...

В это же время по дорожкам Донского монастыря ходили Свербеев и Дмитрий. Свербеев лежал неподалеку в больнице, его отпустили погулять во двор на часок, но Дмитрий сманил его сюда. Только что шли по улице: афиши, призывы на щитах, названия магазинов, номера троллейбусов... и вот за каменными стенами — другой мир. Счищая с надгробий перчаткой снежок, читали они надписи: «...всей добродетельной и истинно христианской жизни ея было 24 года 10 месяцев и 19 дней...»; «И да приидет на мя милость твоя Господи спасение твое по словеси твоему»; «незабвенному другу от неутешного супруга с четырьмя сиротами...» Опять все знакомые имена: В. Л. Пушкин, Сумароков, Чаадаев, Одоевский, Херасков, В. П. Тургенева, В. О. Ключевский... Опять думалось: жили-были...

Опять говорили о лучших сынах России и о ней самой...

5

Как же так?! Куда, каким ветром уносятся человеческие чувства? Как, почему убывает наша душа? Одна память примерно служит нам, но что память без волнений, без страсти к тому, что было? Мечты, желания, письма, надежды, печаль — зачем все это было? Было с тобой, ты еще жив, тебя узнает каждый по глазам, по осанке, но душа твоя что-то потеряла, и эту утрату хранишь только ты. Было, было, было — и нету. Иногда страшно и скорбно оглядываться назад. Страшно изумляться, как то, что было в твое время незаменимым, отступило и завяло,— и так тихо, по шажочку, по пяди, в смене месяцев и лет. Все летит и меняется в каком-то кружении, но твои представления о лучшей жизни остаются такими, какими они сложились в том далеком пропавшем возрасте. Поймет ли кто тебя теперь, если и сам ты на мгновение онемел и засох? В Кривощекове в родном доме висело у окна большое старое зеркало в пятнах. Всю зиму десятого класса Дмитрий вертелся перед ним, отрабатывая дикцию чтением до бессмысленности заученного отрывка из «Илиады» Гомера: «Гектор стремительно из дому вышел прежней дорогой назад, по красиво устроенным стогнам...»

И он, он, Дмитрий, сошел когда-то с отцовского крыльца; домой, домой! — все кричало в нем на юге несколько лет. Но сколько же позабыто им там из своей ранней сибирской жизни! Чувство теперь не отзывалось на прошлое. Он потерял Кривощеково. А как он рвался к нему! Тысячу раз вспоминал он и базар, и школу возле него, и улицу Станиславского, и трамваи номер 6, 4, 9, и кинотеатр «Металлист», и мемориал погибшим на войне. И нет больше сил ни жалеть, ни мечтать. А зима стояла лютая, но снегу, чисто и пухло лежавшего после войны на их улице, теперь выпадало мало, и по кочковатой дороге к болоту пестрела земля. Он никогда не переедет сюда, никогда!

— Мы живем по суетливой секундной стрелке,— сказал друг Никита за столом,— и до минутной не всегда можем подняться. Но, чтобы оправдать свою жизнь (перед собой же), признать ее содержательность и реальность, мы убеждаем себя, что секундная стрелка, наша жизнь то есть, и есть вечная. Если бы! Есть еще и минутная, она показывает на ничтожность и суету секундной. А есть ведь еще и часовая! Она движется к вечности. Только душа не знает времени, она, слава богу, свободна. Пусть ваша душа не теряет из виду вечного времени...

По возвращении в Москву из Кривощекова Дмитрий зашел в больницу к Свербееву. В передней для свиданий стоять было скучно, и они снова пошли в Донской монастырь.

— И в позапрошлом году вы не приехали, Дима, и в прошлом. А я вас ждал. Повезу вас куда-нибудь... Приезжайте! Не обманете меня? Жизнь наша летит так быстро...

Он говорил и глядел вниз; перед ними у самых ног еле-еле проступали на камне выбитые слова: «Господи! Прими дух мой с миром...»

— А помните, пять лет назад мы так же стояли с вами на Труворовом городище?

— Как же, как же!..

— Почему не живем мы вместе? Переезжайте к нам! Я вам отдам свою комнату, а потом получите.

— Непросто это.

— А так... когда это мы еще встретимся?

— У нас с Егором с самой юности припев: когда же мы встретимся? Когда же мы...

Глава восьмая

ВЕЛИКАЯ И ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ

1

И что же теперь было делать? Писать, звонить, жаловаться, как без нее тяжело и что он ее любит больше всех на свете? Внезапно сорваться, подбежать в одиннадцать к пятой кассе Ярославского вокзала, затем с удовольствием предъявить билет проводнице вагона?

Они расставались надолго, и поцелуи их были усталыми, безнадежными. «Ты уже иди»,— избавляла его К. от последних слов, и он покорился, пошел по перрону не оглядываясь.

Нет уже и этих дней. Снова письма — зачем? «Ты сокрушила мою прошлую жизнь...» Что она должна думать, читая его нежности? Она будет сердиться: звала к себе еще раз, это так рядом, но он не решился.

Нет уж ничего, и как опять жить?

Его мучила жалость к ней, к себе. Счастье ценишь, когда его нет. Он удивлялся, почему не сказал К. то-то и то-то, почему порой ворчал на нее и, главное, не боялся, что пропадет, навеки исчезнет легкий миг жизни с нею. Но если повторить свидания еще и еще, все равно будет мало и всякий раз такая же возьмет тоска.

«Только иногда,— говорил ему Владислав,— ощущаешь, что живешь, что это *ты* и есть. В минуты горя или счастья. Скорее — горя. А так... я это или не я? — не чувствуешь. Бегает кто-то другой».

«Если сильно-сильно затоскуешь, то приезжай»,— сказала она ему в электричке. И он ничего не ответил.

Она никогда не была такой нежной, покорной, такой распятой на любви к нему. Черным облаком висели над ними те четыре с лишним часа, которые отпускались им на прощание. Тут еще подстерегала в Москве нужда: зайти в ГУМ. Электричка пришла в 19.24, ГУМ закрывался в 21.00. От метро «Дзержинская» они шли не торопясь, дорожа тем, что идут вместе.

Все четыре дня, в подмосковной избе, они предавались счастью и про неизбежное расставание забыли. Еще раз обрели они уединение и каждую минуту жили друг для друга. В блокноте Егора лежало ее письмо. К. улыбкой извинялась за оплошные признания и мрачность, за свое отчаяние: все вернулось, и правда расстроенного сердца волшебно сгорела в новом чувстве. Ни прошлое, ни будущее не мешало. Ею владел миг. Однажды К. сама попросила зачитать несколько строчек из ее письма. Егор протянул руку к блокноту, вынул конверт и развернул листки. Она сзади подглядывала и молча читала вслед за ним. «За эти дни я сказала тебе мысленно много слов. Я стояла перед тобой на коленях и молила не покидать меня и продлить мою жизнь. Я рассказывала, как невозможно мне жить без тебя, я ревновала тебя, я проклинала тебя и обещала забыть. Я любила тебя. Как бессильна речь, когда любовь уходит. Где то единственное слово, которое может ее вернуть? Я не стану больше тревожить тебя. Я прощаюсь с тобой».

— И так далее,— сказал он. — Значит, проклинала меня?

— Да. — Она тихонько прижалась к нему, точно просила не наказывать ее больше. — Я сейчас люблю тебя еще больше. Ты знаешь... здесь со мной случилось самое страшное...

Егор вздрогнул и посмотрел на нее. В тех случаях, когда она волновалась, он зажигал для нее сигарету. Сейчас он сделал то же. Он ждал. Он знал, какая откровенность нисходит к ней в минуты, когда немыслимо носить тайну в себе. К тому, что она раскрыла в своей судьбе, каждый раз добавлялось еще что-нибудь.

— Я окончательно потеряла надежду, что смогу привыкнуть к разлукам.

— Но что же делать?

— Я не к тому. Я погибла, Телепнев. — Она повернула к нему лицо и с вкрадчивым *восторгом* всмотрелась в него: он ли это? — Ты такой хороший. Мы больше не будем ссориться. И я была виновата, что любовь наша чуть не погибла. Мы больше не станем так рисковать. Какой-то добрый святой еще охраняет нашу любовь.

— Это мы сами,— сказал Егор. — Едва расстанешься, чувствуешь, без кого ты остался. Я с тобой все время разговариваю.

— И я. Лягу, отвернусь к стене и пишу, пишу тебе письма. В темноте. Жалуюсь, плачу, зову.

— Но я-то не знал.

— Я боялась тебя тревожить. Надоесть раньше времени.

— Ошибка всех женщин. Да знаете ли вы, женщины, что из-за своих охранительных штучек вы прячете то, чего нам всегда недостает?

— А чего недостает вам?

— Нежности, полной откровенности.

— Мы в неравном положении. Я тебя выбрала, нашла. Мне трудней. Я тебя люблю сильнее, чем ты меня. Я не могла писать тебе зимой. От разлуки с тобой горе сломило меня. Мне хотелось куда-то уехать, забыться или просто лежать, ни о чем не думать, никого не видеть, ни с кем не говорить. Я думала, что вот так, наверное, и умирают от любви и расставания. Только ты мне был

нужен. Ты — это ты, но это и я, и мой отец, и... — Она замолчала.

— Я догадываюсь,— сказал Егор.

— Я уже не говорю, что ты пробудил меня. Я никогда ни с кем не испытывала женского счастья. Понимаешь, что на тебе все сошлось?

— Я тебя люблю...

— Мне в самом начале приснился плохой сон. Какие-то горы, и высоко, прямо в воздухе висят огромные круглые часы. Часовая стрелка — я, минутная — ты. Мы идем по кругу. Вдруг в часах что-то зазвенело, и стрелка — ты — бесшумно полетела вниз, в пропасть. Страшно, правда? Я проснулась и подумала: ты можешь оставить меня, я все пойму, но если ты куда-нибудь упадешь, я не буду жить ни одной минуты.

— Что ты говоришь!!!

— Я знаю это давно...

— Мне не нравится, что на тебя находит затмение. В страшный безысходный миг надо вспомнить, что все проходит, забывается, что жизнь снова бывает прекрасна. Мне и еще одно не нравится...

— Что именно?

— Ты едва встретилась со мной, уже думала о конце. Зачем? Ты так никогда не будешь счастливой.

— Я счастливая, счастливая,—испугалась она.— Ой... тебе не представить, как мне было хорошо. Я была ошеломлена неожиданным счастьем. Я не верила, что это ты и я была с тобой. Когда тебя нет рядом, ты двоишься, я тебя вижу таким, каким представляла до встречи. Тогда я уехала из Херсона, вечером купила цветов и шампанского и сидела одна. Написала тебе открытку. Мне захотелось истратить все деньги. Я оставила себе всего пять копеек, но я забыла, что автобус с аэродрома стоит дороже и что мне еще ехать на поезде. Хорошо, попался мне знакомый из нашего города. Хм! — посмеялась она над собой.— Надо же! — И обняла Егора.— Я тебя очень любила, Телепнев. Я тебе издалека говорила, но не написала: ты не кручинься, если когда-то тебе придется меня обидеть. Ты все время помни, что однажды сделал меня счастливой. Ведь я что думала: приеду, взгляну только на тебя, попрощаюсь и начну новую жизнь, выйду замуж.

— Почему ты называешь меня по фамилии?

— Потому что до сих пор не верится, что я с тобой. Я ехала сейчас и боялась: а вдруг ты опять за что-нибудь на меня рассердишься и пожалеешь, что пригласил.

— Я никогда так не ждал тебя.

— Я тоже торопила поезд, а он опоздал. Обычно я тяжело начинаю утро в дороге, а тут вскочила со своего тридцать третьего места,— удивительно, да? — ты тоже ехал на этом месте от меня.

— А вагон был четырнадцатый?

— Нет, двенадцатый. Вышла в коридор. В домах проснулись. Вчера я была у себя, а теперь уже почти рядом. Где ты там? Когда дома были маленькие, я думала, как хорошо бы нам быть там сейчас. Чтобы не спешить, никого не стеснять. Я беспокоилась: ты уже заждался меня и, наверное, пугаешься, что я и вовсе не приеду. Было так?

— Ты идешь и глядишь в землю. Машин много.

— Я осторожно! Я проехала лишнюю остановку и потом шла по обочине. Радостно мне, весело! Как однажды ночью, когда я шла через лес к бабушке. Эта обочина — как твое утро под Ярославлем. И еще мне вспомнилось... Волнение... Все мои сомнения и надежды на счастье... когда я подходила к твоей гостинице в Херсоне. Но как славно! Ты спал.

— Дама приехала, а он спит! — с баловством сказал Егор. — Ах, негодяй!

— Я думала: ну не примет, прогонит, пусть не понравлюсь ему — зато совершила поступок. Раз в жизни. И уеду. Утешала себя. И думала еще: а вдруг он с женщиной? Почему — не знаю, но какая-то женщина — непременно! Дура я.

— Какая о нас слава,— сказал Егор.— А у актеров все как у людей. Ну все!

— Я тебя люблю,— с тихим отчаянием закрыла она глаза, и Егор понял ее.— Я подсчитала, сколько дней мы побыли вместе. Мало.

«Надо жить вместе,— подумал Егор,— или...»

— Ты тоже не горюй,— прислонилась она к нему.— Все пройдет...

— Утешаешь?

— И себя тоже. Я знала, знала, что так будет со мной. Я сразу готовила себя к этому. А все равно!

Все четыре дня в Подмосковье она напоминала ему ту К., которую он себе создал. Ее такую он любил, жалел и даже чувствовал вину перед нею. Было так хорошо вместе, а он ее провожал домой. Она все понимала и соглашалась на разлуку безропотно и обреченно. К. отпускала его к жене, к женщине конечно же другой, нежели она, и было непонятно, как после этой тонкой любви, после слов, ласк и отречения от прошлого, он сможет касаться той соперницы, которая была обстоятельствами счастливее К., говорить ей что-то, улыбаться — ведь никуда он от этого не денется? К. и не заметила, как стала его ревновать ко всему. Его там ждут, но не так, как будет ждать она. Зачем ему быть там?! Она держалась за его руку. Это еще был он, он, он. Когда она внушит себе, что это он и она с ним? К. робко, как бы с извинением ревновала его к прошлому. То есть ей было жалко, досадно, что доставлял ему радость кто-то, а не она. «Я при нем и мир стала воспринимать по-другому,— думала она.— Раньше была ироничнее, смелее, легче отходила от неприятностей. А теперь иначе. Запоминаю милые мелочи, милые лица и слова. Будто очистилась и помолодела. Я его таким и в фильмах чувствовала. Не по себе только, что тогда он не был моим. И фильм, где он прыгает в море, не при мне, и целуется в «Голубях»

не при мне, все не при мне... Глупо, но обидно почему-то. Часто ли мне придется ревновать?»

— Не годимся мы с тобой для романов,— сказала она. — Нет у нас с тобой легкости.

— У нас в группе, где я сейчас снимаюсь, есть оператор. Пожилой. Вот такой дядька! Жена, взрослые дети, а он всю жизнь любит другую. Ездит к ней в Воронеж, она замужем. Нежнейшая любовь всю жизнь. И так часто.

— Ну и что — это правильно?

— Я не говорю: правильно-неправильно,— я говорю, что так часто. Ты, пожалуйста, не переноси на наши отношения. Это жизнь. Хм! Хотя терпеть не могу: жизнь, жизнь, это жизнь. «Это жизнь» почему-то то самое, что мешает жить как хочешь, как должно.

Потом на улице 25 октября в Москве, когда шли к ГУМу, и в ГУМе, пока он ждал ее с покупками, и на обратной дороге у Егора много раз менялось настроение. Вечерняя улица опустела, и оттого, что они впервые (и к тому же на прощание) освятили своим присутствием старый московский уголок, Егору хотелось, чтобы она запомнила и магазинчики, и какое-нибудь причудливое окно, и здание в восточном стиле, которое сейчас забелеет справа. А вдруг это их свидание последнее?

— Вот аптека большая. Запоминай.

— Запоминаю,— понимала она его.

— Пройдешь без меня и вспомнишь: а вот здесь тогда мы были. Ладно?

— Ну.

— Булочная... Не хочешь в булочную?

— Не хочу. Давай я как-нибудь приеду в Москву, и ты меня поводишь, и в «Славянском базаре» пообедаем.

Он промолчал.

— Магазин «Тик-так»...

— И вон уже ГУМ.

— И уже ГУМ. Любимец народа. Запомнила, где мы были?

— Ты уже прощаешься со мной?

— С чего ты взяла?

— Ты обо всем говоришь в прошедшем времени.

Егор вдруг устал. Есть минуты необъяснимые: все мгновенно надоедает и хочется переменить место либо остаться одному. «Скучно» — так определяла подобное состояние сама К. Вспышка настроения не была связана с последней вопрошающей жалобой К., но все же возникала она из этой искры. Что объяснять? Егор подумал о доме. Вдруг надоело блуждать. Поначалу ничто не мешает любви, а потом ей нужны условия, чтобы не уставать от хитростей, которые влюбленные придумывают ради короткого счастья. И ни с того ни с сего прилипла мысль о работе, как будто К. была виновата в том, что он три года играл пустяковые глупые роли, и как будто ему нужно мигом сорваться и отдаться творчеству — где? как? самому непонятно. То и было состояние усталости или печали, поднявшееся из глубины благодаря легкому минутному раздражению. Оно так же легко пропало.

Они вошли в ГУМ.

— У нас чуть меньше часа,— сказал Егор.— Успеешь?

— Давай мы разобьемся. Мы так не успеем, и потом, я не смогу смотреть товары с мужчиной. Я теряюсь! — извинилась К.— Правда. Ты иди в гастрономический, а я пока поищу кофту или платье. Не будешь сердиться?

— Буду,— сказал Егор,— нарочно.

— Ну вот! — приняла она его всерьез.— Ты даже в этом не хочешь помочь мне? Противный.

— Я закажу приказчику, он тебе все принесет.

— Какому приказчику?! А-а,— отмахнулась она рукой.— Ой, я ду-ра, я же все принимаю серьезно, ну тебя, ты не шути так. Пошли. А где мы найдем друг друга?

— Если уж не у того вон фонтана, то на том свете.

— Ладно! Или в крайнем случае: когда будут выгонять из магазина и я не успею к фонтану, тогда жду у «Славянского базара». Ладно? Ну иди,— сказала она и поправила ему воротник.

Они были сейчас как семейные.

Фонтан находился на 2-й линии первого этажа. Егор подошел к нему без четверти девять. И как же он ждал ее! За пятнадцать минут успел стосковаться, потому что представил, как через час ее вот так же не будет! Кончалась их короткая идиллия. «Бедная моя, прекрасная, как ты будешь жить?»

Платье она не купила; было девять часов, и кассирша прекратила выбивать чеки.

На улице он заметил, что К. плачет.

— Ну такая я невезучая! Ну во всем!

— Ничего, ничего.

— Была в Москве и на память ничего не привезу. У нас таких нет. И рост мой, и цвет нравится, темно-синий. Белый воротничок, и карманы с белой полоской.

— Мы купим лучше. Я тебе вышлю.

— Ты перепутаешь. Знаешь, где оно висит? Справа от кассы, третье. Ну так жалко! — встряхнула она рукой как девчонка.

Он дал ей успокоиться; через несколько шагов она взяла его под руку, и они снова принялись думать о прощании. Настали сумерки.

— Мне ж надо бы позвонить,— сказал Егор у «Славянского базара».— Где я буду ночевать?

— Домой тебе нельзя, — заговорщицки сказала К.

— Я же на съемках.

Монеты проваливались.

— Впереди еще есть,— успокаивала его К.; ей казалось, что он злится.

Но к кому звонить? Есть знакомые, которые бы с удовольствием пустили его на ночь, но они ничего не должны знать, проболтаются Наташе. Егор достал записную книжку. Владиславу? Длинные гудки бесполезно позвучали в его пустой квартире. Но если он и дома, то с девицей, и трубку не поднимет. Кому еще? Наконец Егор выбрал еще

один номер. Взглянул: К. издалека мнительно следила за ним, пытаясь по лицу угадать, не с женщиной ли он разговаривает. Он действительно разговаривал с женщиной, женой приятеля-гримера. Они дружили, там его не выдадут.

— Устроился?

— Ты так спрашиваешь...

— Я волнуюсь за тебя...

— Перебьюсь. Пошли потихоньку,— позвал Егор.— Билет возьмем.

Такой невозвратимой утратой казалось им потом хождение по подземным переходам, между Казанским и Ярославским вокзалами. Сначала на Ярославском она купила в пятом окошке билет.

— Я возьму два,— поедем? — просовывая руку к тарелочке для денег и поворачивая к нему лицо, сказала К.— А следующей ночью вернешься.

— Куда же?! И рад бы, да нельзя.

Ему в эту минуту не хотелось. Суеверие подсказывало ему: не надо; опять возникнут осложнения, и к тому же прощание в ее городе сожмет их большим горем. Да и будет он биться целый день в ожидании ее с работы, натужливо отпускать ее на ночлег к матери и, может, раскаиваться. «Надо бы жить...»— снова благословенным сочувственным шепотом сказал кто-то над ухом.

Желтый портфель ее лежал на Казанском.

— Вот сюда мы приехали двенадцать лет назад,— показал Егор рукой на третий подъезд.— Троицей. В старом затасканном чемодане без замков — его мы выбросили под откос где-то возле Мурома — везли несметное множество стряпни (Димкина матушка наложила), вареные курицы были, котлеты, еще что-то. Пять суток ехали! Даже купались под Златоустом — поезд какой-то был медленный. Но и двенадцать лет — тоже время. Сейчас «Сибиряк», фирменный. Вот тут, тут мы вышли,— сам удивлялся теперь Егор.— Три дурачка. А теперь я с тобо-ой...

К. сжала его руку: мол, и хорошо, это тоже память.

— Казанский вокзал... Ах ты-ы! — Егор вспомнил годы.— Вся Россия через него прошла. Вот эти росписи под потолком, видишь? Ордена, оружие. Сколько ребят, теперь знаменитых, а тогда робких, тут протолкалось. Сколько назад ни с чем уехало — навсегда!.. А там мы кофе пили! Станем в очередь?

— Можно бы, но стаканы грязные. Потерпим, ладно?

— Ну. А ты чувствуешь, что я очень сговорчивый? Как общество, так и я.

— Я тебя люблю-ю...

— И я тебя,— как на любезность ответил Егор.— В вагоне не заглядывайся.

— А ты не верь коварным москвичкам.

— Я их не вижу. Провинциалки лучше.

Она надулась.

— И что еще было! — вспомнил Егор.— Кого же это мы провожали тогда в Ленинград? Наверно, Антошку. Ночью. Метро закрылось. В общежитие не пустят. Так и торчали до утра. Собирались жизнь воплощать в искусстве — надо ж все знать! — Егор засмеялся.— А дурачки все же были. Приятно себя вспомнить. Ты уже не дуешься?

— Не могу.

— Я тоже не умею злиться долго.— Они стояли минутку в зале под большой тяжелой люстрой, висевшей на толстых железных прутьях. Кто знает, что пронеслось в голове Егора. Ведь правда — это уже какое-то родное место, Казанский вокзал. Здесь можно обдумать протекшую жизнь, здесь каждый раз при отъезде в Кривощеково ли, на юг к другу с душой что-то творилось, какие-то важные на данный период роились мысли, желания, что-то еще было неосуществимым в жизни и до сих пор, может, не осуществилось.— Присядем минут на десять.

— Там с машины продавали яблоки и апельсины в пакетах, надо было взять,— сказала она, присаживаясь.

— Они уехали. Смотри, цыгане.

В половине одиннадцатого они спустились в камеру хранения. В руки вернулся желтый портфель, К. переложила в него мелкие покупки, завернула плотнее мясо, и так, у закрытой решетки окна № 7, в пустом почти подвальчике, они еще полчаса стояли, съели по булочке, Егор покурил.

— И сюда же вы чемоданы сдавали?

— Ага. Боялись; матери нас настропалили: там, детки, поосторожней, мух не ловите, чтоб не стащили. Номерки не потеряйте. Да деньги так в трусиках и держите. Зашили нам, у меня-то не было белого карманчика на животе. У Димки.

— Ты пиши мне чаще,— вдруг сказала К.— И я буду. Я теперь буду ча-асто писать тебе. Я изменюсь.

— Ты знаешь что... Приедешь домой... начнутся всякие... Так ты не вспоминай обиды.

— Я забыла их.

— Скинем вину на ситуации. Все с нами.

— Я буду тебя ждать.

— Представь, что ты меня еще не видела и мы познакомимся через месяц, два, три. Вот сейчас начнут идти твои первые письма. Что ты высокого роста, я еще не знаю.— Они засмеялись.— Еще ничего нет. Что будет — неизвестно.

— Предполагаю, что понравлюсь! Да нет, все не так было, я уже рассказывала тебе.

— В незнании столько чудес. Вот уже ты собираешься, обдумываешь, ищешь меня, стучишь. А я сплю.

— У, нехороший.

— Не горюй,— продолжал он ее учить.— Если с тобой ничего не случится другого, ослепительного, то разве наше «новое знакомство» не радость?

— Не случится. Ты мне советуешь, а сам как будешь жить?

— Я заранее знаю,— грустно сказал Егор.— Приду домой. Неделя у меня в запасе. Буду вспо-

минать, как я ходил по той же улице и думал, что через десять, пять, через три дня уеду к тебе.

— Если сильно соскучишься, приезжай сразу! Не захочешь в Ярославль, поедем в село Татищев-погост. Там еще воду носят на коромыслах, трава по улицам. У меня знакомые, я все устрою.

— Ладно. Видно будет.

— Не говори так: «видно будет». Когда мы опять встретимся, все по-другому будет. Наша следующая встреча будет очень счастливой, я почему-то верю, а ты? Но ждать еще долго!

— Мы еще увидимся.

— В *еще* какая-то есть безысходность.

— Пошли?

— У нас есть время. Постоим...

Она коснулась его руки, перебрала и сжала пальцы, склонилась и поцеловала их украдкой.

— Пойдем... — сказала, как будто совершив какое-то таинство.

Егор пошел за ней.

К. шла впереди походкой, которая всегда выделяет тех, кого провожают. И все вокруг провожало их неслышным голосом: кончилось, что-то кончилось! Уж все готово к отъезду: и взяты вещи, и положен поближе билет. В том, что Егор провожал ее, была какая-то несправедливость. И как будто доля его вины. Он любил ее, но зачем же тогда отпускал? Зачем не садится в поезд вместе с нею? Разве так лучше? Но и когда уезжал из Ярославля Егор, было почти то же самое: зачем? почему? Как ненужно, как грустно и даже трагично, что они опять стоят на вокзале! Никто вроде бы не виноват, и все же...

Они были в целом мире одни, все как будто жили другим, и никогда вроде не касалось никого это прощальное чувство. И в камере хранения странной другой жизнью жили курившие в кучке мужики, и наверху посторонней суетой жила толпа, и совсем уж сонно прятали в себя живое уставшие пассажиры на скамейках в зале Ярославского вокзала. Что-то с людьми происходит каждую секунду, но никто друг о друге не знает самого важного.

Долгое расставание утомило их, и они присели на скамейку недалеко от выхода.

Молчали.

— Скажи мне что-нибудь...

— Что же? — Егор взял ее руку в свою.

— Почитай что-нибудь... К сегодняшнему часу что-нибудь.

— Сразу и не вспомнится,— сказал Егор, подумал и наклонился к ее лицу. — «Зачем же скорбь, когда в былом так много счастливых мгновений, и светлых лиц так много в нем и задушевных впечатлений?» Не горюй...

По радио скороговоркой объявили посадку на поезд, номер которого они не расслышали, и вот уже повставали, зашоркали по гладкому полу мужики и бабы из какого-нибудь близкого городка.

— Наши, наши пошли! Ну конечно! Ну кто же еще?! Видишь, вещей сколько... — И посмотрела на него, переменила мысли, сказала, тронув его рукой: — Я тебя очень люблю...

— Не горюй...

И ничего уже нет! Вернулся Егор назад — на скамейке другие люди, и надо идти куда-то одному. К. стояла уже в коридоре у окна и держала, наверное, в руке рубль, чтобы заплатить за постель. Поезд еще разгоняется по Москве, еще под ее высокими огоньками и шпилями, а уже не скажешь ничего тому, кто только что был на перроне. Еще раз что-то кончилось навсегда. Что это? Жизнь, обман?

2

В передней, в комнатах, на кухне светили причудливые лампы. Сорокалетняя жена гримера Людмила была одна.

— А где твой?

— Ночные съемки.

— Подожду, когда вернется. Часов в семь? А уже второй...

— На тебе лица нет, Егор. Отчего?

— Оттого. Можно полежать?

Егор снял пиджак и прилег на диван полистать газету «За рубежом». Людмила звонила кому-то по телефону. Через полчаса пришла подруга, потом Людмила набрала еще чей-то номер, зазывала на вкусные пирожки, и, когда они сидели на кухне за столом вместе с соседкой-старухой, появилась еще одна подруга со смугловолосой головкой. И растянулась их бессонница до зари. Егор слушал болтовню женщин, курил, порою втайне от троицы думал о К. Они бы простили ему это, если бы узнали, потому что сами в разные годы что-то оберегали. Поезд еще вез К. среди зеленых холмов и полян. Она, наверное, уже встала, а может быть, и не спала вовсе. Смугловолосая красавица словно ждала минуты, чтобы взять гитару, купленную хозяйкой для гостей, и запеть. Видимо, страстная, горячая натура, она пела, покачивая головкой, вытягиваясь, то щуря, то совсем закрывая глаза, романсы, которые подобрал режиссер к последнему фильму, где она значится всего-навсего гримером. Отдыхая, она ставила локоть на стол, подпирала щеку пальчиками, курила и вдруг как близкому жаловалась Егору, что человеку на жизнь отпущен строгий запас душевных сил, и горе тебе, если ты ничего не успел. На переломе лет кажется, что так и не попался человек, ради которого ты берег себя, и не вострубил глас, от которого бы все в тебе всколыхнулось, а было что-то призрачное и лишь похожее на чудный знак, было что-то, что обернулось ошибкой. Вдруг кто-то пройдет мимо, посидит рядом, что-то в молчании намекнет на то, чего вечно хотелось, могло случиться, но что лишь короткая вспышка, игра воображения. «Что-нибудь закажите»,— попросила она Егора. «Лучше сами»,— сказал он. Она поискала в памяти мелодию и снова запела. «То ли молодость прошла, как подружка изменила?»

Между тем уже подкралось тяжелое утро. Что там в Ярославле? К. приехала, пешочком прошлась по городу к своему дому и, сбросив с себя дорожные одежки, прилегла на диване в своей комнатке, где Егор всего один раз постоял несколько минут. Все кончилось. Но сколько еще не сказано слов! Под пластинку современного барда Егор поговорил с К. немножко. Он сказал ей: ты на сегодня у меня самый родной человек, может, я тебя выдумал; но это все равно ты; мне будет скучно без тебя; я узнал с тобой, что раньше был одинок и обделен в жизни чем-то неистовым, мне необходимым. Еще рассказал он ей, как прошла ночь и что ей напишет в первой открытке. Скоро ему лететь на Кавказ.

Заказали по телефону такси. Было шесть часов утра: Егор поехал со смугловолосой. В тени, на заднем сиденье, она тихо хвалила его за роли, рада была, что он и в жизни не суетлив. Что-то еще сказала хорошее. Дом ее в переулке отыскался легко. Они вышли и без ожидания какого-нибудь порыва, слов, связавших бы их обещанием, застыли друг перед другом. «Ну...» — только и услыхали оба над собой от кого-то неведомого. Егор пожал руку, согнулся и влез на то же сиденье. В кармане лежал конверт с ее телефоном. Машина развернулась. Загадочно же тронуло его то, что она стояла у подъезда и не открывала двери, смотрела, как он уезжает.

«Такая милая женщина... — подумал Егор о ней, вдалеке и в такой внимательной позе еще более прелестной, чем за столом в минуты пения. — Что это? Не знаю. А прекрасно! Сказала же этим что-то! А что еще?»

«Мечты и звуки... — поэт говорил,— думал он у Рижского вокзала. — Счастье незнания... Ага, ага. Опять сон...»

— Выбросьте меня на Трифоновке, что ли... — сказал он таксисту.

На проходной общежития дежурила старая беззубая Меланья Тихоновна. Когда-то были они большими друзьями, она все про Егора знала, теперь же перепутала его с кем-то.

— Скажите мне что-нибудь мудрое,— попросил он ее после признаний, как будто больше всего нуждаясь сейчас в слове крестьянки из Севска, при которой начиналась его московская жизнь.

— Деток у тебя сколько? Двое? Чего скажу? Жизнь богата своим домом.

— Спасибо. А еще?

— Это и все,— развела она руки. — Что ж больше-то?

А Свербеев говорил ему во Пскове: «У души свой дом, и дом этот — душа другая...»

. . . .

Эта великая, великая и простая жизнь... Великая и простая.

ГОД СПУСТЯ Егор снимался у монгольской границы, не было ему странно, что писем он ждал только из дому и от друзей. И ничего странного не было в том, что К. уже не существовало в его жизни: чудесный обман выветрился из души так же легко, как и зародился в позапрошлое лето. Только дружба казалась еще вечной. Только Дмитрию да Никите продолжал он посылать свои крики: «Где ты? Что с тобой?..»

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ он писал друзьям то же самое. Было уже начало одна тысяча девятьсот семьдесят восьмого года.

Виктор Иванович Лихоносов

КОГДА ЖЕ МЫ ВСТРЕТИМСЯ

Роман

Редактор Г. ПАНКРАТОВА

Художественный редактор *С. Гераскевич.* Технический редактор *Т. Таржанова.*
Корректоры *А. Влазнева* и *М. Макарова*

© Фото на первой полосе обложки *Н. Кочнева*

Сдано в набор 12.09.80. Подписано в печать 29.10.80 А09423. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 13,44 усл. печ. л. 17,86 уч.-изд. л. Тираж 2 540 000 экз. (2-й завод 500 001—2 390 000 экз.). Заказ 1520. Цена 85 коп.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва Б-78, Ново-Басманная, 19
ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Отпечатано на Чеховском полиграфическом комбинате Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Чехов Московской области.

Зак. 3030

(Окончание)

Да, земля большая и Родина наша большая, но чем бы тебя судьба ни одарила и как бы ни обездолила, ты всегда оглядываешься на родной порог. И в минуты радости, и в минуты тоски и ночных раздумий: «на левом берегу Оби, в Кривощекове летел редкий снежок, по взгорью знакомо бежали в белизне улицы...» И эта пронзительная белизна — неугасимое чувство родины — постоянно снится героям романа, постоянно находится у самого сердца, заставляя его биться то сильно, то замирать, то наполняться светлой радостью или печалью. И как хорошо белизна эта оттеняет в романе все злое и темное, с чем сталкивается чистая совесть Егорки. И может, оттого, что корни его совести так чисты и здоровы, так напоены благодатной водой из сибирских колодцев, — он так чутко слышит и понимает красоту древнего старинного Изборска, так тянется к русской истории. Может, поэтому в шумных компаниях за пустыми разговорами не бьет себя в грудь Егорка, не принимает театральных поз, не щеголяет «словечками», а молчаливо и преданно хранит в душе то, что дорого ему, то, что родное. Наверное, именно за это люди выделяют его среди прочих и тянутся к нему, и любят. Да, земля большая, но Кривощеково на ней только одно. И свет этой малой родины — как маяк, как надежда. И этот маяк неудержимо влечет к себе, помогая главным героям романа и жить, и чувствовать, и сохранять свою совесть.

Пожалуй, тема искусства — одна из главных в романе. И теме этой отданы все лучшие страницы, все главные авторские мысли. Тоска по идеалу в искусстве, напряженность духовных исканий, страстность раздумий о своей гражданской и нравственной ответственности за происходящее, за свое творчество сквозят во многих высказываниях актера Ямщикова и ученого-реставратора Кирилла Свербеева, и в ночных, самых личных и тихих думах Егорки и Димки, и — особенно — в авторских лирических отступлениях. Вот почему нравственная чистота становится основным мерилом ценности для всех героев романа. Вот почему авторский призыв к познанию родной истории, к постижению основ русского национального характера так глубоко, искренне принимается всеми действующими лицами романа и становится лейтмотивом всего повествования. И вот почему это произведение высокопатриотично и имеет большое воспитательное значение.

И все-таки есть книги, о которых можно написать десятки страниц, сказать много слов и все же не выразить существенного в них до конца, потому что эти произведения требуют от тебя второго и третьего чтения — так притягательны они в своей художественной цельности. Думается, что роман «Когда же мы встретимся?» — именно такое произведение.

...Вот мы закончили чтение, но роман в нас живет, продолжается, ибо это роман-исповедь, роман-размышление. А всякая исповедь — это работа души. Могут ли быть свои границы, свои измерения у исповеди? Наверное, могут. Роман начинается со ступенек театрального общежития, там же и завершается. И в этом возвращении «на круги своя» есть тоже свой смысл и своя символика: человеку никогда не уйти от себя и от своей собственной совести. Как не уйти от своей любви, от друзей, от своего прошлого. Но именно это-то и нужно сильнее всего хранить в себе, оберегать, потому что оно — твоя жизнь и твоя судьба. А жизнь единственна и неповторима.

Да, в этом романе все лучшее от прежнего Лихоносова. Но есть и нечто другое. Это — новая авторская глубина и зоркость.

ВИКТОР ПОТАНИН

85 коп.

К 4

70782